АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
XIV

2

МАРТ — АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1965

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Мошинский (Торунь). К фонологии просодических элементов в славянских языках 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Ф. П. Филин (Москва). Заметки о состоянии и перспективах советского языкознания 15
Е. М. Поспелов (Москва). О балтийской гипотезе в севернорусской топонимике 29
Л. Л. Гумецкая (Львов). Вопросы украинско-белорусских языковых связей древнего периода 39
Т. М. Лайтнер (Кембридж, Массачусетс). О циклических правилах в русском спряжении 45
А. А. Юлдашев (Москва). К проблеме аналитизма в тюркских языках . . 55

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Л. Л. Касаткин (Москва). К истории задненёбных фонем в русском языке 66
А. Г. Широкова (Москва). Основное значение многократных глаголов в чешском языке 73
М. М. Копыленко (Алма-Ата). К экспериментальному изучению сочетаемости лексем 85

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

С. Абрахам (Будапешт). О принципиально возможных перспективах машинного перевода 92

ИЗ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НАСЛЕДСТВА

А. К. Боровков. К истории словаря «Мукаддимат ал-адаб» Замахшари . 98

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

Д. Х. Хаймз (Беркли, США). Общение как этнолингвистическая проблема 102

РЕЦЕНЗИИ

А. М. Щербак (Ленинград). *A. F. Sjoberg.* Uzbek structural grammar . . 105
Р. Я. Удлер (Кишинев). *Н. Корлэтяну.* Студиу асупра системей лексикале молдовенешть дин аний 1870—1890 109
В. В. Шеворошкин (Москва). *R. Gusmani.* Lydisches Wörterbuch . . . 111
А. А. Леонтьев (Москва). «Linguistics». 1—8, 1963—1964 116
В. И. Григорьев (Москва). *B. Malmberg.* Structural linguistics and human communication 123

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 127

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1965

Л. МОШИНСКИЙ

К ФОНОЛОГИИ ПРОСОДИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

(о фонологической нерелевантности изолированного просодического признака)

Сравнительно-историческая фонология устанавливает в области славянского вокализма определенные циклы изменений, которые хотя и реализуются различным образом в отдельных славянских языках, обусловлены одной общей тенденцией. Например, чешские переходы типа *jehně* ⩽ ⩽ **jagnę*, *číše* ⩽ *čieše* ⩽ **čaša*, *jih* ⩽ **jugъ* и т. п. принципиально отличны от польских переходов типа *las* ⩽ **lěsъ*, *żona* ⩽ **žena*, *niosę* ⩽ **nesǫ* и т. п., однако оба этих типа имеют общую основу. Речь идет о восходящей еще к праславянскому периоду тенденции к возможно более полному уподоблению соседних звуков (как гласных, так и согласных) в отношении палатальности. В чешских примерах непередняя гласная изменяется в переднюю под воздействием соседнего палатального согласного, в польских — передняя гласная изменяется в непереднюю под воздействием последующего непалатального. В обоих случаях, таким образом, представлены изменения, вызванные одной из определяющих тенденций развития славянских языков — тенденцией к уподоблению по палатальности. Таких общих тенденций может быть несколько.

Данная статья посвящена анализу цикла изменений, вызванных восходящей еще к праславянскому периоду общей тенденцией, связанной с нерелевантностью изолированного просодического признака. Каждый из трех просодических элементов в общеславянском — сила (ударение), долгота (количество) и тон (интонация) — не являлся сам по себе фонологически различительным. Просодический признак лишь в том случае имел различительную функцию, когда он выступал в сочетании с другим признаком (например, тон + долгота, сила + тон, сила + долгота и т. п.). Третий просодический признак, не имея опоры в двух других, утрачивал свою различительную функцию и мог вообще исчезнуть. Иногда для сохранения различительной функции к изолированному просодическому признаку добавлялся ингерентный (непросодический) признак, который, переняв различительную функцию, мог вызвать утрату просодического признака, становившегося избыточным. Разумеется, имелись и переходные, промежуточные стадии, когда изолированный просодический признак, прежде чем утратиться или слиться с другим просодическим или ингерентным признаком, оставался различительным. Такие промежуточные стадии могут быть относительно длительными; все же в результате наступает изменение в соответствии с приведенной схемой.

Поскольку существуют три просодических признака, сформулированная общая тенденция могла реализоваться различным способом. С этой точки зрения славянские языки можно разделить на несколько групп.

Начало указанной тенденции относится к праславянскому периоду. Правда, не все проблемы, касающиеся праславянских просодических отно-

шений, пока достаточно разработаны [1], однако то, что выяснено к настоящему времени, позволяет принять предлагаемую трактовку. Как показал Е. Курилович, балто-славянский унаследовал от праиндоевропейского два независимых просодических признака: силу и долготу. Третий признак — тон — возник уже на балто-славянской почве. Интонационные различия первоначально характеризовали лишь ударные слоги, и новый различительный просодический признак (тон), таким образом, выступал лишь в сочетании с признаком силы. Это состояние было унаследовано праславянским из балто-славянского.

Помимо тона, связанного с силой, в балто-славянский период существовала воспринятая от праиндоевропейского различительная долгота. Но поскольку одной из главных черт праславянского языка, развившегося из определенных диалектов балто-славянского, была фонологическая нерелевантность изолированных просодических элементов, то возникла опасность неразличения двух прежних фонем типа $\bar{a}$ — $\breve{a}$. Во избежание этого к просодическому признаку долготы присоединился дополнительный интегрентный признак: изменение качества гласного. Оппозиция типа $\bar{a}$ — $\breve{a}$ превратилась в оппозицию $\bar{a}$ — $\breve{o}$, в которой количественные различия оказались низведенными до уровня избыточного признака. После этого система гласных фонем выглядела так (для простоты приводим только один ряд однородных [2] фонем):

1) праиндоевропейский	$'\bar{a}$	$'\breve{a}$[3]	$\bar{a}$	$\breve{a}$		
2) балто-славянский	$'\widetilde{\bar{a}}$	$'\acute{a}$	$'\widetilde{\bar{a}}$	$'\breve{a}$[4]	$\bar{a}$	$\breve{a}$
3) раннепраславянский	$'\tilde{a}$	$'\acute{a}$	$a/'\tilde{o}$		$'\acute{o}$	o.

Так называемая праславянская метатония вызвала существенные изменения в этой системе. Исследования Т. Лера-Сплавинского показали, что в результате метатонии не только появились две новые интонации — новоакутовая и новоциркумфлексная,— но и произошла известная передвижка ударения. Конечным результатом этих изменений была новая система просодических элементов: появилась интонация, не связанная с ударением, причем типов интонации было не два, а четыре (а по мнению некоторых исследователей — три). Система оказалась перегруженной просодическими элементами, имеющими во многих случаях чисто фонетический характер. Появление интонации, не связанной с ударением, увеличило число вариантов гласных фонем и одновременно привело к нарушению прежней простой оппозиции $'\tilde{a}$ — $'\acute{a}$ — a. Возник ряд ударенных

[1] Ср., например: T. L e h r - S p ł a w i ń s k i, Ze studiów nad akcentem słowiańskim, Kraków, 1917, а также перепечатанные в книге «Studia i szkice wybrane z językoznawstwa słowiańskiego» (Warszawa, 1957): «O prasłowiańskiej metatonii»; «O jakości intonacji prasłowiańskich»; «Najstarsze prasłowiańskie prawo cofania akcentu»; «O pochodzeniu prasłowiańskich różnic intonacyjnych»; J. K u r y ł o w i c z, Le problème des intonations balto-slaves, «Rocznik sławistyczny», X, Kraków, 1931; e r o ж e, L'accentuation des langues indo-européennes, Wrocław — Kraków, 1958, особенно стр. 163—169; см. также: L. S a d n i k, Slavische Akzentuation, I, Wiesbaden, 1959, и др.

[2] Здесь и далее однородными (fonemy pokrewne) называются фонемы, различающиеся только просодическими признаками, т. е. тождественные на сегментном уровне и различные на суперсегментном.— *Ред.*

[3] Говоря о различительной функции ударения, мы имеем в виду, что между ударенной и безударной гласной существует фонологическое противопоставление, т. е. что $'a$ и a — две различные фонемы. Иначе обстоит дело в тех языках, где ударение (сила) имеет демаркационную функцию, как, например, в польском. Здесь гласные $'a$ и a являются вариантами одной фонемы.

[4] Нельзя сказать с полной определенностью, были ли интонационные различия в системе кратких гласных. Предположение Т. Лера-Сплавинского (см.: «Gramatyka historyczna języka czeskiego», cz. I, Warszawa, 1957, стр. 45—46), что такие различия существовали, представляется весьма правдоподобным.

($'\bar{a}\ '\acute{a}\ '\hat{a}\ '\grave{a}$) и безударных ($\bar{a}\ \acute{a}\ \hat{a}\ \grave{a}\ a$) гласных. Даже если в безударных слогах выступали не все интонационные типы, то и в этом случае число вариантов было очень велико. Поскольку в то время интонационные различия, связанные с ударением, имели различительную функцию, на месте прежних двух ударных фонем возникло четыре. Такая система была чрезмерно перегруженной. Дело осложнялось тем, что интонация могла выступать независимо от ударения. Необходимо учитывать, что ударение было только дополнительным элементом, поддерживающим различительную функцию интонации, что различительным признаком был тон + сила, а не сила + тон. В связи с этим интонированные, но безударные гласные со временем перешли из разряда безударных фонем типа a в разряд интонированных фонем как их варианты. Возникла следующая система:

фонемы	$'\bar{a}$	$'\acute{a}$	$'\hat{a}$	$'\grave{a}$	a
их варианты	$\bar{a}$	$\acute{a}$	$\hat{a}$	$\grave{a}$.	

Это состояние, в котором в отдельных случаях различительную функцию могла выполнять только интонация, противоречило основному праславянскому закону фонологической несамостоятельности изолированного просодического элемента и потому очень скоро подверглось дальнейшему преобразованию.

В то же самое время утратил различительную функцию третий просодический признак — долгота. В связи с выдвижением на первый план ингерентного признака и закреплением за ним различительной функции (оппозиция $\bar{a}$ — $\breve{a}$ превратилась в оппозицию $\bar{a}$ — $\breve{o}$) количественное различие стало избыточным. «Освобожденный» таким образом признак долготы мог быть использован для разгрузки сложной интонационной системы.

Новые безударные варианты интонированных фонем могли сохраняться лишь при условии, что просодический признак тона получит поддержку со стороны какого-либо дополнительного элемента. Этим дополнительным элементом стала фонологически свободная категория количества. Интонационные различия, поддержанные количественными различиями, могли теперь функционировать как различительный признак. Но поскольку интонация оказалась связанной с количеством, количество распространилось на все интонированные позиции, в том числе и на ударную. Наслоение двучленной оппозиции количества (долгота — краткость) на четырехчленную интонационную оппозицию (акут — циркумфлекс — новый акут — новый циркумфлекс) происходило не на всей славянской территории одинаково. К этому времени географическое и историческое единство праславян распалось; разные диалекты праславянского осуществили упомянутое изменение по-разному. Так, в той ветви, из которой впоследствии развился польский язык, новоакутовая интонация оказалась связанной с долготой, остальные — с краткостью. Сложилась следующая система:

прежние фонемы	$'\widetilde{\bar{a}}$	$'\breve{\acute{a}}$	$'\overset{\circ}{\hat{a}}$	$'\grave{a}$	a
их варианты	$\widetilde{\bar{a}}$	$\breve{\acute{a}}$	$\overset{\circ}{\hat{a}}$	$\grave{a}$.	

Применительно к рассматриваемой проблеме безразлично, объединилась ли долгота только с новоакутовой интонацией, как в лехитских и нижнелужицких диалектах, или с новым и старым акутом, как в чешском, словацком и верхнелужицком, или процесс шел каким-то иным путем (славянские языки, как известно, представляют в этом отношении большое разнообразие). Сущность процесса везде была одинаковой. Одни интонации были только долгими, другие — только краткими. Фонемы типа $'\widetilde{\bar{a}}\ '\breve{\acute{a}}\ '\widetilde{\hat{a}}$ различались одним просодическим признаком — типом инто-

нации и потому подверглись впоследствии отождествлению. Образовалась, таким образом, система, где рядом с неинтонированными гласными были краткие гласные с одним типом интонации, например нисходящим, и долгие с другим типом, например восходящим, т. е.:

фонемы	$'\overset{\circ}{a}$	$'\acute{a}$	a
их варианты	$\overset{\circ}{a}$	$\acute{a}$.	

В процессе этих преобразований изменилось соотношение просодических признаков. Прежнее сочетание тон + сила было заменено сочетанием тон + долгота, т. е. оформилась новая система:

фонемы	$\overset{\circ}{a}$	$\acute{a}$	a
их варианты	$'\overset{\circ}{a}$	$'\acute{a}$,	

в которой сила (ударение) уже не использовалась в различительных целях. Ударение потеряло, таким образом, свое фонологическое значение и во многих славянских языках с тех пор никогда уже его не приобретало. При этом оно не утрачивалось, а, стабилизуясь, приобретало демаркационную функцию и уже более не использовалось в различительных целях. Так обстоит дело в тех славянских языках, которые «поспешили» стабилизировать ударение, прежде чем просодические отношения достигли окончательного развития (польский, чешский, словацкий, лужицкие). В тех же славянских языках, которые «опоздали» с этим процессом, ударение при благоприятных условиях вновь было использовано в различительных целях.

Причиной последующих преобразований было появление в славянских языках долгих гласных, не связанных с интонацией. Новая долгота явилась результатом стяжения и падения редуцированных. Число однородных фонем вновь возросло: к прежним трем $\hat{a}$ $\acute{a}$ a прибавилась четвертая — $\bar{a}$. Количественное противопоставление распространилось теперь как на интонированные, так и на неинтонированные гласные и превратилось, таким образом, в главный просодический признак. Оппозиция долгота — краткость стала более важной, чем оппозиция по тону. Так было в западнославянских языках (польском, чешском, словацком и лужицких). Прежнее сочетание тон + долгота превратилось в сочетание долгота + тон, и соответственно звуки $\acute{a}$ и $\bar{a}$, $\hat{a}$ и $\breve{a}$ стали вариантами одной фонемы. Эти варианты были независимыми, обусловленными лишь исторически; естественно поэтому, что со временем избыточные интонационные различия утратились и новая количественная оппозиция окончательно вытеснила старую, интонационную [5]. Фонемы $\bar{a}$ и $\breve{a}$ различались теперь только долготой. Такое состояние не могло быть продолжительным, так как оно противоречило все еще актуальному общеславянскому принципу фонологической несамостоятельности изолированной просодической категории. Количественные различия должны были либо утратиться, либо искать себе опоры в различиях другого типа. Поскольку остальные просодические признаки не могли быть использованы, так как ударение приобрело уже демаркационную функцию, а интонационные различия

[5] Того же мнения придерживается и Е. Паулини («Fonologický vývin slovenčiny», Bratislava, 1963, стр. 260). Иную последовательность предполагает З. Тополиньска («Stosunki iloczasowe polsko-pomorskie», Wrocław — Warszawa — Kraków, 1964, стр. 7). Она считает, что интонация утратилась в результате объединения с количеством, однако еще до слияния старых и новых долгот. Р. О.Якобсон полагал, что интонация прямо связана с наличием или отсутствием в языке корреляции согласных по твердости — мягкости («Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves», TCLP, 2, 1929, стр. 51). Нынешняя точка зрения Якобсона, изложенная им на V Международном съезде славистов в Софии, рассматривается ниже.

окончательно исчезли, противопоставление долгота — краткость было поддержано новыми качественными различиями. Наиболее последовательно это было проведено в польском языке, где все просодические оппозиции были снабжены дополнительным ингерентным признаком качества, который оказался более мощным и в конце концов возобладал, присвоив целиком различительную функцию. Таким образом, количественное различие оказалось избыточным и в результате исчезло. Противопоставление $\bar{a}$ — $\breve{a}$ через промежуточную стадию $\breve{\bar{a}}$ — $\breve{a}$ окончательно перешло в противопоставление $\mathring{a}$ — a.

Принципиально тот же тип развития обнаруживают поморские (кашубские) диалекты, где замещение количественных отношений качественными осуществлено даже более последовательно, чем в диалектах континентальной Польши, и распространяется также и на высокие гласные. Специфика севернокашубского типа объясняется тем, что эти диалекты следуют здесь, как, впрочем, и в некоторых иных деталях (например, развитие слогового l, *telt/tolt*), изначальному полабскому пути развития, т. е. не используют ударения (через его стабилизацию) в демаркационных целях. Поэтому в этих диалектах количество, лишенное различительной функции в результате качественных изменений, не исчезло, а объединилось с ударением; более того, в связи с определенными фонетическими процессами здесь появились новые интонационные различия. Этот тип отступает все дальше к северу под польским влиянием.

Иначе должна была происходить утрата количества в лужицких языках, где качественных различий между долгими и краткими фонемами не было. По-видимому, после исчезновения интонации количество, не обладавшее различительной функцией, объединилось, как и в соседних западнолехитских диалектах (так называемых полабских), с ударением еще до того, как различия этого типа претерпели изменения. Это привело к совпадению старых долгих и кратких фонем. Такому объяснению не противоречит и изменение артикуляции долгого $\bar{o}$, вызванное иными причинами, а именно — необходимостью иметь коррелят заднего ряда для передней фонемы $\breve{e}$ (артикуляционно — узкое $\hat{e}$). Просодические преобразования способствовали этому. Благодаря изменению артикуляции $\bar{o}$ в сторону более высокого звука, фонема $\breve{e}$ получила коррелят заднего ряда. Сужение $\bar{o}$ могло в свою очередь повлечь за собой и сужение $\bar{e}$. Аналогичные процессы известны и восточнославянским языкам.

Лужицкий вариант объединения количества с ударением не имел перспективы, поскольку лужицкие диалекты в отличие от полабских уже утвердили в то время (как польские и чешские диалекты) стабилизированное ударение в демаркационной функции. Несмотря на это, в лужицких (особенно в верхнелужицких) диалектах до сих пор сохраняются следы сокращения (так называемой редукции) безударных гласных при наличии долготы под ударением. Этот этап развития был, очевидно, более длительным, чем предыдущий, ибо, как следует из материалов З. Штибера[6], редукция приводила к изменению качества безударных гласных и даже к полной их утрате. В конце концов, однако, лужицкое «аканье» было приостановлено, так как демаркационное ударение не получило фонологического значения.

Таким образом, лужицкие языки в отношении развития просодических элементов занимают промежуточное положение между польским и полабским. Это еще один довод в пользу того, что «после отделения чешско-словацкой группы от остальных западнославянских диалектов говоры

[6] Z. Stieber, Stosunki pokrewieństwa języków łużyckich, Kraków, 1934, стр. 67—73.

пранижне- и праверхнелужицкие некоторое время составляли одну группу с прапольско-поморскими и праполабскими»[7].

Тот же тип развития, что и в польском, представляют чешский и словацкий языки. Оставшийся в изоляции после стабилизации ударения и утраты интонации признак количества искал опоры в качественных различиях гласных, после чего исчезал, как в некоторых чешских и словацких диалектах. Этому естественному развитию помешали в чешском, как заметил Е. Паулини, морфологические процессы, а в словацком — так называемый ритмический закон двух долгот[8]. Поэтому в этих языках категория долготы — краткости смогла удержаться. А «в восточнословацких и ляшских диалектах не было условий для сохранения количества, поэтому там количество исчезло»[9].

Существенно для рассматриваемого процесса приобретение ударением демаркационной функции непосредственно после его обособления, т. е. после объединения интонации с количеством. Второй тип, к которому относятся восточнославянские языки, болгаро-македонская группа и полабский язык, характеризуется сохранением свободного ударения до момента исчезновения интонации, которое здесь развивалось значительно быстрее, чем в языках первого типа, так что функция ударения не успела измениться. По-видимому, здесь имел место следующий путь. В конце праславянского периода количество, лишенное фонологической функции, объединилось с интонацией, при этом возникла оппозиция: интонированная долгая — интонированная краткая и гласная, для которой признак тона и количества несуществен, т. е. в севернославянских языках:

фонемы	$\acute{a}$	$\widehat{a}$	a
их варианты	$'\acute{a}$	$'\widehat{a}$,	

в южнославянских языках:

фонемы	$\hat{a}$	$\breve{a}$ $\quad a$
их варианты	$'\hat{a}$	$'\breve{a}$.

Появление новых долгот в результате стяжения, так же как в уже рассмотренных языках, вызвало перестройку системы вокализма, и возник тип:

фонемы	$\hat{a}$	$\breve{a}$	или	$\acute{a}$	$\widehat{a}$
их варианты	$'\widehat{a}$	$'\breve{a}$	или	$'\acute{a}$	$'\widehat{a}$
	$\bar{a}$	$\breve{a}$,			

что привело к утрате интонации и возникновению системы:

фонемы	$\bar{a}$	$\breve{a}$
их варианты	$'\bar{a}$	$'\breve{a}$.

Правда, в восточнославянских языках стяжение было распространено в меньшей степени, чем в остальных славянских языках, но все же оно было, ср. регулярное стяжение в форме имперфекта типа *несяше* $\leqslant$ **nesěaše*, стяжения в падежных формах полного склонения прилагательных, например *добрыимь* $\geqslant$ *добрым* (можно предположить, что и формы род. и дат. падежей ед. числа муж. и ср. родов до обобщения местоименной флексии *-ого*, *-ому* тоже подверглись стяжению). Вообще достаточно было одного импульса, чтобы нарушить существовавшую просодическую систему и вызвать исчезновение интонации.

[7] Z. Stieber, указ. соч., стр. 93.

[8] E. Pauliny, W sprawie rozwoju iloczasu w językach zachodnio-słowiańskich, JP, XXXVI, 5, 1956, стр. 321—324.

[9] Там же, стр. 324.

После утраты интонации количество, независимое от других факторов, и нестабилизированное ударение можно было использовать в различительных целях. Так и произошло. В соответствии с общим принципом нерелевантности изолированного просодического признака ударение вскоре объединилось с количеством. Таким образом, сочетание просодических элементов сила + долгота стало признаком, противопоставляющим фонемы *'ā — ă*. Оппозиция по долготе — краткости, тесно связанная с сильным ударением, оформилась несколько иначе, чем та же оппозиция, связанная с интонацией или не зависимая от нее. Именно в этих двух случаях гласная, лишенная просодического признака (краткая), сохраняла свою нормальную длительность, а гласная, отмеченная просодическим признаком, удлинялась. Схематически это можно представить так:

фонемы	*ā́*	*ā̂* или	*ā*	*ă*
длительность	2	1	2	1.

Количество, объединенное с сильным ударением, сохраняло такое же различие в длительности, однако просодически маркированная гласная — не только долгая, но и (в первую очередь) сильно ударная — произносилась несколько короче, чем обычная долгая. Для поддержания оппозиции по длительности немаркированная гласная несколько сокращалась. Поэтому прежняя оппозиция

$$\bar{a} - \breve{a}$$
$$2 - 1$$

была замещена новой:

$$'\bar{a} - \breve{a}$$
$$1\,{}^{1}/_{2} - {}^{1}/_{2}.$$

В обоих случаях разница в длительности между долгой и краткой гласной была одинаковой, однако отношение их существенно изменилось. Вместо отношения 2 : 1 возникло отношение 3 : 1, причем немаркированная гласная стала сверхкраткой. Повторился процесс, известный из праславянского: сверхкраткие гласные подверглись редукции — исчезло различие по степени раствора (широкие — узкие гласные) как фонологический признак гласных. Безударный вокализм стал характеризоваться только одним основным противопоставлением: передняя — непередняя гласная.

В праславянском редуцированный сверхкраткий *ŏ* совпал со сверхкратким непереднего ряда, т. е. ъ, а редуцированный *ĕ* совпал с ь, например **zovǫ*, но **zъvati*, редукция конечного **-os* ⩾ *-ъ*, **xod-*, но **šьd-* ⩽ праи. -е. **xed-*, *rekǫ* — *rьci*[10] и т. д. Это праславянское sui generis «аканье», существенным признаком которого был некоторый порог длительности, за которым признак раствора гласной переставал быть релевантным, было воспроизведено в более позднюю эпоху в отдельных славянских языках. Гласные, которые по той или иной причине сокращали свою длительность в большей степени, чем это предписывал указанный порог, и становились сверхкраткими, испытывали редукцию такого типа. Новые просодические отношения создавали для этого необходимые условия[11]. На

[10] Этот последний пример Т. Лер-Сплавинский объясняет иначе [«Przyczynki staro- i nowo- bułgarskie», «Сборникъ въ честь на проф. Л. Милетичъ за седемдесетгодишнината отъ рождението му (1863—1933)», София, 1933, стр. 60—64; перепечатано в сборнике: «Studia i szkice wybrane z językoznawstwa słowiańskiego»], хотя в другом месте он говорит о редуцированном *e* («Zarys gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle porównawczym», wyd. 4, Wrocław — Kraków, 1959 стр. 25).

[11] Безударные гласные также могут иметь количественные различия; так, несколько более долгими являются гласные первого предударного слога (например, в русском, полабском) или гласные под второстепенным (побочным) ударением (в полабском). В словенском языке, наоборот, первая предударная гласная — самая краткая,

этом основано полабское «аканье», в котором отсутствует даже оппозиция передних и непередних гласных (эту оппозицию могли утратить и исконные редуцированные, о чем свидетельствует сербохорватский язык); болгарское «аканье», для крайней ступени которого характерны всего три безударных гласных: переднее *i*, среднее *ъ* и заднее *u*, а также восточнославянское аканье, чрезвычайно многообразное, подверженное различным ассимилятивным и диссимилятивным процессам, для которых «редуцированный» (т. е. не различающий степеней раствора) вокализм был благоприятной почвой. В наименьшей степени изменялись высокие гласные, сохраняющие свою изначальную артикуляцию, но и они подчинялись указанным процессам[12]. Развитие аканья шло постепенно и было территориально обусловлено. Различные реализации аканья могли со временем закрепляться, и таким образом развивалось вторичное различение гласных по степени раствора[13].

В названной группе славянских языков объединение количества с ударением после утраты интонации произошло относительно скоро, поэтому там не возникло характерных для предыдущего типа со стабилизированным ударением качественных различий между старыми долгими и краткими. Исключение составляет старое акутированное *ó* в северной части восточнославянских диалектов, а также *ō* и *ē* с заместительной долготой в южной части тех же диалектов. Это явление связано, как уже отмечалось применительно к лужицким языкам, с наличием фонемы *ě*, не имевшей коррелята заднего ряда. В полабском языке и в болгаро-македонской группе, где представлен так называемый широкий ять[14], не было необходимости в соответствующей фонеме заднего ряда и потому *o* не подверглось качественному изменению. В языках же восточнославянских узкое или дифтонгическое *ě* требовало пополнения фонологической системы в соответствии с основным противопоставлением гласных переднего и заднего ряда. Кратковременного существования независимого количества после утраты интонации оказалось достаточным, чтобы восполнить этот пробел в фонологической системе, несмотря на то, что прочие долгие гласные не претерпевали качественного изменения.

До тех пор пока долгое *ō* могло выступать только на месте праславянского акутированного *o* (не было *ō* из стяжения, а заместительное продление еще не наступило — этот процесс относится к кануну падения редуцированных), новая фонема *ô* развивалась только в одной позиции. Трудно сказать, почему этот процесс охватил лишь севернорусскую область. Возможно, на юге переходный период от исчезновения интонации до объединения количества с ударением был слишком коротким или, может быть, там запаздывало развитие **ě*,— во всяком случае на этом этапе задний коррелят узкого **ě* не развился, и он продолжал оставаться в этом отношении обособленным.

Уже после объединения количества с ударением в восточнославянской языковой области произошла утрата редуцированных и связанное с ней так называемое заместительное продление. Новые долгие гласные, попавшие в неблагоприятные просодические условия (уже утвердилась система: ударная полудолгая — безударная полукраткая), вскоре исчезли, не вызвав никаких изменений в фонологической системе. Только на рус-

[12] Ср., например: Р. И. Аванесов, Очерки русской диалектологии, ч. 1, М., 1949, стр. 115—116, 121—122.

[13] Иную концепцию аканья предложил Р. Якобсон (см.: «Remarques sur l'évolution phonologique du russe...», стр. 82—94).

[14] Проблема развития *ě* рассматривается в моей статье «Od czego zależał różnokierunkowy rozwój tzw. jat' w językach słowiańskich», которая должна выйти в XXIV томе BPTJ. В тех славянских языках, где не развился соответствующий гласный заднего ряда, узкое *ě* утрачивало фонологическую самостоятельность.

ском юге, там, где к тому времени не возникло новой фонемы *ô*, противопоставленной *ê*, момент заместительного продления был использован для того, чтобы «наверстать» это упущение. На месте *ō*, получившего заместительную долготу, возникла фонема заднего ряда, противопоставленная переднему *ĕ*. Аналогично *ō* развивается под заместительной долготой *ē*, переходящее в *ĕ*. Остальные гласные не претерпели качественных изменений, а вновь возникшее количественное различие утратилось.

Из сказанного выше следует, что исчезновение интонации и объединение количества с ударением произошло на Руси уже после перехода **ę̆ ⩾ ă*, который был непосредственной причиной сужения **ĕ*, но до падения редуцированных. Установленный таким образом terminus ad quem объясняет, почему на севере сужению подверглось долгое *ō* только интонационного происхождения, а на юге — только под заместительной долготой.

Обособленную группу составляют сербохорватский и словенский языки, сохраняющие до настоящего времени категорию интонации. Развитие просодической системы штокавских диалектов сербохорватского языка приближалось к польско-чешскому типу. Различие состояло в том, что регулярная рецессия и, следовательно, стремление к стабилизации ударения в штокавском совпало по времени с утратой прежних интонационных различий из-за появления долготы, не связанной с интонацией. Утрата интонации в штокавских диалектах шла постепенно: в первую очередь в безударных слогах, а затем и в ударных, причем первым этапом было устранение различий между старой долгой и краткой интонациями. В период рецессии ударения система была следующей:

фонемы	*ā*	*ă*
их варианты	*'ā̂*	*'ă̂*.

Рецессия привела к тому, что тип *ā 'ā̂* или *ă 'ă̂* или *ā 'ă̂* или *ă 'ā̂* сменился сначала типом *'ā ā* или *'ă ă* или *'ā ă* или *'ă ā*, что вызвало следующий переходной тип:

фонемы	*ā*	*ă*
их варианты	*'ā̂*	*'ă̂* и *'ā* *'ă*.

Не обремененное еще демаркационной функцией ударение было на этом этапе вновь использовано в различительных целях. Новые ударные слоги приобрели новую восходящую интонацию и оказались противопоставленными старым слогам с нисходящей интонацией. Так сложилась система, сохраняющаяся до сих пор: *'ā̂ 'ă̂ 'ā́ 'ắ ā ă*. Безударные фонемы *ā* и *ă* различаются исключительно долготой. Такое положение противоречило принципу нерелевантности изолированного просодического признака, поэтому количественные различия этих гласных стираются. Это или не повлекло за собой никаких качественных изменений, как, например, в шумадийско-войводинском диалекте, или сопровождалось качественными изменениями, распространяющимися и на ударный вокализм. В первом случае появляется тип *'ā̂ 'ā́ 'ằ 'ắ a*, во втором — *'ā̂ 'ā́ 'ằ 'ắ ā ă* (например, в диалекте Дубровника или восточной Боснии). Проявляющаяся в последнее время в сербохорватском литературном языке тенденция к утрате интонации соответствует общему принципу нерелевантности изолированного просодического признака (пары фонем *'ā̂ 'ā́* и *'ằ 'ắ* различаются только одним просодическим признаком).

Изменения просодической системы сербохорватского языка протекали медленнее, чем в других языках, отдельные стадии развития были более длительными. Чакавские и кайкавские диалекты, подобно словенскому

языку, не знали стабилизации ударения, однако в отличие от словенского языка они не объединили долготу с ударением. Появление новых долгот, вызвавшее в других славянских языках утрату интонации, здесь объединило интонацию с ударением, а количество как категория оказалось изолированным. В кратких ударных слогах утратилось различие между старыми интонациями, а в долгих слогах оно сохранилось (так называемый чакавский новый акут). Старая система:

фонемы	$\widetilde{a}$	$\hat{a}$	$\acute{a}$	$\grave{a}$	a
их варианты	$'\widetilde{a}$	$'\hat{a}$	$'\acute{a}$	$'\grave{a}$	

преобразовалась в новую: $'\hat{a}$ $'\acute{a}$ $'\widetilde{a}$ $\bar{a}$ $\breve{a}$, где фонемы $\bar{a}$ и $\breve{a}$, $'\hat{a}$ и $'\widetilde{a}$ отличались друг от друга только длительностью. Для поддержания этой оппозиции необходимо было усилить различительную функцию количества, что и произошло благодаря качественным изменениям:

долгие фонемы	$'\hat{\bar{a}}$	$'\acute{\bar{a}}$	$\bar{\bar{a}}$
краткие фонемы	$'\widetilde{\breve{a}}$		$\breve{a}$.

Таким образом, однородные сегментные единицы различались двумя признаками: силой + интонацией. И только между чакавскими $'\hat{\bar{a}}$ и $'\acute{\bar{a}}$ сохранилось одно различие — интонация.

В оформившейся на стыке болгарского и штокавского типов македонской системе штокавская тенденция к стабилизации ударения проявилась в новой — демаркационной — функции ударения, а появление новых долгот вызвало, как и в болгарском, полную утрату интонации. Оказавшееся обособленным количество не могло ни удержаться, ни объединиться с демаркационным ударением и потому утратилось, не вызвав никаких качественных изменений. Отсутствие качественных изменений отличает македонскую систему от польской и сближает ее с лужицкой, которая также развивалась на границе двух типов: польского и полабского. (В македонском отсутствует сужение $\bar{o}$, известное лужицкому, поскольку в македонском не было узкого $\check{e}$.) В той части диалектов, для которой не была характерна тенденция к стабилизации ударения, количество объединилось с ударением, как в болгарском.

Наконец, словенский язык представляет тип, средний между штокавским и полабским. Как и в полабском, здесь отсутствует стабилизация ударения, которое для сохранения своей различительной функции должно было объединиться с какой-либо иной просодемой. Этой просодемой стала интонация (а точнее интонация + количество), которая после появления новых, не зависимых от интонации долгот, образовала неразрывное единство с ударением. Различение в ударных слогах количественных и интонационных отношений объединяет словенский язык с сербохорватским. Существенное отличие состоит, однако, в том, что в сербохорватском долгота, не связанная с интонацией, не объединяется с другими просодическими признаками и сохраняется или исчезает, а в некоторых говорах вызывает качественные изменения гласных, тогда как в словенском и эта неинтонированная долгота объединилась с ударением, как в полабском. Так сложилась в словенском своеобразная просодическая система, где, с одной стороны, формы, отмеченные функциональным ударением, различаются длительностью, а долгие слоги, кроме того, интонацией[15],

[15] Известны словенские диалекты, лишенные интонационных различий, например, панонские, штирийские, ровтарские и др. Это согласуется с принципом нерелевантности изолированного просодического признака. Фонемы $'\hat{a}$ и $'\acute{a}$, различающиеся одним признаком, могут это различие утратить. Здесь имеет место тот же процесс, который ранее происходил с краткими гласными.

а с другой стороны, все ударные слоги противопоставлены безударным по длительности. Даже ударная краткая гласная имеет большую длительность, чем неударная, которая в свою очередь подвергается редукции как сверхкраткая в соответствии с указанными принципами так называемого аканья. Количественное противопоставление ударных гласных может усиливаться, как и в кайкавских и чакавских диалектах, качественными различиями, относительно поздними по своему возникновению и варьирующимися по диалектам.

Развитие словенского вокализма происходило, по-видимому, следующим образом:

1. Праславянское объединение долготы и интонации:

фонемы	$\hat{\bar{a}}$	$\acute{\bar{a}}$	$\hat{a}$	$\acute{a}$	a [16]
варианты	$'\hat{\bar{a}}$	$'\acute{\bar{a}}$	$'\hat{a}$	$'\acute{a}$.	

2. Развитие новых долгот и некоторое упрощение интонационной системы:

фонемы	$\hat{\bar{a}}$	$\hat{a}$	$\bar{a}$	a
варианты	$'\hat{\bar{a}}$	$'\hat{a}$.		

3. Объединение интонации с ударением:

фонемы $'\hat{\bar{a}}$ $'\hat{a}$ $\bar{a}$ a.

4. Передвижка ударения и появление новых интонационных различий:

фонемы $'\hat{\bar{a}}$ $'\acute{\bar{a}}$ $'\hat{a}$ $\bar{a}$ a.

5. Объединение количества с ударением:

фонемы $'\hat{\bar{a}}$ $'\acute{\bar{a}}$ $'\hat{a}$ $\breve{a}$

$\overbrace{1^1/_2}$ 1 $^1/_2$ отношения по длительности (= 3 : 2 : 1).

6. Качественные изменения:

фонемы $'\hat{\bar{a}}$ $'\acute{\bar{a}}$ $\hat{a}$ $\breve{\partial}$.

7. Диалекты, не различающие долгих интонаций:

фонемы $'\hat{\bar{a}}$ $'\hat{a}$ $\breve{\partial}$.

Из всех славянских языков только словенский осуществил объединение всех трех просодических признаков. На противоположном полюсе находятся такие языки, как польский, где ни один из просодических признаков не использован в различительных целях и где представлено

[16] В данной схеме a передает краткую гласную, $\breve{a}$ — сверхкраткую.

в результате только демаркационное ударение. В обоих этих крайних типах, так же как и во всех промежуточных, просодические изменения имели одну общую причину — закон фонологической нерелевантности изолированного просодического признака. Видимо, система, представленная в седьмом пункте схемы, может считаться исходной для полной утраты различительной функции просодических признаков[17].

Перевела с польского *С. М. Шур*

---

[17] Иную концепцию исторического развития славянской акцентуации предлагает Р. О. Якобсон в работе «Опыт фонологического подхода к историческим вопросам славянской акцентологии» («American contributions to the V International congress of slavists», The Hague, 1963). Вкратце она сводится к следующему. Праславянский унаследовал от праиндоевропейского количество как фонологический признак. Вторым фонологическим просодическим признаком была интонация: акут противопоставлялся неинтонированным слогам. В слове мог быть только один акут, который одновременно выполнял кульминативную (выделительную) функцию. Такой ударный акут был ударением фонологическим. Слова, в которых акутированный слог отсутствовал, имели нефонологическое кульминативное инициальное ударение, способное переходить на предшествующий предлог или другое примыкающее слово с окситонным ударением. В таких случаях возникала энклиза. Это было так называемое рецессивное ударение. Редуцированные на конце слова были факультативными, т. е. могли исчезать. Если утраченные редуцированные были ударными, то ударение передвигалось и возникал неоакут. Однако он не создавал третьей интонационной оппозиции, а вызывал перестройку прежней системы. Общеславянскими чертами этой перестройки были: 1) замена старых, унаследованных, количественных отношений новыми, качественными; 2) возникновение новых количественных различий в сфере интонационных типов. Реализация этого второго явления территориально различна. Р. О. Якобсон выделяет четыре типа: 1) сербско-словенский: старый акут, чтобы не совпасть с новым, сокращается; старые долгие распадаются на краткие (акут) и долгие (неоакут), противопоставленные слогам с нейтральной длительностью (рецессивному ударению); 2) чешско-лужицкий: старый акут совпадает с новым и противопоставляется кратким слогам. Отсюда удлинение старых неоакутовых кратких и сокращение рецессивно ударных. Новые количественные отношения обусловливают утрату интонации. После исчезновения акута ударение, связанное с ним, утрачивает фонологическую функцию и совпадает с инициальным кульминативным (так называемая стабилизация ударения); 3) словацко-лехитский: долгота сохраняется только при неоакуте и его варианте — предударной долготе. Старый акут сокращается. Интонационные различия утрачиваются, что как и в типе 2, приводит к стабилизации ударения; 4) русско-болгарский: исчезает различие между старым и новым акутом, с одной стороны, и нефонологическим рецессивным ударением, с другой (утрата интонации), в пользу акута. Вместо западнославянской стабилизации (дефонологизации) ударения возникает, таким образом, сильное динамическое ударение с фонологической функцией. Количественные различия утрачиваются. В отдельных случаях старые интонационные различия гласных превращаются в качественные (русское *ô* на месте старого акута, *o* — на месте старого рецессивного ударения). См. также: е г о ж е, The prosodic questions of Slavic historical phonology restated, «Quaterly progress report [of the Massachusetts Institute of Technology]», XXIV, № 72 — Linguistics, Cambridge (Mass.), 1964, стр. 216—218.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1965

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Ф. П. ФИЛИН

ЗАМЕТКИ О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ СОВЕТСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

За последние годы фронт лингвистических работ стремительно расширялся и продолжает расширяться. Все более и более возрастает количество объектов, включаемых в изучение. Появляются описания ранее не изученных или вовсе неизвестных языков и диалектов в различных частях света, в различных странах, в том числе и в Советском Союзе, причем в научный обиход входят не только существующие теперь языки, но и древние, давно уже не звучащие. Сколько языков, современных и древних, на земном шаре? Не так давно в некоторых пособиях по введению в языкознание называлась цифра — две тысячи языков. Эта цифра не соответствует действительности. Языков, которые изучаются и могут быть изучены, гораздо больше. Справочники по обзору языков мира быстро стареют. Но дело не только и не столько во вновь исследуемых языках. И в языках, которые изучаются уже давно, открываются все новые и новые явления. Количество объектов языкознания становится почти безграничным.

Вместе с огромным расширением лингвистических объектов происходит быстрое нарастание различных аспектов изучения языка, что вызывается как внутренней логикой развития науки о языке, так и многообразными практическими потребностями общества. Трудности, с которыми сталкивается современное языкознание, чрезвычайно усложняются еще и тем, что происходит обострение борьбы различных, нередко взаимоисключающих точек зрения и концепций, которые в конечном счете отражают различные философские и идеологические течения, идеологическую борьбу. Сложившееся положение с особой остротой ставит вопрос о разработке такой общей теории языкознания, которая позволила бы наилучшим образом, с наибольшим приближением к действительности установить и обобщить закономерности развития языковых процессов, отвечать актуальным потребностям языковой практики, а также правильно оценивать методологические направления современной лингвистической мысли и делать из этого нужные выводы. Основы этой общей теории заложены в марксистско-ленинской философии, однако для того чтобы построить подлинное марксистско-ленинское языкознание, которое могло бы действенно объединить усилия всех прогрессивных языковедов как у нас, так и за рубежом, предстоит выполнить огромную работу.

Нельзя сказать, что советские языковеды, один из крупнейших лингвистических отрядов мира, не имеют успехов. Наоборот, если объективно оценивать их работу, следует отметить наличие больших достижений советского языкознания. Создание письменности десятков ранее бесписьменных языков, активное участие в нормировании литературных языков, подготовка грамматик, словарей (в нашей стране издается словарей боль-

ше, чем в любой другой стране мира), учебных пособий, упорядочение терминологических систем, усовершенствование переводческой деятельности и многое другое, отвечавшее и отвечающее насущным потребностям великой культурной революции в нашей стране,— всего этого нельзя сбрасывать со счетов при оценке состояния советского языкознания в его настоящем и прошлом. Определение многообразных типов языковых систем на основе вновь введенного в научный оборот огромного лингвистического материала, постановка проблем взаимоотношения между этими системами, родственными и особенно неродственными, на основе чего впервые в науке именно в нашей стране возникает сравнительно-типологическое и историко-типологическое изучение языков мира (прежде всего имеются в виду работы И. И. Мещанинова, С. Д. Кацнельсона и некоторых других лингвистов), разработка вопросов отражения в языке социальной структуры общества (следует особенно отметить достижения советской социальной диалектологии — исследования В. М. Жирмунского, Л. П. Якубинского и др.), многие открытия частного и общего характера — все это свидетельствует о немалых достижениях советских языковедов и в области теории языкознания. Нигилистическое отношение к нашим успехам, всякого рода злоязычие вроде того, будто бы советское языкознание «не имеет своего лица», может только дезориентировать общественность и дезорганизовать работу лингвистов.

Вместе с тем, как уже было сказано выше, чрезвычайное расширение объектов изучения и аспектов лингвистических исследований, осложняемое обострением борьбы многообразных языковедческих направлений, настоятельно требует нового подъема теории языкознания. Языковеды очень много пишут и много печатают работ самого различного характера, причем в большинстве случаев каждая работа заключает в себе новые полезные сведения и наблюдения. Книг, статей, сообщений и т. п. публикуется столько, что ни один лингвист не в состоянии не только осмыслить и «переработать» этот громадный поток языковедческой «информации», но даже познакомиться хотя бы поверхностно со всей литературой, относящейся к науке о языке. Отсутствие реферативных журналов по языкознанию в нашей стране чрезвычайно затрудняет работу языковедов. Заграничные реферативные журналы (а их издается немало) неполны, а главное далеко не удовлетворительны по своей методологической направленности, да и к тому же не всегда доступны. Нам нужно решить весьма назревшую проблему «службы информации». Но если нам даже удастся этого добиться, само по себе это еще не выход из положения. Главная трудность заключается в том, что в настоящее время явно обозначился разрыв между накоплением огромного количества фактического материала, целого моря частных наблюдений, с одной стороны, и надлежащим теоретическим обобщением беспрерывно возрастающей лингвистической эмпирики, с другой. Этот разрыв является серьезным препятствием как в деле всестороннего изучения сложных языковых процессов, происходивших в прошлом и возникающих в настоящее время, так и в деле удовлетворения практических потребностей общества. Разумеется, достигнуть существенных результатов в ликвидации указанного разрыва можно лишь объединенными усилиями всех языковедов, способных работать в области теоретического языкознания, с помощью представителей других научных дисциплин, особенно философов. Такая задача не под силу ни одному отдельно взятому коллективу, ни тем более одному ученому. Время «культа личности» в языкознании (как и в других науках) прошло безвозвратно. Мнимое объединение лингвистов, когда какое-либо направление навязывалось сверху, никому не нужно. В настоящее время очень важное значение приобретает продуманная организация лингвистических

исследований в масштабе всей страны, которая дала бы возможность выбирать правильные направления и координировать наши силы, но в этой организации не должно быть места ни непродуманному администрированию сверху, ни безответственному анархизму со стороны отдельных сотрудников снизу. Для того чтобы выбрать правильное направление и соответственно с этим строить наши научно-исследовательские планы, следует начать серьезное позитивное обсуждение наиболее важных проблем языкознания. Из этих проблем самой острой является соотношение так называемого «традиционного» и так называемого «структурального» направлений в языковедении.

*

Общеизвестно, что термины «традиционное» или «классическое» языкознание и «структуральное» или «новое» («точное») языковедение объединяют самые различные, далеко расходящиеся между собой направления. Даже в рамках одной какой-либо лингвистической школы имеются очень пестрые, неоднозначные толкования важнейших понятий. Характерно в этом отношении состояние в современной «американской лингвистической школе». Представители этого направления проявляют ярко выраженную склонность к неумеренному терминотворчеству, мало заботясь о том, насколько понятны их новые лингвистические термины даже их коллегам по специальности. Приходится составлять словари лингвистических терминов, чтобы достигать относительного взаимопонимания (один из таких словарей —«A glossary of American technical linguistic usage», составленный Э. Хэмпом, опубликован в 1964 г. в русском переводе). Такое важное для «структурального» языкознания понятие, как «модель», имеет десятки различных и противоречивых истолкований. И все же сквозь пестроту и хаос мнений и оттенков направлений проступают различия общего характера, позволяющие определять принципиальные расхождения в понимании самой природы языка, соотношения обозначаемого и обозначения, языка и общества.

В 20—30-х годах в разных странах почти одновременно возникают направления, которые объединяет критическое отношение к младограмматическому «атомизму», считавшему главным объектом исследования отдельные явления языка, главным методом их изучения — метод индукции, а реальной формой существования языка — язык индивидуума. Младограмматические концепции, которые были отнюдь не однородны и довольно противоречивы, основывались, главным образом, на различных течениях позитивистской философии второй половины XIX — начала XX в. «Атомистический» подход к языку препятствовал обнаружению существующих в нем разнообразных и сложных системных связей, хотя нельзя утверждать, что изучение системных отношений было вовсе чуждо младограмматикам. «Структурализм», который выдвинул как главную задачу исследования установление языковых структур и систем, был проявлением внутренней логики развития науки о языке как антитеза младограмматическому «атомизму». Само понятие системы, хотя и различно толкуемое, требовало иных методов и приемов описания языка, привело к созданию новых лингвистических дисциплин (прежде всего фонологии), новых понятий и новой терминологии. Это было определенным шагом вперед в развитии языкознания. Точность описания соотнесенных в системе явлений и самих системных фактов открывает новые аспекты, важные как для познания самих языковых закономерностей, так и для потребностей языковой практики. Однако, как мне представляется, новое направление уже в самом начале таило и особенно теперь таит в себе большую опасность. Опасность эта, на мой взгляд, заключается прежде

всего в абсолютизации системных связей, в понимании языка как непротиворечивой структуры языковых символов, имманентной в своем развитии, в отрыве языка от общества. Это особенно ярко выражено у глоссематиков, а также у многих представителей американской структуральной школы. Самые методы описания языка становятся все более и более формализованными, языковое моделирование превращается в значительной мере в самоцель, поскольку нередко главное внимание уделяется операционным процедурам, а не обнаружению закономерностей реального объекта исследования — языка со всей множественностью и противоречивостью составляющих его данных. Лингвистические исследования зачастую становятся умозрительным «искусством ради искусства», чистой «гимнастикой ума», для которой конкретный языковый материал в лучшем случае является отправной точкой для построения абстрактных моделей, а в худшем — произвольным набором нужных для моделирования примеров. Все чаще появляются работы, в которых метод абстрактных рассуждений заходит так далеко, что авторы этих работ не приводят ни одного лингвистического примера. Таким образом, исчезает самый объект языкознания, а вместе с ним и само языкознание. Правда, здесь нужно сделать существенную оговорку. Приемы лингвистических исследований могут быть, в зависимости от частных задач, очень различными. Не должны исключаться, конечно, и приемы отвлеченных абстракций, которые при определенных условиях могут сослужить хорошую службу. Однако если эти приемы объявляются «единственно научными», «единственно точными» и универсальными, дело принимает совсем другой оборот. В таком случае частные методики поднимаются «на уровень» методологии и получают определенное философское содержание. Отношения между субстанциями (языковыми «атомами») оказываются главными, решающими объектами исследования, а значимость самих субстанций объявляется чем-то второстепенным или вовсе сводится к нулю. Вряд ли можно согласиться с такой концепцией сущности языка. Здесь очень уместно вспомнить слова В. И. Ленина: «Для объективной диалектики *в* релятивном *есть* абсолютное. Для субъективизма и софистики релятивное только релятивно и исключает абсолютное»[1]. Таким образом, «точность», «объективность» при абсолютизации системных отношений может превратиться (и нередко превращается на деле) в «математизированный» или «формализированный» субъективистский произвол, не имеющий объективной познавательной ценности. Представление, будто бы все существующее, в том числе и такое общественное явление, как язык, состоит только из отношений, поддающихся математическому анализу, на мой взгляд, является или наивной верой во всемогущество математики в наш «математический» век, или же имеет философские истоки, с которыми вряд ли можно согласиться. Этим самым я вовсе не отрицаю возможности и важности формализованных методик для решения определенных задач. Основной побудительный мотив настоящей статьи—решительное возражение против имевших место попыток считать «структуральное» языкознание с его формализованными дедуктивными методами единственно научным, а «традиционное» языкознание устаревшим, отжившим свой век. Такие непомерные претензии—своего рода моральный диктат (или принимай нашу веру, или считай себя выбывшим из сферы науки). Диктаты никогда не приносили пользу науке. В нерешенных областях знаний должен господствовать иной лозунг: «пусть ученые спорят». Практика, жизнь покажет, кто прав и кто неправ.

Для чего в сущности нужно языкознание как наука в обществе, особенно социалистическом? Прежде всего для того, чтобы давать научно

[1] В. И. Ленин, Философские тетради, 1947, стр. 328.

обоснованные рекомендации, как наиболее целесообразно удовлетворять весьма многообразные потребности языкового общения как в пределах одной народности или нации, так и в пределах многонациональной страны, в человеческом обществе в целом. Очень важное значение имеет также историко-познавательное содержание науки о языке, поскольку развитие языка неразрывно связано с историей общества, является ее своеобразным преломлением и неотъемлемой частью. Тенденции, которые обнаруживаются в современных структуралистских направлениях (в одних менее, в других более явно), уводят языкознание от этих двух важнейших его задач (практической и историко-познавательной). Мне представляется, что весьма скромные, хотя и широко разрекламированные «авансом», достижения в области «структуральной» прикладной лингвистики[2] были бы гораздо более значительными, если бы с языком больше считались как с определенной конкретно-исторической реальностью, имеющей не только структуру, но и общественно-функциональную сторону.

Из того, что сказано выше, вовсе не следует, что мы должны отказаться от всего, что создано и создается «структуральными» направлениями. Однако использование достижений структурального языкознания может быть плодотворным и целенаправленным только при условии глубокой критической его оценки с позиций марксистско-ленинской философии. В этом отношении у нас сделано еще очень мало. Недавно вышедшая в свет книга коллектива авторов «Основные направления структурализма» (М., 1964) является только первым шагом в данном направлении. Серьезное отставание в этой области вызвано известными условиями, в которых развивалось советское языкознание. Антимладограмматические тенденции довольно рано возникают и в русском языкознании (прежде всего, это Бодуэн де Куртенэ и его последователи). Как антитеза младограмматическому направлению создаются первые лингвистические теории Н. Я. Марра. Как известно, в 20—30 годах эти теории превращаются в «новое учение о языке». Господство «нового учения о языке» в 30—40 годах, решительно отрицавшего законность существования других направлений, в известной степени изолировало советское языкознание от языкознания в зарубежных странах. Многочисленные работы по «структуральному языкознанию» в основном оказались вне внимания советских языковедов. Так называемое «сталинское языкознание» еще более усложнило проблему использования достижений мирового языкознания. После разоблачения «культа личности» обстановка резко изменилась к лучшему. Стало возможным свободное и широкое изучение работ любых лингвистических направлений без предвзятости, начал устанавливаться деловой контакт между советскими языковедами и языковедами других стран. Создались благоприятные условия для использования успехов зарубежных языковедов. Однако некоторая «самоизоляция», имевшая прежде место, создала новые трудности. Оказалось практически невозможным в короткий срок критически освоить и пересмотреть с позиций марксистско-ленинской методологии все то, что было накоплено в западноевропейском и американском языкознании.

Часть советских языковедов стала механически следовать «структуральным» теориям и методам, вовсе и не ставя перед собой задачу критического пересмотра методологических основ структурализма. В этом чрезмерном, некритическом увлечении «структуральными» течениями безусловно сыграл свою роль «экстралингвистический фактор» моды. Сторонники «модных» течений в пылу их пропаганды стали начисто отрицать научную значимость «классического» языкознания, проповедовать разного рода идеалистические «теорийки», вроде того, будто бы семиотика является

[2] См. об этом: М. Таубе, Вычислительные машины и здравый смысл, М., 1964.

«наукой всех наук» и т. п. Бóльшая часть советских языковедов заняла резко отрицательную позицию к этим вновь появившимся течениям в советском языкознании. Однако такая позиция оказалась в основном негативной. Больших исследований о современном структурализме, кроме вышеназванной книги «Основные направления структурализма», до сих пор не появилось. Настоящих дискуссий между «структуралистами» и «неструктуралистами» так и не было. Была взаимная неприязнь, взаимное непризнание, своего рода разговоры глухих с немыми. Конечно, такое положение дел ненормально и нетерпимо. Впрочем, как мне представляется, теперь намечаются сдвиги к взаимопониманию, создаются условия для плодотворных обсуждений и правильного решения проблем.

Как я думаю, не следует смешивать методологические основы языкознания и его частные методики. Методологические основы базируются на понимании природы, сущности языка, его общих законов развития, а частные методики зависят от конкретных задач, которые ставят перед собой исследователи. Как известно, сравнительно недавно возникла проблема перевода с одного языка на другой при помощи электронных вычислительных машин. Совершенно очевидно, что эта проблема не может быть решена при помощи, скажем, сравнительно-исторического или какого-либо другого «традиционного» метода. То же самое можно сказать о поисках рефератов статей из научно-технических журналов по их заглáвиям при помощи тех же машин, об автоматическом распознавании звуков речи и их синтезировании кибернетическими устройствами, об автоматическом анализе текста, о статистических обследованиях разных сторон языка, поддающихся статистической обработке, и о многих других новых проблемах, которые непрерывно возникают. Широкое внедрение математических приемов в новые лингвистические дисциплины вполне закономерно. Это настолько ясно, что не может быть предметом дискуссии. Дело оборачивается совершенно иной стороной, когда формализованные методы (которые их пропагандистами претенциозно называются «точными», «научными» и пр.) пытаются объявить единственно приемлемыми в современном языкознании.

Прежде чем научно обоснованно говорить о границах применимости формализованных методов, еще предстоит исследовать целый ряд сложных общелингвистических проблем. Назову только некоторые из них. Главная из проблем — соотношение структуры языка, языковых символов с обозначаемым содержанием, реальной действительностью — основной вопрос философии, продолжающий быть весьма актуальным и в современном языкознании. Для тех структуралистов, для которых язык представляет собою имманентную структуру знаков, эта проблема практически не существует, поскольку под содержанием, обозначаемым понимается нечто мыслимое, а не имеющееся вне нашего сознания. Такое понимание языка накладывает свой отпечаток на методику лингвистического исследования, когда связи между элементами языка заслоняют существование самих элементов как таковых, представляются в виде чисто абстрактных отношений, когда операционные процедуры моделирования превращаются в самоцель и т. д. Такой подход к языку не может объяснить всей сложности его построения и функционирования в обществе, не говоря уже о давно доказанной ложности самой исходной позиции. С этим тесно связан такой исключительно важный вопрос, как вопрос о степени самостоятельности системы языка, языковых знаков, о соотношении внутриязыковых и внеязыковых факторов в существовании и развитии языка, иначе говоря, о социально-исторической обусловленности языка, о языке и обществе. Для многих «структуралистов» важность этой проблематики признается только на словах или открыто отрицается (игнорирование в «строго науч-

ных, точных» исследованиях «экстралингвистических» факторов характерно для работ «структуралистских» направлений)[3]. Однако совершенно очевидно, что без дальнейшей углубленной разработки указанной проблематики языкознание как теоретическая наука не может развиваться.

К основным проблемам также относится вопрос о характере системности языка. Существующие в действительности системные связи в языке противоречивы, система — это не только гармоническое сочетание элементов одного и того же порядка, но в то же время и совокупность противоречивых элементов и отношений, отражающих диалектическую борьбу противоположностей, борьбу старого с новым, отживающего с нарождающимся. Это явление обычно не учитывается в «структурной» лингвистике с ее формализованными приемами исследования, дедуктивным методом. Один из представителей советского структурализма пишет: «В настоящее время не ясно, каким образом уложить в рамки строгой дедуктивной теории все многообразие довольно противоречивых фактов речевой действительности»[4]. Думаю, должно быть ясным, что язык во всей его реальности никаким образом нельзя уложить в рамки такой теории. Совершенно очевидно, что «структурные» методы не универсальны, на их основе не может быть построено общее языкознание, его методология, поскольку эти методы — частные приемы исследования только некоторых и не всегда существенных аспектов языка. Какое место они должны занять в общей теории языка, зависит от определения, какие стороны языка поддаются формализации, насколько существенны эти стороны для познания сущности языка, его структуры «на всех уровнях», его функций в обществе. Такие вопросы ставятся, но они еще очень далеки от своего разрешения. В связи с этим возникает вопрос, к какому кругу наук должно относиться языкознание. Некоторые структуралисты, считающие свои методы «единственно научными», относят языкознание к кругу кибернетических дисциплин, к наукам естественным. С их точки зрения выводы, к которым приходит «традиционное» языкознание,— это первичные материалы, факты «низшего порядка», тогда как математизированные обобщения — выводы «высшего порядка». С. К. Шаумян делает даже такое образное сравнение: «традиционное» описание языка — это картографирование местности «с точки зрения наземного наблюдателя», а «структурное»— картографирование «с точки зрения пилота, производящего аэрофотосъемку с летящего самолета»[5].

Совершенно очевидно, что язык в его поддающихся количественным измерениям сторонах может быть объектом математики. С точки зрения математики устанавливаемые «традиционными» методами явления языка — факты «низшего порядка», подлежащие математическим обобщениям. Однако языкознание, являющееся наукой гуманитарной, поскольку его главный объект — язык, явление безусловно социальное, не может быть заменено математикой, т. е. не может быть ликвидировано или превращено в придаток кибернетики. С точки зрения языковеда данные, полученные формализованными методами,— факты низшего и второстепенного

[3] Попытки применения формализованных структуральных методов в сравнительно-исторических исследованиях, в лингвистической географии и некоторых других развивающихся «старых» отраслях языкознания не вносят коренных изменений в эти дисциплины, имеют частный характер и прямого отношения к решению кардинальных проблем языка и общества не имеют.

[4] И. И. Ревзин, Модели языка, М., 1962, стр. 8.

[5] С. К. Шаумян, Язык как семиотическая система, «Теоретические проблемы современного советского языкознания», М., 1964, стр. 55. О том, к каким результатам могут приводить математические методы «аэрофотосъемки» в лингвистике, см. рецензию Барбары Холл на работу С. К. Шаумяна и П. А. Соболевой «Аппликативная порождающая модель и исчисление трансформаций в русском языке», М., 1963 («Language», 40, 3, 1964).

порядка, подлежащие историко-лингвистическому или собственно лингвистическому обобщению. В этом случае все зависит от того, какой аспект языка изучается, какая задача стоит перед исследователем. Мне представляется, что после надлежащего и глубокого анализа современных лингвистических направлений, в основу которого должно быть положено изучение гносеологических истоков этих направлений, мы будем иметь возможность говорить со всей определенностью не о различиях между «структурными» и «неструктурными» течениями, а о различиях между марксистским и немарксистским языкознанием. Однако в настоящее время противопоставление «структурального» и «неструктурального» языкознания еще сохраняется, и определение, что́ в том или ином направлении является марксистским и что́ не является таковым, остается проблемой, которую еще надо решить, хотя неприемлемость ряда исходных положений «структуральной» лингвистики для меня уже теперь представляется очевидной. Между прочим, нельзя не отметить, что некоторые талантливые представители структурального направления в советском языкознании ограничиваются лишь общим изложением структуральных взглядов, а когда переходят к конкретным исследованиям, обычно пользуются «старыми» методами, не замечая, что слова у них расходятся с делами.

Оценивая собственные достижения и недостатки, а также мировое языкознание с методологических позиций марксистско-ленинской философии и в то же время разграничивая разные методические приемы в зависимости от частных задач и аспектов исследования, так сказать, от разных уровней исследовательских работ, советские языковеды безусловно могут объединить свои усилия для решения новых больших проблем, которые выдвигает сама логика развития нашей науки и практические потребности общества, жизнь. То, что делается сейчас в этом направлении, еще недостаточно, разрозненно, на «уровне» брошюр, статей и сборников [6]. Нам следует перейти к подготовке капитальных монографических исследований по теории советского языкознания, в которых должны быть критически рассмотрены и обобщены исследовательские материалы отечественного и зарубежного языкознания по главным проблемам нашей науки и даны позитивные ответы на основные вопросы лингвистики. Особенно необходимо подготовить академические монографии по общему языкознанию. Из других кардинальных вопросов можно назвать такие, как общая теория грамматики, язык и мышление, языки мира в их сравнительно-типологическом изучении, внутренние законы и внешние факторы в развитии языка (язык и общество), язык и культура, состояние и перспективы развития сравнительно-исторического языкознания и др. Ценное начинание предпринято Научным советом по теории советского языкознания, возглавляемым В. М. Жирмунским. Этот совет опубликовал и подготавливает к публикации целый ряд брошюр под общим заголовком «Вопросы общего языкознания»: «Структура предложения» (И. И. Мещанинов), «Логика и грамматика» (В. З. Панфилов), «Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики» (Э. А. Макаев), «Вопросы теории грамматики» (В. Г. Адмони), «Понятие, значение и обозначение» (С. Д. Кацнельсон), «Общая теория частей речи» (О. П. Суник) и др. Опубликован также небольшой сборник «Вопросы общего языкознания», подготавливается сборник «Проблемы социальной лингвистики». В академических языковедческих институтах создаются проблемно-тематические группы, объединяющие сотрудников разных секторов и некоторую часть вузовских работников. Одна из таких групп «Язык и общество» (руководитель А. В. Десницкая) приступила к подготовке коллективной моногра-

[6] Ср., например, недавно опубликованный сборник «Теоретические проблемы современного советского языкознания», М., 1964.

фии по избранной проблеме. Следует только пожелать, чтобы брошюры и статьи превращались в полновесные монографии, которые должны стать важнейшей составной частью наших производственных и издательских планов.

*

Чрезвычайно важной в теоретическом и практическом отношении является проблема развития и взаимодействия национальных языков в социалистическом обществе, в капиталистических странах и в странах, освободившихся и освобождающихся от колониализма и идущих по пути прогресса. За годы советской власти в условиях ленинской национальной политики в СССР имеет место расцвет социалистических наций во всех проявлениях их деятельности, в том числе и в языке. Огромные успехи в развитии языков социалистических наций общеизвестны. Большие заслуги советских языковедов, принимавших активное участие в языковом строительстве, неоспоримы. Значительно меньшие по объему и значимости результаты достигнуты у нас в изучении развития национальных языков зарубежных стран, хотя и в этой области можно назвать немало ценных работ советских языковедов. И все же, несмотря на определенные успехи в области изучения национальных языков, наметился тот же разрыв между колоссальным накоплением разнообразных сведений, частных исследований и теоретическим обобщением материалов, как и в других областях языкознания.

Как известно, национальный вопрос продолжает быть актуальным и в эпоху социализма. Возникают различные формы социализма в национальном преломлении, вызванные историческими условиями образования и развития той или иной нации, особенностями экономики, культуры и бытового уклада. В рамках социализма возникают различные идеологические течения, связанные с такими вопросами, как отношение к социалистическому реализму в литературе и искусстве, к религии и т. п. Все эти важные проблемы ждут своего научно обоснованного решения и практических рекомендаций со стороны специалистов по гуманитарным наукам. Ярким проявлением национальных особенностей является язык, один из основных признаков нации. С тем или иным пониманием путей развития национальных языков связаны не только теоретико-лингвистические концепции, но и вопросы идеологии, близко касающиеся жизненных интересов широких народных масс. Что должно лежать в основе обогащения и усовершенствования национального языка, на что следует ориентироваться в определении норм литературного языка, в развитии терминологии, в упорядочении правописания и т. д.— эти и многие другие важные общекультурные практические проблемы всегда должны решаться при активном участии языковедов, которым необходимо вырабатывать научно обоснованные рекомендации. Однако такие рекомендации имеются далеко не всегда.

Изучение национальных языков включает в себя огромный комплекс проблем. Одна из таких проблем — определение признаков национального языка. То, что имеет общее название «национальный язык», в лингвистическом отношении представляет собой единицы очень различных типов. Русский национальный язык — совокупность близких между собой диалектов и общенародного языка, вершиной которого является нормированный литературный язык. Иной является структура немецкого национального языка, в состав которого входят далеко отошедшие друг от друга диалекты. Еще более показателен в этом отношении китайский язык, носители резко противопоставленных диалектов которого не понимают друг друга. Сравнительное изучение национальных языков позволит установить определенные и разнообразные их типы. Определение

национального языка в кругу родственных языков с позиции чисто лингвистической, на основании только дифференциальных языковых признаков, без учета признаков историко-социальных, невозможно. Русский и белорусский языки очень близки друг к другу, имеют сравнительно немного дифференциальных признаков, но это самостоятельные национальные языки. Китайские диалекты имеют значительно больше дифференциальных признаков, но составляют один национальный язык. В каждом из национальных языков далеко не одинаково соотношение литературных языков и диалектов, что наблюдается даже в близкородственных языках. Нормы русского литературного языка, хотя во многих отношениях подвижны и допускают вариантность, обязательны для всех говорящих на этом языке независимо от каких-либо территориальных делений. Если же в каких-либо городах возникают местные особенности (ср. ленинградское *вставочка* «ручка», *сапоги* — не только «сапоги», но и «ботинки» и т. п.), то эти особенности осознаются как ненормативные, региональные. В польском языке дело обстоит уже несколько иначе: некоторые регионализмы в нем сосуществуют на правах географических синонимов, стилистически равноправных. Еще больше представлена географическая синонимика в украинском литературном языке. У чехов сосуществуют и взаимодействуют две разновидности литературного языка: «традиционно-книжный» и разговорный. Наблюдений такого рода, касающихся отдельных языков, накоплено довольно много, а обобщений широкого масштаба, с привлечением данных многих родственных и неродственных языков, нет. Между тем установление разных типов национальных языков, разных структур их литературных языков, разных уровней их развития и т. п. при глубоком сравнительно-типологическом изучении позволило бы глубже понять своеобразие каждого языка, облегчило бы выработку научно обоснованных практических предложений.

Исключительно важным в теоретическом и практическом отношении является изучение взаимодействия и взаимообогащения языков на разных ступенях исторического развития, особенно в эпоху социализма и коммунизма. Здесь встают такие вопросы, как установление разных степеней взаимодействий родственных и неродственных языков (например, отношения между русским и татарским языками, татарским и чукотским языками очень различны), путей этих взаимодействий, с чем связаны проблемы возможностей проницаемости в разных языковых уровнях, отмирания отдельных языков и т. д., особенностей двуязычия и многоязычия, роли русского языка в пределах СССР и за его пределами, и многие другие. Для координации работ в этой области при Отделении языка и литературы АН СССР создан Научный совет по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций» (председатель Совета Ю. Д. Дешериев), который запланировал подготовку нескольких монографий. Большую роль в разработке указанных проблем несомненно сыграют многочисленные кадры лингвистов национальных республик и областей, работа которых должна быть объединена и целенаправлена.

Думаю, что я не преувеличу, если скажу, что в области изучения национальных языков, их взаимосвязей и взаимодействия советское языкознание занимает первое место в мире. Однако мы еще далеко не используем богатейшие возможности, которые представляет нам бурное развитие национальных языков в условиях ленинской национальной политики. Приоритет советского языкознания может быть еще более укреплен, если учесть, что в западноевропейской и американской лингвистике получает широкое распространение подход к языку как к имманентной структуре, с чем связано пренебрежение к изучению социально-функцио-

нальной стороны языка. «Структуралистским» концепциям в общем чужды такие проблемы, как национальный язык, его отличие от языка народности, пути развития национальных языков в капиталистическом и социалистическом обществе и все связанные с этим многочисленные проблемы, поскольку все это относится к так называемой «экстралингвистике».

Опыт советских лингвистов в изучении закономерностей развития национальных языков и в практике языкового строительства может быть использован не только в нашей стране, но и в других социалистических странах, а также в бывших зависимых и колониальных странах, где проблемы языка подчас оказываются очень актуальными. Однако для того, чтобы выработать полезные рекомендации и развить должную активность в этом направлении, нам нужны глубокие теоретические обобщения и еще раз обобщения; кроме того, нужно серьезно расширить круг изучаемых зарубежных национальных языков.

*

Разумеется, перечисленными выше вопросами вовсе не исчерпывается проблематика советского языкознания. Большое значение продолжает сохранять и будет сохранять сравнительно-историческое изучение родственных языков. Высказываемое иногда мнение, будто бы сравнительно-историческое языкознание является неактуальным, в связи с чем оно должно быть отодвинуто на задний план, наивно и всерьез приниматься не может. Исследование прошлого состояния языков, их происхождения далеко не исчерпало своих возможностей. Наоборот, с широким применением лингвогеографических методов и методов внутренней реконструкции, с системным подходом к языку и с его увязкой с историей общества перед сравнительно-историческими исследованиями открываются большие и заманчивые перспективы. То, что сделано наукой в этой области, это в сущности только начало. В планах наших лингвистических институтов работа в этом направлении развертывается, но и здесь, как и при решении других проблем, следует больше, чем это до сих пор делалось, сосредоточивать внимание на обобщении накопленных данных, на подготовке больших оригинальных монографий.

Особо следует отметить необходимость сравнительно-типологических исследований, начало которым было положено советскими языковедами. На мой взгляд, здесь нужно различать изучение типологии родственных и неродственных языков. Исследование типологии родственных языков уже дает и безусловно может дать много интересных данных, которые серьезно пополнят наши знания о структуре и истории этих языков. Однако более важным в плане установления общих закономерностей развития языков является сравнительно-типологическое изучение языков неродственных, с чего и началась в свое время работа в этом направлении. После застоя в период «сталинского учения о языке» сравнительно-типологическое исследование неродственных языков развертывается пока не теми темпами, которые были бы желательны.

Изучение истории и современного состояния литературных языков, теоретические и практические вопросы культуры речи, проблемы территориальной и социальной диалектологии, разносторонние задачи лексикографии, непрерывно возрастающие аспекты прикладной лингвистики и многие другие задачи, которые здесь невозможно перечислить, выдвигаемые внутренней логикой развития нашей науки и практическими потребностями общества, самой жизнью,— широкое поле деятельности многочисленного отряда советских языковедов.

Конечно, выдвижение на первый план крупных теоретических проблем, диктуемое состоянием современного языкознания, прежде всего определившимся разрывом между громадным накоплением материалов и частных наблюдений по отдельным языкам и группам языков и обобщением этого накопленного лингвистического богатства, вовсе не означает, что мы должны пренебрегать исследованием и описанием частных явлений. Большое складывается из малого. Однако нужно стремиться к установлению гармонического соотношения общих и частных проблем, которое в настоящее время нарушено, к серьезному подъему теории советского языкознания, что позволило бы глубже познать законы развития человеческой речи и на этой основе готовить научно обоснованные советы и рекомендации для практики языкового строительства в социалистическом обществе. Необходимо актуализировать советское языкознание. Задача эта не из легких. Выполнить ее можно не сразу. Многое будет зависеть от правильной организации работы, от целеустремленного планирования, от должной подготовки лингвистических кадров, а самое главное, от нашего желания перейти от слов к делу.

Прежде всего назрела необходимость в подготовке общего перспективного плана работ лингвистических учреждений страны, в котором были бы предусмотрены главные направления языковедческих исследований, конкретно определено участие исследовательских коллективов в разработке важнейших комплексных проблем. Существующая в настоящее время координация научно-исследовательских планов по языкознанию имеет довольно формальный характер. Координирующие органы, как правило, лишь регистрируют (да и то очень неполно) тематику, представляемую с мест, и не имеют своей собственной научно обоснованной позитивной программы, которая могла бы активно воздействовать на планы работ языковедческих научно-исследовательских институтов и кафедр. Даже деловые контакты между научно-исследовательскими институтами Академии наук СССР, в которых изучаются проблемы лингвистики, оставляют желать много лучшего.

Из большого круга важных теоретических проблем, стоящих перед советскими языковедами, представляется необходимым выделить прежде всего следующие.

1. Методологические основы советского языкознания. На первом месте здесь стоит развернутая оценка современных теоретических направлений в мировом языкознании, их достижений и недостатков, выяснение того, что из них должно быть нами использовано и что безусловно отброшено. С этим связано позитивное освещение соотношения методологии и конкретных, частных методик, зависимых от аспектов и задач исследования, выяснение дальнейших перспектив «классических» и «структуральных» методов. Особое внимание должно привлечь исследование главнейших итогов советского языкознания, его истории. Разумеется, в освещении этих, как и других, проблем безусловно будут высказываться неодинаковые точки зрения, однако важно так или иначе подвести итоги, чтобы успешно продвигаться вперед. В Институте языкознания АН СССР пока что намечено в ближайшее время подготовить к печати коллективные монографии «Общее языкознание» (руководитель Б. А. Серебренников) и «Советское языкознание за пятьдесят лет». Предполагается также приступить к коллективной работе «Основы теории грамматики» (руководитель В. Н. Ярцева).

2. Нации и национальные языки. В этот комплекс проблем входит прежде всего определение структурных и функциональных особенностей различных национальных языков в эпоху капитализма и в эпоху социализма, установление типов национальных языков, иссле-

дование закономерностей развития и взаимосвязей языков народов СССР и других социалистических стран, а также стран, становящихся на самостоятельный путь развития. Проблемы двуязычия и многоязычия в СССР и в других странах, типов языкового межнационального общения, языкового схождения и развития национальных особенностей, вопрос о судьбе языков малых народностей, о роли русского языка в обогащении языков народов СССР и многие другие актуальные вопросы этого круга проблем нуждаются в капитальных исследованиях. Особо выделяются проблемы закономерностей развития литературных языков социалистических наций, главных источников их обогащения, вопросы культуры речи широких слоев населения, культуры русского языка у нерусского населения нашей страны и т. д. В настоящее время подготавливаются коллективные монографии «Закономерности развития литературных языков в советскую эпоху» (в двух томах), «Языки народов СССР» (в пяти томах), цикл работ, связанных с темой «Русский язык и советское общество» (в Институте русского языка АН СССР) и некоторые другие исследования широкого теоретического и фактического профиля. Однако научно обоснованное планирование работ в этой исключительно важной области лишь только начато.

3. Внутриязыковые и внеязыковые факторы в развитии языка (язык и общество или социология языка). Эта проблематика, в разработке которой советские языковеды имели серьезные достижения, во время господства «сталинского языкознания», как известно, оказалась фактически под запретом. Работы в этой области были свернуты, а в настоящее время они возобновляются очень медленно, причиной чему является и увлечение абсолютизацией имманентной стороны языковой системы, имевшее место среди части советских языковедов за последние годы. Кроме тем «Русский язык и советское общество» и «Закономерности развития литературных языков в Советскую эпоху», наши лингвистические институты еще не имеют в своих планах ни одной капитальной монографии. Между тем разработка таких вопросов, как социальное в различных сторонах языка, революция и язык, расцвет социалистической культуры и язык, социальные диалекты и многих других, имеет серьезное теоретическое и практическое значение.

4. Язык и мышление. В ближайшее время намечается провести широкую дискуссию на эту тему с учетом представителей различных специальностей, материалы которой будут опубликованы. Подготовлены и готовятся монографии «Язык и мышление», «Содержание, значение и обозначение в языке», «Слово в речевой деятельности» и некоторые другие, предполагается включить в план Института языкознания АН СССР коллективную работу «Логические основы лексики и грамматики» и др. Конечно, и в этой области нам еще предстоит установить перспективный план исследований.

5. Сравнительно-историческое изучение языков. Известные слова Ф. Энгельса —«„материя и форма родного языка" только тогда могут быть поняты, когда прослеживают его возникновение и постепенное развитие, а это невозможно, если оставлять без внимания, во-первых, его собственные омертвевшие формы и, во-вторых, родственные живые и мертвые языки»[7] — сохраняют свою силу и в наше время. Сравнительно-историческое языкознание создает необходимую базу для научного объяснения состояния современных языков, для понимания диалектики процессов языкового развития. Тематика, связанная с сравнительно-историческими исследованиями, широко представлена в наших

[7] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., XIV, 1931, стр. 327.

планах. Недостаток планирования в этой области заключается в том, что выполняемые работы часто мало связаны между собою, имеют частный характер и поэтому не дают должного эффекта. Важно перейти к подготовке капитальных трудов, в которых были бы обобщены достижения мирового сравнительно-исторического языкознания как по отдельным семьям и подсемьям языков, так и по группам различных семей языков. Успехи, которые нами уже достигнуты (имеется в виду прежде всего пятитомная монография «Сравнительная грамматика германских языков», работа над которой заканчивается), должны быть закреплены и развиты.

6. Сравнительно-типологическая характеристика языков и проблемы исторической типологии. В наших планах пока что записаны темы, посвященные сравнительно-типологической характеристике родственных групп языков. Исключение представляют монографии «Эргативная конструкция в языках разных систем» И. И. Мещанинова и «Местоимения в языках разных систем в сравнительно-типологическом освещении» К. Е. Майтинской. Следует значительно шире развернуть типологические исследования неродственных языков. Этот круг вопросов, вызывающий в настоящее время большой интерес в мировом языкознании, давно уже разрабатывался советскими языковедами, в особенности в коллективе бывшего Института языка и мышления имени Н. Я. Марра АН СССР.

7. Прикладное языкознание. В этом важном направлении, которое нужно развивать, особое внимание следует уделять достижению практических результатов и их последующему внедрению в дело автоматизации процессов, связанных с речевой деятельностью. Пока что таких результатов мало. Мне представляется, что продвижению вперед в этой области мешают две причины: раздробленность, распыленность кадров лингвистов по разным академическим и неакадемическим учреждениям и слишком затянувшиеся подготовительные работы, зачастую не ориентированные на решение конкретных прикладных задач.

Перечисленные проблемы, конечно, не исчерпывают круга важных вопросов, стоящих перед советским языкознанием. Однако при составлении перспективных планов, как мне представляется, следует исходить именно из этого типа проблематики. Перед нами стоят большие и важные задачи, выполнение которых сопряжено с серьезнейшими трудностями. Нужно устранить из планов слишком частные малоперспективные темы, избавиться от «мелкотемья» и в то же время сохранить основные кадры работников, которые в значительной своей массе подготовлены для работы именно в отдельных, весьма специализированных областях языкознания. В то же время надо не забывать и об опасности, таящейся в планировании больших теоретических проблем — опасности поверхностного и неоригинального описания языковых явлений. Из истории науки нам хорошо известно, что книги с широковещательными заголовками нередко оказывались «книгами-однодневками», а в работах со скромными названиями содержались крупные открытия. Дело, конечно, не в названиях, а в правильно взятом направлении, в гармоническом сочетании теоретических и частных, конкретных исследований, в хорошо продуманной организации лингвистического дела, которая помогла бы советским языковедам с наибольшей эффективностью выполнить стоящие перед ними задачи.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1965

Е. М. ПОСПЕЛОВ

О БАЛТИЙСКОЙ ГИПОТЕЗЕ В СЕВЕРНОРУССКОЙ ТОПОНИМИКЕ

Топонимика Севера Европейской части СССР и вопрос о ее происхождении обсуждались в целом ряде работ; одной из последних по времени явилась статья А. К. Матвеева[1], обобщающая ранее выполненные автором исследования. Классифицируя севернорусскую топонимию по формантам, А. К. Матвеев, в частности, выделяет группу топонимов, оканчивающихся на *-ас*, *-ус* и приходит к выводу, что «...топонимика на *-ас* не имеет отношения к прибалтийско-финским топонимическим типам» и что «...можно говорить об известном звуковом сходстве топонимики на *-ас* с индоевропейскими источниками»[2]. (Подробное изложение доводов, выдвигаемых в пользу балтийского происхождения этой топонимической группы, было изложено А. К. Матвеевым ранее[3].) Названиями на *-ас*, *-ус* занимался также и В. А. Никонов[4], однако вследствие ограниченности имевшегося в его распоряжении материала (ему было известно всего лишь 18 таких названий, сосредоточенных по среднему течению Оки) он не смог прийти к определенному выводу относительно их языковой принадлежности.

К зоне распространения топонимов на *-ас* и *-ус* А. К. Матвеев относит весь русский Север, отмечая особенно компактные гнезда по притокам среднего течения Северной Двины, по верхней и средней Пинеге, а также по нижнему течению Мезени. Поскольку до сих пор граница распространения балтов так далеко на северо-восток никем еще не проводилась, интерес, который представляет гипотеза А. К. Матвеева для исторической географии, несомненен. Рассмотрим более подробно имеющиеся данные по распространению балтийской топонимии и доводы, приводимые А. К. Матвеевым.

Северо-восточная граница балтийской топонимии в самых общих чертах была определена М. Фасмером[5] (карта 1). Но и за пределами намеченной Фасмером границы, как отмечает В. Н. Топоров, обнаруживаются названия, которые большинством ученых причисляются к балтийским. Это р. *Цна* — левый приток Оки и р. *Цна* — левый приток Мокши. Существует мнение о балтийском происхождении топонима *Бологое*[6].

С учетом этих названий граница распространения балтийской топонимии может быть проведена от средней Оки к верхней Мсте, имея общее направление с юго-востока на северо-запад (карта 1). Интересно заметить, что если продолжить эту линию еще дальше на северо-запад, то на

---

[1] А. К. Матвеев, Субстратная топонимика русского Севера, ВЯ, 1964, 2.

[2] Там же, стр. 79.

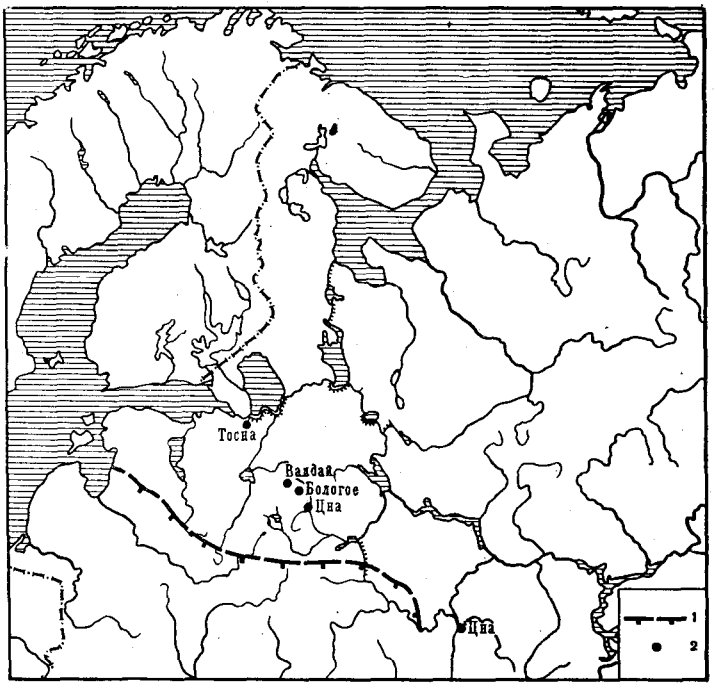
[3] А. К. Матвеев, О происхождении севернорусской топонимики на *ас* и *ус*, сб. «Вопросы топономастики», 1, Свердловск, 1962.

[4] В. А. Никонов, Неизвестные языки Поочья, ВЯ, 1960, 5.

[5] M. Vasmer, Die alten Bevölkerungsverhältnisse Russlands im Lichte der Sprachforschung, Berlin, 1941.

[6] См. об этом: В. Н. Топоров, Некоторые задачи изучения балтийской топонимии русских территорий, в кн.: «Географические названия», М., 1962 («Вопросы географии», сб. 58), стр. 44.

левом берегу Невы она закончится гидронимом *Тосна*. На это название в полной мере может быть распространена та же этимология, что и для гидронима *Цна* из балт. **Tusna*, ср. др.-прусск. *tusnan* «тихий»[7]. Правомерность такого распространения подтверждается тем, что на карте бассейна Невы 1698 г. подписано —«устье Тусна»[8].



Карта 1. Северо-восточная граница балтийской топонимии: 1— граница балтийской топонимии по М. Фасмеру; 2 — названия, относимые к балтийским

Наконец, необходимо отметить, что по свидетельству В. П. Семенова-Тян-Шанского, к литовским В. И. Ламанский относил название *Валдай*, а А. А. Шахматов — группу названий с формантами *-кумс*, *-гумс* в юго-западном Белозерье[9]. Первое из этих названий — *Валдай* — хорошо согласуется с общим начертанием границы Ока — Мста и не выходит за ее пределы. Названия же с формантами *-кумс*, *-гумс* расположены примерно в трехстах километрах к северо-востоку от этой границы, причем данных о каких-либо промежуточных, связующих звеньях пока нет. Гипотеза А. К. Матвеева, если даже ограничиться лишь указываемой им зоной максимального распространения названий на *-ас*, *-ус*, смещает границу балтийской топонимии на 750—1000 км к северо-востоку.

Заметим, что формант *-as(-os)* рассматривался Я. Калима и Э. Тункело, которые считали его прибалтийско-финским[10]. Полемизируя с ними,

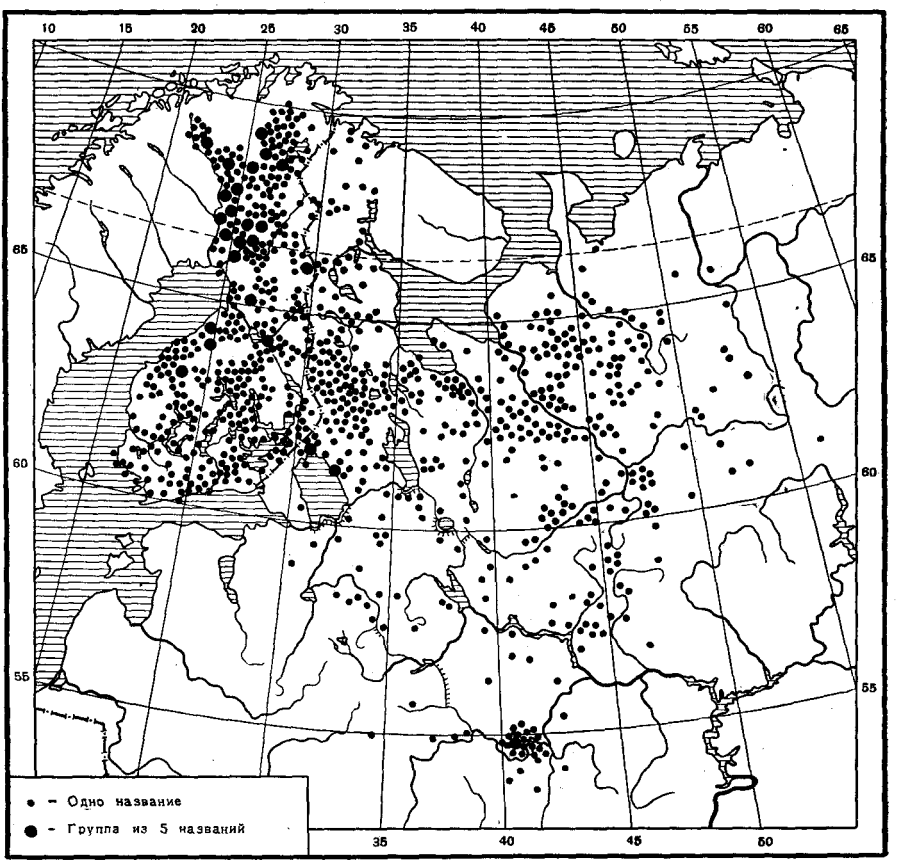
[7] В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев, Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья, М., 1962, стр. 212.

[8] «Атлас Петербург — Ленинград», ч. I, Л., 1957, стр. 5.

[9] В. П. Семенов-Тян-Шанский, Географические соображения о расселении человечества в Евразии и о прародине славян, «Землеведение», кн. I—II, М., 1916, стр. 6; его же, Наблюдения по антропогеографии, в кн.: «Как изучать свой край», 2-е изд., Л., 1926, стр. 184.

[10] J. Kalima, Einige russische Ortsnamentypen, «Finnisch-ugrische Forschungen», XXVIII, 1—3, 1944; E. A. Tunkelo, Über die Ortsnamen Nordrusslands auf *-as*, там же, XXXI, 1—2, 1953.

А. К. Матвеев в качестве возражения против их доводов приводит данные о географическом распространении этого типа названий. В частности, он отмечает, что «названия на *-ас* сосредоточены преимущественно не в западной, а в восточной части севернорусского топонимического региона» и что «в современной прибалтийско-финской топонимике названия с компонентом *-ас* нигде не образуют сколько-нибудь компактных скоплений» («Субстратная топонимика...», стр. 79).



Карта 2. Распространение названий на *-ас*, *-ос*, *-ус*

Однако картографические данные не подтверждают этих положений. Как видно из карты 2, составленной с использованием большого числа литературных и картографических источников, названия на *-ас*, *-ос*, *-ус* сосредоточены именно в западной части региона и при этом образуют наиболее компактные скопления как раз на территории современной прибалтийско-финской топонимии. Всего на карте показано около 500 названий на территории советской части региона (212 на *-ас*, 215 на *-ус*, 61 на *-ос*) и свыше 500 на территории Финляндии[11]. Поскольку на советской части использованный материал соответствовал примерно нагрузке

[11] На территории Финляндии названия установлены по справочнику: «Gazetteer № 62 — Finland (United States Board on geographical names)», Washington, 1962. Как указано в предисловии, содержание справочника соответствует нагрузке карты масштаба 1 : 400 000.

карты масштаба 1 : 200 000, а на финской — еще более мелкой, то можно считать, что в это число вошли названия лишь достаточно крупных объектов. Очевидно, что привлечение более подробных источников позволило бы значительно увеличить количество собранных названий. Заметим, что в исследовании А. К. Матвеева использовано лишь 75 названий на *-ас* («О происхождении...», стр. 15).

На основании этого материала А. К. Матвеев отмечает ряд структурно-фонетических различий между топонимией на *-ас*, *-ус* и топонимией, относимой им к прибалтийско-финской, в частности топонимией на «гласный + *-ньга*, *-нга*» (далее условно —«топонимия на *-ньга*»).

Язык топонимии на *-ньга*, по мнению А. К. Матвеева, был близок к прибалтийско-финским языкам или занимал промежуточное положение между ними и волжско-финскими языками («Субстратная топонимика...», стр. 83). Поэтому среди приводимых им доводов в пользу нефинноугорского происхождения топонимии на *-ас*, *-ус* важное место занимает сопоставление ее фонетического строя с фонетическим строем топонимии на *-ньга*. На основании такого сопоставления им отмечена разница в вокализме этих топонимических групп: широкое употребление *ы* в первом слоге топонимии на *-ас* и совершенная нетипичность этого для топонимии на *-ньга* («О происхождении...», стр. 15). С последним нельзя согласиться. Наличие таких названий, как *Пыльменьга*, *Нырзанга*, *Нырзынга*, *Сырденга*, *Урынга* и *Ырденга*[12], свидетельствует о том, что *ы* в первом слоге совсем не чуждо и финно-угорской топонимии на *-ньга*. Таким образом, противопоставлять указанные топонимические группы по различию в употреблении *ы* нельзя.

Исследование консонантизма обеих топонимических групп показывает отсутствие сочетаний согласных в абсолютном начале слова, что характерно для финно-угорских языков. В конце основы в обоих случаях возможны сочетания из двух и даже трех согласных. Сочетание *-ндр* отмечено в названиях на *-ус* (*Индрус*, *Ландрус*, *Пиндрус*, *Кондрус*, *Нондрус*) и на *-ньга* (*Андранга*, *Коленденга*). Сочетанию *-стр* в названии *Киструс* в топонимах на *-ньга*, очевидно, соответствуют *-штр* и *-здр* (*Вештранга*, *Ездринга*).

Эти сочетания широко распространены в топонимии Севера. Для примера укажем: *Кондра* и *Яшкондра* (ср. *Кондрус*), озера *Яндровские*, мыс *Киндра*, оз. *Ендриозеро*, оз. *Ландрозеро* (ср. *Ландрус*) и ряд других. Сочетание *-стр* находим в названии *Кестра* и в распространенном гидрониме *Сестра*; здесь же следует отметить название *Киздра*.

Наконец, заметим, что сочетания трех согласных вообще и *-ндр*, *-стр* в частности широко распространены также и в балтийской топонимии. Например: *Сандрава* и *Индрия* в Литовской ССР, *Индрус* в Латвийской ССР, *Истра* в Литовской ССР и в Подмосковье. Таким образом, если консонантизм абсолютного начала топонимов на *-ас*, *-ос*, *-ус* говорит в пользу их финно-угорского происхождения, то наличие указанных консонантных групп в конце основ нельзя использовать для отнесения их к тем или иным языкам.

А. К. Матвеевым были сопоставлены также сочетания согласных, отмеченные в середине названий на *-ас*, с одной стороны, и на *-ньга*, с другой. Полученные расхождения, по мнению автора, «свидетельствуют в пользу индоевропейского происхождения топонимики на *-ас*» («О происхождении...», стр. 15, 16). Но каждое из рассматриваемых сочетаний представлено всего лишь одним-двумя и лишь в двух случаях — четырьмя

[12] Все упоминаемые в статье топонимы относятся к территории СССР. Их точное местоположение не указывается из-за ограниченности объема статьи.

примерами. Это, очевидно, объясняется ограниченностью данных, имевшихся в распоряжении исследователя. Привлечение более обширного материала позволило уточнить полученные им результаты. Так, сочетание «смычный + сонорный», обычное для топонимии на *-ас*, *-ос*, *-ус*, в топонимии на *-ньга* было отмечено А. К. Матвеевым всего лишь один раз. Сейчас названий с такими сочетаниями можно привести значительно больше: *Себренга*, *Водренга*, *Падранга*, четыре *Шадреньги*, *Кипленьга*, *Куплонга*, *Чуплонга*, *Ципринга*, *Магреньга* и как вариант последнего сочетания несколько *Мехреньга*.

Сочетание «сонорный + смычный», считавшееся ранее редким в топонимии на *-ньга* и поэтому использовавшееся в качестве противопоставительного признака, характерного для названий на *-ас* («О происхождении...», стр. 15), ныне признано обычным («Субстратная топонимика...», стр. 79). Действительно, названий с таким сочетанием можно привести довольно много: *Вондонга*, *Лундонга*, трижды *Анданга*, *Корбанга*, *Корпанга*, *Пертеньга*, *Верденьга*, *Шарденьга*, дважды *Курденьга*, *Марденьга* и ряд других с сочетанием *рд*.

Наконец, остановимся еще на одном различии между топонимиями на *-ас* и на *-ньга*. В первой отмечено употребление сочетаний *рг*, *мг*, отсутствующих во второй. И наоборот, в топонимии на *-ньга* встречаются *рж*, *мж*, не известные в названиях на *-ас*. По этому поводу заметим, что П. Арума, рассматривая употребление суффикса *ж* в русской гидронимии, отмечал ряд случаев перехода на русской почве финно-угорского *г* в *ж*[13]. Например: *Сеньга*, *Сенег* и *Сенеж*, *Вельга* и *Вележ(к)а* и др.; к этому добавим известные в северной гидронимии пары *Корга — Коржа*, *Мурга — Муржа*, *Керга — Керженец* (<**Кержа*). Поэтому сочетания *рж*, *мж* можно рассматривать как русский вариант сочетаний *рг*, *мг*. Противопоставлять топонимические группы по наличию этих сочетаний вряд ли возможно.

Таким образом, разница в консонантизме середины слова оказывается менее резкой, чем это считалось ранее, и не дает оснований для противопоставления рассматриваемых топонимических групп.

Наряду с признаками, по которым отличаются эти группы, следует назвать и то, что их объединяет. Прежде всего это значительная общность топооснов. В обоих случаях форманты присоединены к односложным основам. А. К. Матвеев считает, что двусложность топонимии на *-ас*, *-ос*, *-ус* и трехсложность топонимии на *-ньга* служит противопоставляющим признаком («О происхождении...», стр. 10, 11). Но это различие, вызванное всего лишь разным составом формантов (односложный *-ас* и др., двусложный *-еньга*, *-аньга* и т. п.), конечно, не может рассматриваться как противопоставляющее. Более того, основы топонимов в обоих случаях не только односложные, но очень многие названия обеих групп образованы от одних и тех же основ. Например: *Азус — Азенга*, *Варус — Варенга*, *Вислус(а) — Висленга*, *Воймос — Войманга*, *Ворус — Воренга*, *Ермус — Ерманьга* и многие другие.

Кроме того, следует отметить ряд названий, образованных путем присоединения форманта *-ас*, *-ос*, *-ус* к основам, оканчивающимся на *-ньга*: *Вангозеро — Вангус*, *Гангозеро — Гангас*, *Енга — Енгас*, *Инга — Ингус* и т. д.[14]. В результате оказывается, что свыше 70 названий на *-ас*, *-ос*,

[13] Р. А р у м а а, Sur les principes et méthodes d'hydronomie russe. Les noms avec un suffixe en *ž*, «Scando-slavica», VII, 1961, стр. 182.

[14] Такие названия нельзя объединять с гидронимией на *-ньга*, так как элемент *-ньга* здесь не топоформант, а часть основы. В работе А. К. М а т в е е в а «Историко-этимологические разыскания» («Уч. зап. [Уральск. гос. ун-та]», 36 — Языкознание, Свердловск, 1960) это различие не проводится.

-ус (т. е. около 15% от числа всех выявленных на территории Советского Союза) образованы от основ, или употребляющихся в топонимии на *-ньга*, или имеющих исход на *-ньга*. Это обстоятельство представляется весьма важным свидетельством родства указанных топонимических групп.

Необходимо также подчеркнуть теснейшую связь топонимии на *-ас*, *-ос*, *-ус* и со всей остальной топонимией Севера. Многие названия рассматриваемой группы образованы путем присоединения формантов к основам, имеющим самостоятельное топонимическое употребление. Укажем некоторые примеры: *Барма — Бармас*, *Вальга — Вальгас*, *Варгручей — Варгус*, *Инда — Индус*, *Коч — Кочус*, *Кочма — Кочмас*, *Мымра — Мымрус*, *Неврa — Неврас* и т. д. В связи с этим явлением напомним, что А. К. Матвеев допускал балтийское происхождение формантов *-ас*, *-ус*, соотнося их с литовскими родовыми окончаниями существительных и прилагательных муж. рода («О происхождении...», стр. 14). Но если принять эту точку зрения, то для объяснения возникновения указанных пар придется или допустить существование добалтийского финно-угорского слоя, или отнести к балтийским все основы, применяемые с этими формантами. Последнее фактически означало бы признание балтийского происхождения всей дорусской топонимии Севера, так как эти же основы широко представлены и в топонимических группах с другими формантами. Очевидно, что такое предположение как противоречащее всем известным данным нельзя принять.

Интересно отметить, что суффиксы *-ас*, *-ос*, *-ус* используются в некоторых современных финно-угорских языках. В частности, в коми-зырянских диалектах для образования относительных прилагательных употребляются суффиксы *-ӧс*, *-ас*, *-сас*, а для образования существительных — суффикс *-асьʲ*[15]. В финском-суоми языке среди словообразовательных суффиксов существительных находим отыменные *-us*, *-uus*, отглагольные *-os*, *-ös*, *-us*, *-tus*, а среди суффиксов, образующих прилагательные,— *-kas*[16]. Поэтому отрицать возможность использования подобных суффиксов в прошлом, может быть даже более широкого, чем в современных языках, вряд ли есть основания. Эти примеры позволяют считать *-ас* и *-ус* не литовскими родовыми окончаниями, а полустершимися формантами финно-угорского или даже дофинноугорского происхождения, имевшими некогда словообразовательное назначение.

Необходимо также подчеркнуть, что многие основы топонимов на *-ньга* также имеют самостоятельное употребление: *Авжа — Авженьга*, *Анда — Анданга*, *Вадозеро — Ваденьга*, *Вара — Варенга*, *Верда — Верденьга* и т. д. Наличие пар *Кокша — Кокшеньга*, *Пакша — Пакшеньга*, *Покша — Покшеньга*, *Якша — Якшеньга* и др. представляет особый интерес, так как употребительность в топонимии на *-ньга* сочетаний согласных с шипящими используется в качестве признака, отличающего ее от топонимии на *-ас*. В связи с этим заметим, что наряду с названиями на *-кша* отмечены варианты, оканчивающиеся на *-кса*. Например: *Икша — Икса*, *Пукша — Пукса*, *Мокша — Мокса*, *Кокша — Кокса* и многие другие[17]. А основы на *-кса* встречаются в сочетании с *-ус*: оз. *Коксус-Ярви*, оз. *Ваксаус-Ярви* (ср. *Сиксанга*). Таким образом, имеющиеся расхождения между топонимиями на *-ас*, *-ус* и на *-ньга* в употреблении сочетаний

[15] См.: «Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов», Сыктывкар, 1961, стр. 474, 476.

[16] См.: Ю. С. Елисеев, Краткий грамматический очерк финского языка, в кн.: «Финско-русский словарь», под ред. О. В. Кукконен, Х. И. Лехмус и И. А. Линдрос, М., 1955, стр. 670, 671.

[17] В. А. Никонов отмечает соответствие звукосочетания [кс] в финском (суоми) и саамском марийскому [кш] (В. А. Никонов, Пути топонимического исследования, сб. «Принципы топонимики», М., 1964, стр. 63).

«согласный + *ш*» может характеризовать различия внутри одной финно-угорской семьи.

Топонимия любой территории, как известно, «создавалась постепенно и является многослойным образованием, состоящим из разновозрастных и разноязыковых элементов, искаженных временем, измененных в результате воздействия новых языков, новых насельников»[18]. Такие смены языков и народов, несомненно, происходили и на рассматриваемой территории. Народ, а вероятнее — народы, в языках которых применялись в качестве словообразовательных формантов элементы *-ас*, *-ос*, *-ус*, сталкивались с географической номенклатурой своих предшественников, осваивали ее и оформляли на свой лад, с помощью своих словообразовательных средств. Этим объясняется распространенность парных названий типа *Барма — Бармас*, *Вальга — Вальгас*, *Варг — Варгус* и т. п., а также *Авжа — Авженьга*, *Виз — Визенга*, *Волма — Волманга*, *Вола — Волан-га* и др.

Одновременно из этого следует, что топонимические группы, объединяющие названия по формальному признаку единства их конечных элементов, могут содержать разноязычные компоненты и поэтому анализ основ таких названий методом статистики фонетических явлений не может определить их языковой принадлежности. Например, среди названий с русским суффиксом *-ово* можно найти и финские (*Токсово*, *Кавголово*, *Мухтолово*), и чувашские (*Янтуково*, *Аблязово*), и мордовские (*Пикчасово*, *Пургасово*, *Мечасово*) и многие другие. Объединение таких названий в одну группу по единству суффикса вполне возможно и для определенных целей может оказаться необходимым. Однако легко представить, какие результаты получатся, если эту так называемую «топонимию на *-ово*» исследовать таким же формально лингвистическим методом, как и топонимию на *-ас*.

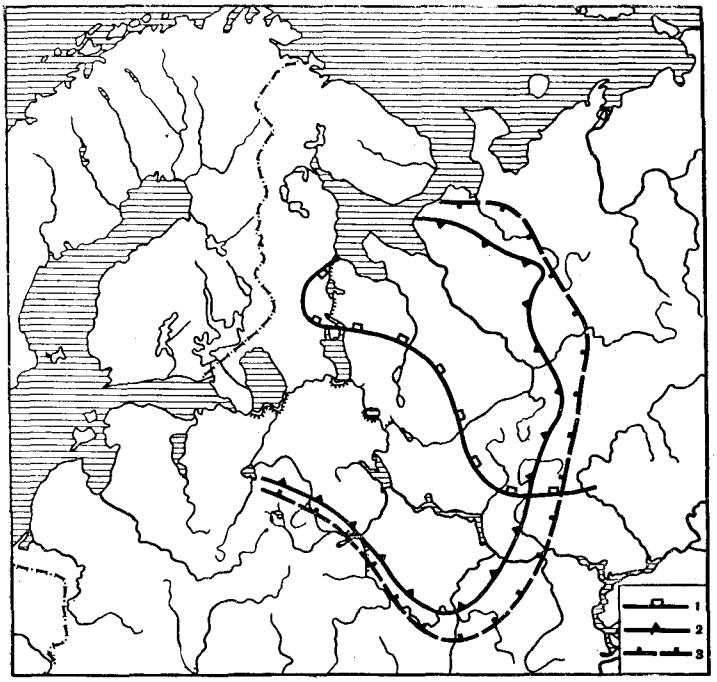
Другим распространенным способом образования топонимов является словосложение. Наиболее распространенные компоненты топонимов, образованных этим путем, — имя собственное и географический термин. И тот и другой компонент могут иметь окончания *-ас*, *-ос*, *-ус*. В случаях, когда основа или термин представляют собой слова с известным значением, определение их границ не представляет затруднений. Хуже, когда приходится анализировать названия, состоящие из неизвестных компонентов. Например, название *Кыргусь* по формальным признакам может быть отнесено к числу топонимов, содержащих сочетание *рг*. Но вполне возможно также допустить, что в этом названии сочетаются *кыр* (коми «обрыв») и *гусь*. Наличие рек *Гусь*, *Гусса*, а также топонимов *Лехгус* и *Пьянгус*, первые компоненты которых имеют самостоятельное употребление (ср. р. *Лех* и *Пьяна*), позволяет предположить, что это слово обозначает речной термин на неизвестном нам языке.

В качестве второго примера рассмотрим гидронимы *Лопшанга* и *Лопшеньга*. Формально — это гидронимы на *-ньга*, с консонантной группой *пш* в середине слова. Но сравнивая их со всей совокупностью дорусских гидронимов Севера, здесь можно предполагать сложение двух компонентов: *лоп* и *шанга/шеньга*, каждый из которых имеет широкое распространение. Для иллюстрации первого укажем *Лопь-Ю*, *Лопь*, *Лопья*, *Лопня*, *Лопца* и др. Второй элемент также представлен рядом самостоятельных названий: Большая и Малая *Шанга*, *Шаньга*, оз. *Шаньгима*, а также шесть речных названий *Шеньга*. Таким образом, как видно из этих примеров, словосложение может очень существенным образом исказить картину статистики консонантных сочетаний.

---

[18] Э. М. Мурзаев, Происхождение географических названий, в кн.: «Советская география. Итоги и задачи», М., 1960, стр. 405.

Разноязычность названий на *-ас*, *-ос*, *-ус* хорошо подтверждается данными этимологического анализа. Свыше 150 из них, т. е. около трети собранных на территории СССР, хорошо этимологизируются из финского, саамского или коми языков. Распределены названия между этими языками примерно поровну, с незначительным перевесом в пользу финского. При этимологизации принимались только кажущиеся прозрачными соответствия, без допущения рискованных фонетических переходов и с обязательным учетом возможности использования в топонимии предполагаемого значения. По своему смысловому значению большинство названий



Карта 3. Изоглоссы этимологий: 1 — названия на *-ас*, *-ос*, *-ус*, этимологизируемые из языка коми; 2 — то же из саамского; 3 — то же из финского

или относится к числу описательных, характеризующих основные признаки объекта, или образовано от простых географических терминов. Распространение на местности названий, этимологизированных из этих трех языков, показано на карте 3.

Не имея возможности привести все более чем 150 этимологий, остановимся лишь на некоторых. Прежде всего, отметим многочисленные названия на *-ас*, *-ос*, *-ус*, образованные от финских и карельских топооснов, имеющих широкое распространение во всей топонимии Севера [19]: *Вангус* (бас. Бол. Кокшаги), фин. *vanha* «старый»; сопки *Варусова Гора* (Валдайская возв.), фин. *vaara* «гора»; *Гирвас* (бас. Онежск. оз.), фин. *hirvi* «лось»; *Калас* (правый приток р. Виледи), *Калоса* (бас. Пинеги), фин. *kala* «рыба»; *Каргас* (бас. Паши), фин. *karhu* «медведь»; *Кус* (бас. Вычегды), *Кусь* (одна в бас. Немды; другая в бас. Унжи), фин. *kuusi* «ель»; Корбас (бас. Онежск. оз.), фин. *korpi* «глухой лес»; *Нурмас* (Кар. АССР), фин.

[19] В работах А. К. Матвеева («О происхождении...», стр. 13 и «Субстратная топонимика...», стр. 79) подчеркивается нехарактерность для топонимии *-ас* прибалтийско-финских топооснов, хотя и приводится несколько примеров такого рода (*Гирвас*, *Кондас*, *Ламбас*, *Солмас*).

nurmi «лужайка, луг»; *Пелдус* (левый приток р. Пезы), фин. *pelto*, кар. *peldo* «поле»; *Пурас* (бас. Пинеги), оз. *Пурос* (вост. берег Двинской губы), фин. *puro* «ручей»; *Пяртос*, *Пяртус* (обе бас. Сухоны), фин. *pirtti*, карел. *pertti* «изба».

Можно указать также ряд названий, этимологизируемых из саамского: *Карас* (бас. оз. Лаче), *Карасса* (бас. Сев. Двины), саам. *карас* «ворон»; *Ламбас* (левый приток Пинеги), саам. *ламбь* «торфяник», ср. фин. *lampi* «лесное озеро»; *Тастус* (три реки в верхнем течении Пинеги; одна из них впадает в р. *Нюхча*, саам. *нюхч* «лебедь»), саам. *тааст* «звезда»; *Сеньгас* (бас. Устья), саам. *сиенгес* «узкий, тонкий». Ср. также многочисленные р. *Сеньга*, *Шеньга*, а также р. *Сиеньга* (бас. оз. Воже); оз. *Эльмус* (Карел. АССР), саам. *эльма* «сугроб». Ср. также *Ельма* (одна — в бас. Кубенск. оз., другая — в бас. Онеги), *Елма* (бас. Онды), *Елмангa* (Карел. АССР).

Приведем примеры этимологизации и из языка коми: *Койнас* (левый приток Мезени), *кӧин* — «волк»; *Корас* (бас. Пезы), *кӧр* «олень»; *Кочус* (левый приток Пинеги), *Кочас-Ёль* (бас. Ухты), *кӧч* «заяц», *ёль* «ручей»; оз. *Нюрус* (левобережье Онеги), *нюр* «болото»; *Тырас* (несколько названий в бас. Пинеги), *Тырос* (бас. Онеги), *тыр* «полный, наполненный чем-либо»; *Урас* (бас. Сев. Двины), *Урус* (бас. Сухоны), *ур* «белка»; *Чулас* (правый приток Вашки), оз. *Чулос* (правобережье Пинеги), *чул* «выдра»; *Юрас* (одна — в бас. Пинеги; другая — правый приток Сев. Двины; третья — в бас. Унжи), *юр* «голова».

На окраинах ареала топонимии *-ас*, *-ос*, *-ус* возможно также участие и других языков. Так, на крайнем востоке ареала находим *Ус* (левый приток Мезени), *Уса* (левый приток Цильмы), *Уса* (правый приток Печоры). Эти гидронимы, состоящие из одного только элемента *ус*, наиболее трудны для этимологизации. Можно лишь предполагать, что подобные названия представляют собой простой географический термин для обозначения реки (или какое-либо иное слово) на неизвестном языке, искаженный в результате длительных фонетических изменений. Примеры такого рода известны: тюркское *ус* «река» образовалось из *угуз* [20], а гидронимы *Уса* в бассейнах Березины и Немана из литовского *úosis* «ясень» [21]. В случае если *ус* — географический термин, можно ожидать его участия в образовании названий на *-ус* в восточной части ареала.

В юго-восточной части ареала, за Средней Окой, распространены мордовские названия на *-ас*, *-ус*, образованные главным образом от мордовских личных имен. Это *Арзамас*, *Пургасово*, *Пикчасово*, *Вечкусово* и ряд других [22]. К мордовским же относят гидроним *Пандус* (бас. Алатыря), связывая его с морд. *панда* «гора» [23].

В районе Мста — Ильмень — Волхов, т. е. на юго-западе ареала, можно предполагать балтийское происхождение некоторых топонимов на *-ус*. Прежде всего это топонимы, начинающиеся с групп согласных: оз. *Пруса*, р. *Прусыня*, оз. *Врусское*. Возможно, что к балтийским могут быть отнесены и названия *Русска*, Старая и Новая *Русса*. В пользу этого предположения говорит ряд примеров использования в топонимообразовании балтийского корня **Rus*, приведенного в исследовании В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева [24]. Интересно также отметить любопытное соответст-

[20] Н. Г. Доможаков, Заметка о слове «ӱӱс», «Зап. [Хакасск. НИИ языка, лит-ры и истории]», V, 1957.

[21] В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев, указ. соч., стр. 5, 211.

[22] А. И. Попов, К вопросу о мордовской топонимике, «Филолог. доклады на конференции по вопросам финно-угорской филологии в Ленинграде в 1947 г. Сов. финноугроведение», II, Саранск, 1948.

[23] Л. Л. Трубе, Гидронимика Горьковской области, «Вестник МГУ», Серия V. География, 1962, 3, стр. 35.

[24] В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев, указ. соч., стр. 200—205.

вие названий рассматриваемого района с топонимией известного урочища *Русс* в устье Немана, где находятся р. *Русна* (*Русс*), р. *Руснайте* (ср. *Русса*, *Русска* в нашем ареале), р. *Ворусне* (ср. оз. *Врусское*), о. *Прусине* (ср. р. *Прусыня*, оз. *Пруса*). Заметим также, что географическое положение рассматриваемых названий в районе Мста — Ильмень — Волхов хорошо согласуется с уже упоминавшейся выше границей балтийской гидронимии. Наконец, возможны и иные объяснения происхождения топонимов на *-ас*. Например, название села *Рупасово* (Рязанская обл.), известное по документам также в формах *Рупосово*, *Рупусово*, связывается с древнерусским неканоническим именем *Рупас* [25].

Таким образом, данные этимологического анализа топонимии на *-ас*, *-ос*, *-ус* свидетельствуют о ее разноязычном происхождении. В то же время фонетический анализ всей совокупности названий с этими формантами не обнаруживает каких-либо резких отличий, противопоставляющих топонимию на *-ас* отдельным топонимическим группам Севера. Связь названий на *-ас*, *-ос*, *-ус* с остальной дорусской топонимией Севера проявляется также в широком использовании общих топооснов. Выдвинутая А. К. Матвеевым гипотеза об индоевропейском (балтийском) происхождении топонимов на *-ас*, *-ос*, *-ус* не может быть принята даже в качестве рабочей.

Возникновение такой гипотезы явилось, очевидно, следствием несколько упрощенного подхода к решению труднейшей топонимической задачи — определению языка названий. Прежде всего представляется неправильным игнорирование исторических источников и ориентирование исключительно на современные письменные и устные формы [26]. Упрощение проявилось и в забвении того, что внешне одинаковые конечные элементы названий могут принадлежать различным языкам, а внутри одного языка выполнять различную грамматическую роль (ср. названия на *-ин*: *Калязин*, *Бабушкин*, *Клин*, *Таллин* и др.) [27].

Сказанное ни в коей мере не означает отрицания приема суффиксального исследования как такового. Однако переоценка этого приема также вредна, как и недооценка. Суффиксы как массово повторяющиеся элементы языка могут использоваться очень эффективно. Однако язык суффикса далеко не всегда определяет язык основы. А представление о языковой однородности всей топонимии, оформленной с помощью того или иного суффикса, и применение к ней на этом основании приема фонетической статистики является проявлением такой неоправданной переоценки роли формантов в топонимике. Только органическое сочетание различных приемов исследования обеспечит успех топонимического исследования.

---

[25] З. П. Никулина, Топонимия междуречья Оки, Прони и Осетра. Автореф. канд. диссерт., Кемерово, 1964, стр. 6.

[26] В частности сопоставление названий поселений, выполненное М. В. Витовым по писцовым и переписным книгам конца XV—XVIII вв. для Заонежья («Историко-географические очерки Заонежья XVI—XVII вв.», М., 1962, стр. 228 и сл.), показывает весьма существенные изменения. Приведем наиболее различающиеся варианты написания некоторых названий: *Кудосово* (1496), *Кулдусово* (1620, 1647, 1718), *Кондусово* (1628), *Кундусова* (1778); *Гит-наволок* (1496), *Гин-наволок* (1563), *Гиндь-наволок* (1583), *Гирдь-наволок* (1620); *Теп-озерко* (1496), *Терп-оверо* (1563, 1718), *Телп-оверо* (1720, 1778); *Савыпелды* (1496—1628), *Сялыпелды* (1647), *Сапелда* (1718, 1720), *Сайпелда* (1778) и т. д. В ряде случаев изменялось начало названия: *Хоймо-губа*, *Фоймо-губа*, *Тоймо-губа*; *Гаккукса*, *Ваккукса*; *Каш-оверо*, *Хаш-оверо* и др. Эти примеры, взятые с территории только одного Шунгского погоста, показывают, что привлечение исторических источников может серьезно повлиять на исходные данные фоностатического анализа.

[27] См.: А. В. Суперанская, Типы и структура географических названий, в кн.: «Лингвистическая терминология и прикладная топономастика», М., 1964, стр. 73.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1965

Л. Л. ГУМЕЦКАЯ

ВОПРОСЫ УКРАИНСКО-БЕЛОРУССКИХ ЯЗЫКОВЫХ СВЯЗЕЙ ДРЕВНЕГО ПЕРИОДА

Вопрос украинско-белорусских языковых связей древнего периода, представляющий особенный интерес для историков украинского и белорусского языков, неоднократно затрагивался в научной литературе, однако и в настоящее время его нельзя считать в достаточной степени изученным. Причину этого пробела надо усматривать не только в недостаточном изучении фактического языкового материала, но и в предвзятости воззрений, с которыми отдельные исследователи приступали и приступают к изучению данного вопроса.

Одним из последних затронул эту проблему В. В. Аниченко в статье «Да пытання аб беларуска-украінскіх моўных узаемадзеяннях старажытнай пары» [1]. Ставя перед собой задачу выяснить на основании анализа языка белорусских и украинских памятников XV—XVII вв., «какие особенности, характерные для белорусского языка, нашли свое отражение в украинских памятниках и украинские — в белорусских на протяжении рассматриваемого периода» [2], автор, однако, сосредоточивает свое внимание не столько на белорусско-украинских языковых связях древнего периода, сколько на вопросе языковой основы белорусских и украинских памятников периода XV—XVII вв., на вопросе, что представлял собой письменно-литературный язык белорусов и украинцев этого периода. Напоминая, что единодушное мнение ученых сводится к тому, что предки современных украинцев и белорусов периода XV—XVII вв. пользовались общим письменно-литературным языком, хотя различно его называли (литовско-русским, русским, польско-русским, западнорусским), автор статьи считает наиболее подходящим для обозначения общего белорусско-украинского письменно-литературного языка древнего периода название «западнорусский».

Несмотря на разнообразие наименований, среди ученых по существу не было разногласий относительно вопроса об общности украинско-белорусского письменно-литературного языка древнего периода. Разногласия во взглядах ученых намечаются лишь в определении диалектной основы этого общего украинско-белорусского письменно-литературного языка. Большинство ученых придерживалось и придерживается взгляда на украинско-белорусский письменно-литературный язык древнего периода как на украинско-белорусское койне, в такой же степени близкое украинским, как и белорусским говорам. Еще М. Коялович утверждал, что этот язык «не был ни малорусским, ни белорусским, но просто западнорусским, одинаково понятным обоим племенам» [3]. Подобные взгляды высказывали П. И. Житецкий, Л. А. Булаховский, Хр. Станг, П. П. Плющ и др.

---

[1] «Slavia», XXXII, 1, 1963.

[2] Там же, стр. 36.

[3] М. Коялович, Ответ Костомарову на его статью в № 118 газеты «Голос», «Русский инвалид», № 100, 1864

С мнением П. П. Плюща о двух вариантах — украинском и белорусском — общего украинско-белорусского койне[4] перекликается, казалось бы, высказывание белорусского исследователя Л. М. Шакуна: «„Руський" язык, по существу, был литературно-письменным языком для белоруссов и украинцев, поскольку им пользовалась одна и другая народность, наполняя его на Белоруси белорусскими языковыми особенностями, а на Украине — украинскими»[5]. Однако тому же автору принадлежит и противоречащее утверждение о том, что «литературно-письменный язык белорусской народности выполнял официальные государственные функции в Литовском княжестве»[6].

Взгляд на «западнорусский» язык как на язык белорусской народности представлен в основном белорусскими учеными. Корни этой точки зрения надо искать в научной деятельности Е. Ф. Карского, хотя этот ученый не придерживался единого, непротиворечивого взгляда на рассматриваемый вопрос. В своей фундаментальной работе «Белорусы» Е. Ф. Карский отстаивал мнение, что в период XV — XVI вв. в западной Руси в роли литературного языка утвердился белорусский язык, который стал государственным языком в Литовском княжестве и распространился в письменной функции на юго-западной Руси[7]. Такая точка зрения отразилась и на разграничении учеными памятников украинской и белорусской письменности этого периода. Е. Ф. Карский отнес к памятникам белорусской письменности сочинения галичан Стефана Зизания, Ивана Вишенского, подолянина Герасима Смотрицкого, которые были напечатаны на этнической белорусской территории. Такие критерии разграничения памятников белорусской и украинской письменности Е. Ф. Карского неоднократно подвергались критике со стороны других исследователей[8].

Вместе с тем сам же Е. Ф. Карский делает существенную оговорку, заявляя, что иногда бывает трудно провести границу между белорусскими и украинскими памятниками древнего периода[9]. В рецензии на первый выпуск «Історичного словника українського язика» под редакцией Е. Тимченко Е. Ф. Карский прямо говорит, что в язык, отработанный в великокняжеской канцелярии, общий для белорусов и украинцев, просачиваются местные — белорусские и украинские — черты. Более того, ученый подвергает критике применяемый в словаре и раньше им самим применявшийся территориальный принцип разграничения украинских и белорусских памятников письменности, мотивируя свою мысль тем, что «часто природному белорусу приходилось жить и действовать в Украине и украинцу в Белоруссии; произведения одного и того же автора писались частью в Белоруссии, частью в Украине»[10]. Е. Ф. Карский выразил даже взгляд, что украинская и белорусская академии наук должны были бы совместно издать один исторический словарь украинского и белорусского языков или же совместно составить список авторов произведений, которые долж-

---

[4] П. П. Плющ, Нариси з історії української літературної мови, Київ, 1958, стр. 130.

[5] Л. М. Шакун, Нарысы гісторыі беларускай літаратурнай мовы, Мінск, 1960, стр. 59.

[6] Там же, стр. 115.

[7] Е. Ф. Карский, Белорусы, III, ч. 2, Пг., 1921, стр. 16.

[8] Ср. В. Перетц, [рец. не кн.:] Е Ф. Карский, Белорусы, III, ИОРЯС, [1922], 27, Л., 1924, стр. 335; Ї. Огієнко, Розмежування пам'яток українських від білоруських, «Зап. чина св. Василия Великого», VI, 1—2, Львів, 1925, стр. 269; П. Д. Тимошенко, Ю. Карський і українська мова, «Укр. мова в шк.», 1961, 3, стр. 24; В. Strumiński, [рец. на кн.:] Л. М. Шакун, Нарысы гісторыі беларускай літаратурнай мовы, Мінск, 1960, «Slavia orientalis», XI, 3, 1962.

[9] Е. Ф. Карский, указ. соч., стр. 16.

[10] ИОРЯС, III, 2, Л., 1930, стр. 636.

ны были бы войти, с одной стороны, в украинский исторический словарь, с другой стороны — в белорусский. В противном случае повторения будут неизбежны [11].

Ранние взгляды Е. Ф. Карского нашли своих последователей среди некоторых современных белорусских ученых. Утверждение о белорусской природе древнего «западнорусского» письменно-литературного языка выражено в пособии «Нарысы па гісторыі беларускай мовы», составленном в Институте языкознания АН БССР [12]. Того же взгляда придерживается и В. В. Аниченко, который между терминами «западнорусский» и «белорусский» ставит знак равенства, а в цитированной статье приходит к выводу, что белорусский язык периода XV—XVI вв. «по существу был общим литературно-письменным языком как для белорусов, так и для украинцев» [13]. Современные белорусские исследователи, как правило, относят к белорусским памятникам произведения украинцев, если они появились на белорусской территории. Как утверждают упомянутые «Нарысы», о высоком уровне развития белорусского литературного языка XVI—XVII вв. свидетельствуют... произведения украинцев: грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого, «Лексис» Лаврентия Зизания и «Лексикон» Памвы Берынды [14]. Подобно тому и Л. М. Шакун относит к белорусской письменности произведения ряда украинских писателей XVI—XVII вв., что осуждается польским рецензентом его книги [15]. Той же точки зрения придерживается В. В. Аниченко, который к числу белорусских памятников относит произведения Лаврентия Зизания, если они вышли из печати на белорусской территории, так же как и кутеинское издание «Лексикона» Памвы Берынды. Дальше всех в этом отношении зашел в свое время автор «Истории белорусской книги» В. Ластовский, который прямо заявил, что до половины XVII в. старокривский (белорусский) язык был языком русской письменности на пространстве от Смоленска до Львова [16]. Эти утверждения были в свое время подвергнуты справедливой критике И. Огиенко.

Какими же языковыми аргументами поддерживают свои утверждения поборники тезиса о белорусском характере западнорусского письменно-литературного языка XV—XVII вв.? Показательной в этом отношении может быть статья В. В. Аниченко, в которой сопоставляется грамота 1442 г., писанная в Троках [17], с грамотой 1427 г., писанной в Остроге, на Волыни [18]. Обе грамоты, по мнению автора, не различаются ни языком, ни стилем. В качестве примеров белорусских языковых черт в обеих грамотах автор приводит такие особенности: написание *е* вместо этимологического *ѣ*, *ы* вместо этимологического *и* после *р*, шипящих и в слове *тысеча* [19]. Следует отметить, что все примеры, приведенные автором из украинской грамоты 1427 г., ошибочны. В действительности в данной грамоте

[11] ИОРЯС, III, 2, Л., 1930, стр. 636—637.

[12] «Нарысы па історыі беларускай мовы», Мінск, 1957, стр. 21.

[13] В. В. Аниченко, указ. соч., стр. 46.

[14] «Нарысы па гісторыі беларускай мовы», стр. 23.

[15] B. Strumiński, указ. соч., стр. 426.

[16] В. Ластоўскі, Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі. Спроба паясніцельнай кнігопісі ад канца X да пачатку XIX стагодзьдзя, Коўна, 1926.

[17] «Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею», I, СПб., 1846, стр. 54.

[18] «Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею», I, СПб., 1863, стр. 10.

[19] В. В. Аниченко, указ. соч., стр. 41. Кстати непонятно, почему В. В. Аниченко считает, что в ошибочно приведенной им форме *тысеча* выступает *ы* вместо этимологического *и*. Этимологическим в данном слове является *ы*; ср. древнерусское *тысяча*, ст.-слав. *тысѧщи*. Форма *тисяча*, которая часто встречается в белорусских и украинских памятниках XV в., даже в тех, в которых не засвидетельствовано смешение *ы* — *и*, требует специального объяснения.

читаем: *дворище*, *гриве(н)*, *тисѧча*, *в городѣ*, а не *дворыще*, *грывенъ*, *тысеча*, *въ городе*, как утверждает В. В. Аниченко. Автор делал свои заключения на основании весьма ненадежных в смысле передачи фонетических черт памятников изданий, подготовленных историками и для исторических целей, и не обращался к прекрасному в языковом отношении изданию В. Розова [20]. Не вызывают доверия и дальнейшие примеры XVI в., почерпнутые из тех же изданий, совершенно непригодных для изучения и документации фонетических явлений староукраинского и старобелорусского языков.

Вместе с тем следует отметить, что указанные явления — *ы* вместо этимологического *и* после шипящих и *р*, *е* вместо *ѣ* — действительно выступают в ряде староукраинских памятников XV в. Однако усматривать в этом черты белорусской фонетики нет оснований. И в украинском языке шипящие, как и согласный *р* в ряде случаев, являются твердыми: ср. украинские *приятель*, *нашими* и т. п. Показателем их отвердения в XV в., с одной стороны, и смешения *ы* — *и* — с другой, и были написания с *ы* вместо этимологического *и*. То, что в наше время в приведенных словах в украинском языке пишется *и*, а в белорусском — *ы*, дело орфографии, а не фонетики. Так же точно наличие примеров с *е* на месте *ѣ* или *я* (<*ę) в безударном слоге типа *светой* — явление не только белорусской, но и украинской фонетики: ср. типичное для северноукраинских говоров *е* в безударном слоге параллельно с *іе* в ударном слоге на месте этимологического *ѣ*, слова *паметь*, *десеть*. К тому же в основной своей массе *е* вместо *ѣ* встречается в староукраинских документах в окончаниях им.-вин. падежа мн. числа и род. падежа ед. числа жен. рода местоимений и членных прилагательных (*-ые*<*-ыѣ*, *-ое*<*-оѣ*), — явление, как установил еще Н. Н. Дурново [21], свойственное значительной части говоров древнерусского языка и засвидетельствованное памятниками, не смешивающими *е* —*ѣ*, и связанное с сокращением *ѣ* после *j*. Фонетическая близость североукраинских и южнобелорусских говоров в древний период, надо полагать, была не меньшей, чем в наше время. Как показывают исторические данные, Литовско-Русское государство состояло из двух частей: собственно Литовской земли и присоединенных к ней русских земель, которые занимали в составе Великого княжества отдельное от собственно Литвы положение. В ядро Литовского государства, в собственно Литовскую землю входила, однако, не только исконная территория литовского племени, но также и соседние русские земли — Черная Русь с Новгородком и Гродном, Подляшье (Берестейская земля), Полесье — земли, занятые Литвой в XIII в., т. е. территория нынешних южнобелорусских и северноукраинских говоров [22]. По мнению Р. И. Аванесова, по ряду языковых черт в XIII в. уже отчетливо противопоставлялись остальной русской территории юг и юго-запад Руси: Киев, Галицко-Волынская земля, Турово-Пинское княжество, в состав которого входили юго-западные говоры белорусского и северные говоры украинского языков [23]. Таким образом, современный юго-западный диалект белорусского языка и северные говоры украинского языка составляли в прошлом один диалектный массив в границах Турово-Пинского княжества. Естественно поэтому, что носи-

---

[20] В. Розов, Українські грамоти, I (XIV в. і перша пол. XV в.), Київ, 1928.

[21] Н. Дурново, Очерк истории русского языка, М.— Л., 1924, стр. 182—183.

[22] Ср.: М. Любавский, Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого литовского статута, М., 1892, стр. 1—2, 7.

[23] Р. И. Аванесов, Проблемы образования языка русской (великорусской) народности, ВЯ, 1955, 5, стр. 27; ср. еще: Р. П. Паутарак, Гісторыя інфінітываў на *-ти* у беларускай мове, «Весці АН БССР», Серыя грамадских навук, 1964, 1, стр. 115.

тели северноукраинских диалектных черт наравне с носителями южнобелорусских диалектных черт принимали участие в создании «руського» языка великокняжеской канцелярии. Необходимо иметь в виду и влияние украинских земель, в более позднее время присоединенных к Великому княжеству Литовскому, так же, как и отмеченный уже Хр. Стангом факт, что среди этих «руських» земель Волынская земля отличалась наиболее высоким культурным уровнем и поэтому влияние ее на формирование языка великокняжеской литовской канцелярии должно было быть значительным[24].

Все эти обстоятельства и обусловили образование общего украинско-белорусского койне, отраженного в украинских и белорусских памятниках письменности. Этот «западнорусский» письменно-литературный язык, поддерживаемый авторитетом литовской великокняжеской канцелярии, приобретает в известной степени черты интердиалектного характера: некоторые языковые особенности, возникшие на основе северноукраинских и южнобелорусских говоров, следовательно, фонетически оправданные в документах с белорусской или волынской территории, спорадически встречаются и в львовских, и в перемышльских, и в киевских, и в буковинско-молдавских грамотах, и в документах королевской ягеллонской канцелярии, составленных, по мнению В. Курашкевича, южными писцами, т. е. уроженцами южноукраинской диалектной территории[25]. Надо полагать, что эти явления сделались уже особенностью правописания, некоторым орфографическим узусом. Эти черты удерживаются в украинских памятниках вплоть до XVII в. и встречаются даже в языке полтавских актовых книг[26]. Следовательно, заключение, что до XVII в. украинские памятники писались на белорусском языке, полностью противоречит фактам.

В научной литературе высказывались и диаметрально противоположные взгляды некоторыми украинскими учеными, которые усматривали в общем «западнорусском» письменно-литературном языке древнего периода южную и юго-западную украинскую диалектную основу[27]. Однако материалы памятников письменности XV—XVII вв. также не дают оснований принять и такую точку зрения. Думается, что для серьезного анализа языка древнейших памятников украинской и белорусской письменности будет создана надежная база только после выхода в свет словарей языков староукраинских и старобелорусских памятников письменности, в которых будет отражен словарный состав обоих языков и показан каталог их грамматических форм, а также после появления словарей украинских и белорусских говоров.

Что же представлял собой письменно-литературный язык на Украине и в Белоруссии периода XIV—XVII вв.? Прежде всего староукраинский язык, — так же как и старобелорусский — нельзя рассматривать как нечто однородное на протяжении периода XIV — XVII вв. В XIV—XV вв. староукраинский письменно-литературный язык обслуживает почти исключительно деловую письменность. Жанровое богатство письменной

---

[24] Chr. S. Stang, Die westrussische Kanzleisprache des Grossfürstentums Litauen, Oslo, 1935, стр. 21.

[25] W. Kuraszkiewicz, Gramoty halicko-wołyńskie XIV—XV w. Studjum językowe, Kraków, 1934, стр. 6—8.

[26] С. П. Самійленко, До характеристики полтавсько-київського діалекту за пам'ятками XVII ст., сб. «Полтавсько-київський діалект — основа української національної мови», Київ, 1954, стр. 26.

[27] Ср., например: Ф. Т. Жилко, Некоторые особенности развития украинского национального языка, «Тезисы докладов на совещании по проблемам образования русского национального языка в связи с образованием других славянских национальных языков 12—14 дек. 1960», М., 1960.

продукции, сменившее в XVI в. однотипность письменности предыдущего периода, вызывает потребность в стилистической дифференциации языковых средств. Этим требованиям письменный язык украинской народности, обслуживающий в предыдущий период исключительно сферу деловой письменности, удовлетворять уже не мог. На помощь приходит церковнославянский язык, со значительной, однако, украинской прослойкой. Возникают две разновидности письменно-литературного языка украинской народности, которые существуют до конца XVIII в.: «словенороссий» и «простой» или «руський» язык, — две формы литературного языка, соответствовавшие высокому и среднему стилям.

Сотни документов, возникших на украинской и белорусской территории, которые побывали в наших руках в процессе работы над словарем староукраинского языка XIV—XV вв., подтверждают в отношении указанного периода правильность взгляда тех исследователей, которые высказывались за единый «западнорусский» письменно-литературный язык с двумя — в основном фонетическими — вариантами: украинским и белорусским, однако с отмеченной выше хронологической поправкой. Сначала незначительные, со временем все более отчетливые местные различия в XVI в., с образованием «простого», «руського» языка, приводят к распадению «западнорусского» письменно-литературного языка на украинский и белорусский языки. Однако словарный состав обоих языков остается вплоть до XVIII в. очень близким. Таким образом, разграничение памятников письменности «западнорусского» периода, как правильно заметил Б. Струминский в упомянутой рецензии, будет всегда в известной степени искусственным.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1965

Т. М. ЛАЙТНЕР

О ЦИКЛИЧЕСКИХ ПРАВИЛАХ В РУССКОМ СПРЯЖЕНИИ

1. Доклад М. Халле на V Международном съезде славистов [1] представляет собой первый значительный шаг вперед в описании русского спряжения со времени появления известной работы Р. Якобсона, посвященной той же проблеме [2]. Хотя отправной точкой работы М. Халле послужило замечание Р. Якобсона о том, что для предсказания всей парадигмы глагола достаточно знать лишь один корень, фонологическая теория М. Халле по существу в трех отношениях отличается от теории Р. Якобсона. В настоящей статье в целях указания общего направления развития фонологических описаний мы довольно детально рассмотрим эти отличия; мы также попытаемся показать объяснительный характер подхода М. Халле. В заключение мы продемонстрируем, как в рамках дескриптивной теории, предложенной М. Халле, открывается возможность естественного решения трудной проблемы описания русского спряжения [3]. При этом в данной работе мы будем заниматься чисто сегментными явлениями и не будем останавливаться подробно на предсказании места ударения; в производных глагольных образованиях, выведенных с помощью формальных показателей, место ударения просто помечается без дальнейшего обсуждения [4].

---

[1] M. Halle, О правилах русского спряжения, «American contributions to the V International congress of slavists», The Hague, 1963.

[2] R. Jakobson, Russian conjugation, «Word», IV, 1948. В этой статье Якобсон показал, что, за небольшими исключениями, вся парадигма спряжения русского глагола может быть предсказана на основе одной абстрактной основы, которая обычно не остается неизменной во всех формах спряжения. Так, например, из основы *znáj* Якобсон выводил все формы настоящего времени: *znáju*, *znájiš*, *znájit* и т. д. Пользуясь правилом, согласно которому *j*, *v*, *n*, *m* усекаются перед согласными, Якобсон выводил инфинитив *znát'* из *znáj* + *t'* и прошедшее время *znál* из *znáj* + *l*. Для объяснения сохранения *j* в императиве *znájt'i* Якобсон допускал обязательную границу слова после формы императива ед. числа *znáj*+#+*t'i*. Исходя из основы *ot*+*m'ét'i*- Якобсон выводил инфинитив *atm'êt'it'* из *ot*+*m'* + *êt'i*+*t'*, а форму 1-го лица ед. числа *atm'éču* выводил из *ot*+*m'ét'i*+*u*. При репрезентации формы *atm'éču* фонема *t* переходит в *č*, так как мягкие конечные согласные всегда подвергаются переходному смягчению в форме 1-го лица ед. числа (§ 2.41, стр. 160—161); более того, конечный гласный основы усекается в соответствии с общим правилом, согласно которому гласный перед начальным гласным суффикса усекается (§ 2.21, стр. 159). Рассмотрение возвратных форм этого глагола, независимо от прочих обстоятельств, оправдывает допущение границы слова после формы ед. числа императива: конечная согласная основы *t* остается мягкой в императиве *atm'ét'sə* (из *ot*+*m'ét* + # + *sa*); однако в инфинитиве *t* в окончании отвердевает под влиянием следующего твердого *s*: *atm'êt'itsə* из *ot*+*m'êt'i* + + *t'* + *sa* (ср. § 2. 122, стр. 159).

[3] В настоящей рецензии мы рассмотрим только четыре из предложенных М. Халле правил. Мы опускаем правило предсказания места ударения, два правила на аканье и правило усечения *j*, *v*, *n*, *m* перед согласными, о котором уже говорилось в примеч. 2. В связи с недостатком места мы также не будем здесь обсуждать трактовку М. Халле форм сравнительной и превосходной степеней и несовершенного вида с соответствующей деривацией.

[4] Хотя модели ударения (stress patterns) в русском спряжении были в синхронном плане разработаны Е. Куриловичем («Система русского ударения», «Наук. зап. [Львівськ. держ. ун-ту]», Серия філологічна, III, 2, 1946) и Р. Якобсоном («Russian

1.1. Подход М. Халле отличается от подхода Р. Якобсона прежде всего в следующих двух отношениях: 1) М. Халле систематически использует синтаксическую структуру; 2) М. Халле требует применения фонологических правил в определенном порядке.

Ниже следуют первые два правила М. Халле [мы опускаем правило под номером 2, так как в § 3 (см. ниже) намереваемся ввести новое правило, которое должно применяться в этой позиции]:

1. Переходное смягчение согласных имеет место перед неокругленным гласным, за которым следует округленный гласный (стр. 119 [5]).

3. Гласный на конце морфемы усекается, если в пределах данного слова за ним следует гласный (стр. 116) [6].

Эти два правила достаточны для объяснения переходного смягчения всех русских глагольных форм при условии, что они применяются в отношении структуры глагольных форм по непосредственно составляющим (НС). Структура по НС форм настоящего времени следующая (скобки используются для выделения составляющих):

((Корень + глагольный суффикс + тематический гласный настоящего времени) + лицо — число).

Таким образом, можно следующим образом представить формы 1-го лица ед. числа *сижу*, 3-го лица ед. числа *сидит*, 1-го лица ед. числа *пишу*, 3-го лица ед. числа *пишет*:

сижу $((s'id + e + i) + u)$
сидит $((s'id + e + i) + t)$
пишу $((p'is + a + o) + u)$
пишет $((p'is + a + o) + t)$

М. Халле настаивает, чтобы приведенные выше два правила применялись сначала к сегментам, находящимся в пределах наиболее «срединного» (минимального) составляющего, затем к сегментам следующего по величине составляющего и т. д. вплоть до сегментов максимального составляющего. Таким образом, одни и те же правила применяются к сегментам все более емких составляющих глагольной формы, как бы совершая определенный ц и к л:

сижу: первый цикл $(s'id + e + i) \rightarrow 1 \rightarrow$ неприменимо $\rightarrow 3 \rightarrow (s'id + i)$
второй цикл: $(s'id + i + u) \rightarrow 1 \rightarrow (s'iž + i + u) \rightarrow 3 \rightarrow (s'iž + u) = s'ižú$
пишу: первый цикл: $(p'is + a + o) \rightarrow 1 \rightarrow (p'iš + a + o) \rightarrow 3 \rightarrow (p'iš + o)$
второй цикл: $(p'iš + o + u) \rightarrow 1 \rightarrow$ неприменимо $\rightarrow 3 \rightarrow (p'iš + u) = p'išú$
пишет: первый цикл: $(p'is + a + o) \rightarrow 1 \rightarrow (p'iš + a + o) \rightarrow 3 \rightarrow (p'iš + o)$
второй цикл: $(p'iš + o + t) \rightarrow 1,3 \rightarrow$ неприменимо $\rightarrow = p'iš + o + t$

Важно отметить, что структура по НС, которую М. Халле усматривает в указанных глагольных формах, оправдывается чисто синтаксически [7].

conjugation») до сих пор не было найдено удовлетворительного решения этой трудной проблемы. Ни Е. Курилович, ни Р. Якобсон, например, не пытались объяснить изменение ударения в формах типа *допи́ть ~ до́пил ~ допила́*; *прибы́ть ~ при́был ~ прибыла́*; *нача́ть ~ на́чал ~ начала́*; *поня́ть ~ по́нял ~ поняла́* и т. д. Следует ожидать, что при решении этой проблемы будет также найдено объяснение чередований в формах типа *не бы́ть ~ не́ был ~ не была́*; *не жи́ть ~ не́ жил ~ не жила́* и т. д., а также в именных формах типа *вода́ ~ во́ду ~ на́ воду*; *голова́ ~ го́лову ~ на́ голову* и т. д. Требует объяснения и тот факт, что во многих формах ударение на префиксе (предлоге) чередуется с ударением на корне. Так, согласно Р. И. Аванесову («Русское литературное произношение и ударение»), М., 1955, можно наблюдать следующие чередования: *до́был ~ добы́л* (*добы́ть*); *за́лил ~ зали́л* (*зали́ть*); *на́ землю ~ на зе́млю* (*земля́*) и т. д.

[5] Здесь и далее в скобках даны страницы рецензируемого доклада М. Халле.

[6] Ср. правило усечения гласных, предложенное Р. Якобсоном (примеч. 2).

[7] Синтаксическое описание русских глагольных форм см. в работе: E. S. K l i m a, Verb phrase structure in Russian, «Quarterly progress report 77», [Research laboratory of electronics. MIT], April, 1965.

Здесь речь не идет о простом создании ad hoc морфофонемных репрезентаций, позволяющих формулировать внешне простые правила выведения фонетических изображений изучаемых явлений. Тот факт, что именно данная структура по НС, полностью оправдываемая синтаксическими закономерностями русского языка, дает возможность сформулировать относительно простые правила, дающие объяснение фонологических фактов, является веским доказательством утверждения о том, что фонологические явления тесно связаны с синтаксической структурой и зависят от нее. Описание языка невозможно на основе отделения друг от друга его различных уровней; как отмечает А.А. Реформатский, «не надо делить язык „пополам" — на „социальное" и „природное" или же на „материю" и „форму[8]"».

Систематически используя понятие синтаксической структуры (что давно необходимо в любой полной грамматике русского языка), М. Халле показал, что переходное смягчение в любой глагольной форме можно объяснить, не принимая во внимание то обстоятельство, что такое смягчение возникает только в 1-м лице ед. числа глаголов с суффиксами на гласный переднего ряда (*сидеть*: *сижу*; *просить*: *прошу* и др.) и в настоящем времени глаголов с суффиксом *а* (*писать*: *пишу*, *пишет*; *хохотать*: *хохочу*, *хохочет* и т. д.) и вовсе не встречается в глаголах с нулевым суффиксом (*нести*: *несу*, *несёт* и т. д.).

Рассмотрим третье циклическое правило, предложенное М. Халле.

4. Непереходное смягчение согласных и замена задненебных согласных палатальными осуществляется:

а) перед морфемой, состоящей из гласного *о*, за которым следует морфема, начинающаяся с согласного,

б) перед морфемой, начинающейся гласным переднего ряда (стр. 124).

В рамках прохождения данного цикла это правило должно применяться непосредственно после правила (3). Из репрезентации формы *сидит* — $((s'id + e + i) + t)$ выводим следующие производные формы:

сидит: первый цикл: $(s'id + e + i) \rightarrow 1 \rightarrow$ неприменимо $\rightarrow 3 \rightarrow (s'id + i) \rightarrow 4b \rightarrow (s'id' + i)$
второй цикл: $(s'id' + i + t) \rightarrow 1,3,4 \rightarrow$ неприменимо $= s'id'it$.

Из репрезентации формы *сидят* $((s'id + e + i) + at)$ выводим:

сидят: первый цикл: $(s'id + e + i) \rightarrow 1 \rightarrow$ неприменимо $\rightarrow 3 \rightarrow (s'id' + i) \rightarrow 4b \rightarrow (s'id' + i)$

второй цикл: $(s'id' + i + at) \rightarrow 1 \rightarrow$ неприменимо $\rightarrow 3 \rightarrow (s'id' + at) \rightarrow 4 \rightarrow$ неприменимо $= sid'át$

При выведении указанных форм важно иметь в виду обязательность предсказания смягчения *d* в конце основы; в указанных репрезентациях нельзя, например, допустить корень *s'id'*, ибо этот корень не дает возможности объяснить твердое *d* в такой связанной с этим корнем форме, как *s'idok* (род. падеж мн. числа от *сидка*). Что касается форм типа *точить*, *точу*, *точат*; *печешь*, *печет* и т. д., то здесь при рассмотрении близких форм *tok* (им. падеж), *peku* (1-е лицо ед. числа) необходимо объяснить переход велярных в палатальные. Ниже приводятся предложенные М. Халле репрезентации без соответствующих деривaций; можно убедиться, что приме-

[8] А. А. Реформатский, О соотношении фонетики и грамматики (морфологии), сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955, стр. 93. В этой интересной статье А. А. Реформатский подчеркивает существенное единство и целостность языка, отмечая, что это единство и целостность не исключает особенностей каждого отдельного структурного элемента языка. Критикуя положения работ Х. Улашина, Дж. Трейгера, Н. С. Трубецкого, М. Свадеша, А. А. Реформатский отвергает понятие фонемного уровня репрезентации, отличного от морфофонемного и фонетического уровней. Ниже в § 1.2 мы рассмотрим позицию М. Халле по этому вопросу.

нение трех циклических правил, указанных выше, дает возможность выводить фонетические репрезентации (в этих формах, как и в приведенной форме *p'iš* + *o* + *t*, для получения правильной фонетической репрезентации необходимо применение двух правил на аканье, сформулированных М. Халле на стр. 114):

точить (*tok* + *i* + *t'*)	*пеку* ((*p'ok* + *o*) + *u*)
точу ((*tok* + *i* + *i*) + *u*)	*печёшь* ((*p'ok* + *o*) + *š*)
точат ((*tok* + *i* + *i*) + *at*)	*печёт* ((*p'ok* + *o*) + *t*)

Другой ряд взаимосвязанных форм, объяснение которых должно содержаться в любой грамматике, вполне аналогичен формам, о которых мы только что говорили, с той лишь разницей, что здесь велярные чередуются с палатальными в случае, когда палатальный находится перед гласным заднего ряда *a* (*визг*, но *визжать*; *умолкнуть*, но *молчать*; *крик*, но *кричать* и т. д.). Для объяснения чередований в этих формах М. Халле предлагает применение следующего правила [9]:

5. В однофонемной морфеме *e* заменяется через *a*, если *e* следует за морфемой, кончающейся на палатальный согласный или на *j* (стр. 126).

Применение этого правила дает возможность следующим образом вывести форму инфинитива *молчать* из корня, оканчивающегося на велярный [10].

молчать: (*molk* + *e* + *t'*) → 1,3 → неприменимо → 4 → (*molč'* + *e* + *t'*) → 5 → *molč'* + *a* + *t'* → аканье → *malč'át'*

1.2. Третий момент, которым подход М. Халле отличается от подхода Р. Якобсона, состоит в следующем: согласно М. Халле, при фонологическом описании не следует считаться с третьим, «фонемным» уровнем репрезентации, промежуточным между морфофонемным и фонетическим уровнями (ср. примеч. 6). Хотя эта мысль специально не подчеркивается в докладе М. Халле на Софийском конгрессе, он ясно выразил ее в своей работе «The sound pattern of Russian» [11]. Тот же аргумент недавно был использован Н. Хомским [12]. Мне представляется, что в связи с непосред-

[9] В связи с небольшим объемом доклада М. Халле «О правилах русского спряжения» невозможно определить, следует ли правило 5 применять в пределах цикла или же после завершения цикла. Однако в терминах полной грамматики русского языка решение М. Халле использовать правило 5 после завершения цикла может оказаться вполне оправданным. Мы не будем дальше углубляться в детали этой проблемы и просто примем трактовку М. Халле, т. е. будем применять правило 5 после завершения цикла. Таким образом, правило 5 является правилом постцикла: оно может применяться только один раз к любому сегменту формы, безотносительно к синтаксической структуре. Отметим, кстати, что правило 5 имеет более широкое применение, чем то, которое описано здесь. Так, например, оно дает возможность объяснить последовательность «палатальный + *a*» в слове *величайший* (ср. *велик*) в противоположность последовательности «непалатальный + *e*» в словах *слабейший*, *новейший*, *богатейший* и т. д.

[10] Отметим, что выведение форм типа *молчать* из глагольной основы на *e* вносит упрощение в употребление тематических гласных настоящего времени. Р. Якобсон считает, что тематический гласный *i* должен использоваться после гласных переднего ряда и после {*š*, *ž*, *č*} + *a* (*сидит* из *s'id'ë-*, *говорит* из *govor'i-*, *молчит* из *molčá-*, *визжит* из *v'izžá-* и т. д.). В других случаях применяется тематический гласный *o* (*знает* из *znáj-*, *живет* из *živ-*, *несет* из *n'os-*, *пишет* из *p'isa-* и т. д.). Выведение глаголов типа *молчать* и *визжать* из соответствующих основ на *e* (*молчать* из *molk* + *é*, *визжать* из *v'izg* + *é* и т. д.) дает возможность сформулировать более простое правило: тематический гласный *i* встречается после гласных переднего ряда, а тематический гласный *o* в остальных случаях.

[11] См. раздел 1.33, стр. 22—23 (русский перевод в сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 304—306).

[12] N. Chomsky, The logical basis of linguistic theory, в сб. «Proceedings of the IX International congress of linguists», The Hague, 1964). Как указывает Н. Хомский, подобные же примеры можно найти и в других языках. Однако не всегда легко найти такие простые и убедительные примеры, как тот, который приводит М. Халле. А. А. Ре-

ственным отношением этой идеи к разбираемым нами вопросам, ее стоит здесь повторить.

В русском языке конечный шумный в слове — глухой; более того, при сочетании шумных с шумными происходит ассимиляция по звонкости: если последний шумный в сочетании — глухой (звонкий), все предшествующие шумные, в этом сочетании — глухие (звонкие). Таковы формы род. падежа ед. числа *визга* [*v'ízgə*], им. падежа ед. числа *визг* [v'ísk], им. падежа ед. числа *просьба* [prɔ́z'bə] и т. д. Эта ассимиляция возникает на стыке слов, если они произносятся без паузы: *сад был* [sát bt̀l] или [sádbt̀l]; шумные *č*, *x*, которые не противопоставляются никаким звонким фонемам, также подвергаются ассимиляции по звонкости; вполне разумно допустить, что правила, дающие объяснение ассимиляции по звонкости в [sádbt̀l], можно в тех же целях применить и в случаях *лечь бы* [léžbt̀], *мох был* [mɔ́γ bt̀l] и т. д. Чтобы показать это, рассмотрим два возможных варианта описания.

Грамматика А

(a′-*i*) шумные являются глухими в конечной позиции в слове
(a-*ii*) шумные подвержены ассимиляции по звонкости

Грамматика В

(b-i) шумные являются глухими в конечной позиции в слове
(b″*ii*) все шумные, кроме *č*, *x*, подвержены ассимиляции по звонкости
(b-iii) *č*, *x* подвержены ассимиляции по звонкости

М. Халле считает, что грамматика В — не мотивирована и представляет собой неоправданное усложнение описания русского языка, в то время как грамматика А дает возможность проводить интуитивно правильный анализ ассимиляции по звонкости в русском языке. Рассмотрим некоторые производные, вводимые в результате применения правил грамматики А:

(1) *сад*: *sád* → *a-i* → *sát* → *a-ii′* → *sát*
(2) *сад был*: *sád* # *bt̀l* → *a-i* → *sát* # *bt̀l* → *a-ii′* → *sád* # *bt̀l* = *sádbt̀l* (где # обозначает границу слова, отсутствие пробела между словами означает непрерывную речь, а акут и гравис соответственно означают основное и второстепенное ударение)
(3) *лечь бы*: *l'éč'* # *bt̀* → *a-i* → *l'éč* # *bt̀'* → *a-ii* → *l'é'ž* # *bt̀* = *l'éžbt*

При рассмотрении этих производных видно, что до введения (a-i) слово *сад* в производном (1) не представлено фонемно; после введения (a-i), но до введения (a-ii), словосочетание *сад был* в производном (2) нельзя считать представленным фонемно; после введения (a-ii) словосочетание *лечь бы* в производном (3) нельзя признать фонемной репрезентацией. Если же принять интуитивно правильную грамматику А, то и здесь невозможно добиться фонемной репрезентации в определенном пункте процесса деривации: в отношении *сад* и *лечь бы* фонемная представленность достигается после введения (a-i); в отношении *сад был* — после введения (a-ii). Таким образом, нельзя сформулировать в грамматике точных условий, при которых мы могли бы утверждать: «сейчас достигнут фонемный уровень репрезентации». Для достижения этого уровня пришлось бы использовать грамматику, которая интуитивно неверна (грамматика В); именно поэтому М. Халле отрицает лингвистическую значимость третьего, «фонемного», уровня репрезентации, промежуточного между морфемным и фонетическим уровнем.

форматский, например, просто указывает, что особый уровень фонемной транскрипции лишен какого-либо лингвистического интереса; он не показывает, что подобный уровень не существует и не может существовать.

2. При рассмотрении развития фонологического описания, начиная от классического разбора церковнославянского глагола, данного Лескином, и кончая якобсоновским «Russian conjugation» и, наконец, «О правилах русского спряжения» Халле, можно заметить две основные тенденции: 1) усиливающуюся тенденцию к все большей абстрактности решений и 2) понимание того факта, что синтаксическая структура должна приниматься во внимание при фонологическом описании.

В противоположность Лескину, таксономическое описание которого обычно требует знания двух отдельных основ для получения парадигмы спряжения, Якобсон ввел абстрактное понятие отдельной глагольной основы, которая не остается неизменной во всех формах глагола (*znat'* из *znáj-*, *s'id'ít* из *s'id'é-* и т. д.). Описание, проводимое Халле, в очень большой мере основано на понятии синтаксической структуры, причем это описание намного абстрактнее якобсоновского (например, фонетическая репрезентация достигается у Халле на основе довольно длинной цепочки следующих в определенном порядке правил; Халле постулирует последовательность «велярный + *е*» в случае, когда ни велярный, ни *е* не встречаются в фонетической репрезентации и т. д.).

3. Нам хотелось бы показать, каким образом построение Халле дает возможность объяснить переход *ov*>*uj* в глаголах типа *ковать* (инф.) (*kovat'*), 1-е лицо ед. числа *кую* (*kuju*). В следующем изложении мы немного модифицируем правила Халле, но не будем вводить никаких новых фонологических обозначений и, таким образом, никак не нарушим первоначального построения Халле.

Для того чтобы объяснить различные формы *ковать*, необходимо добавить следующее условие к правилу (1):

(1′) Если согласный встречается перед неокругленным гласным, за которым следует округленный гласный, этот согласный подвергается переходному смягчению.

Если гласный встречается перед неокругленным гласным, за которым следует округленный гласный, необходимо вставить *j*.

Мы также переформулируем правило усечения гласного с тем, чтобы его можно было применять к любому сочетанию «гласный-гласный», независимо от того, отделяются ли эти гласные морфемной границей [13]:

(3′) гласный в позиции перед гласным усекается.

После применения правила (1′), но до применения правила (3′), необходимо использовать следующее правило:

(2) *и* замещается через *v*, если за ним следует морфема, начинающаяся с гласного.

Мы исходим из того, что корнем в *ковать* является *kou*, глагольным суффиксом — *a* (как и в *писать*), а темой настоящего времени — *o* (ср. примеч. 10).

Формы инфинитива *ковать*, 1-го лица ед. числа *кую*, и соответствующих дериваций можно представить следующим образом:

коват: (*kou* + *á* + *t'*) → 1′ → неприменимо → 2 → (*kov* + *á* + *t'*) → 3′ = 5 → неприменимо → аканье → *kavát'*

кую: ((*kou* + *a* + *o*) + *u*)

[13] Для того чтобы последовательность «гласный + гласный» могла встречаться на стыке «префикс + корень» (*сообразно*, *наук* и т. д.) и в нескольких словах типа *паук*, требуется введение особого пограничного показателя, что не дает возможности применить правило (3′). Ср.: M. Halle, Sound pattern, раздел 1, 6, стр. 41 (сб. «Новое в лингвистике», II, стр. 331—332). Теоретическое обсуждение пограничных показателей (boundary markers) см.: N. Chomsky, M. Halle, F. Lukoff, On accent and juncture in English, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956, стр. 66—69; M. Halle, [рец. на кн.:] Р. И. Аванесов, Фонетика современного русского литературного языка, «Word», 16, 1960.

первый цикл: (*kou* + *a* + *o*) → 1′ → (*kouj* + *a* + *o*) → 2 → неприменимо → 3′ [дважды!] → (*kuj* + *o*) → 4 → неприменимо
второй цикл: (*kuj* + *o* + *u*) → 1′ → неприменимо → 2 → неприменимо → 3′ → (*kuj* + *u*) → 4,5 → неприменимо = *kujй*

Принимая во внимание переход *v* ~ *vl* в *ловить* ~ *ловлю*, лингвисты долгое время считали проблему перехода *ov* ~ *uj* неразрешимой с точки зрения фонологических процессов; при решении этой проблемы всегда указывалось, что чередование в глаголах на *-овать* обусловлено морфологически [14]. Мы, однако, показали, что построение М. Халле дает естественное объяснение так называемому чередованию *ov* ~ *uj* и что использование морфологических категорий в данном случае так же излишне, как и в отношении форм 1-го лица ед. числа глаголов типа *сидеть*, *просить* или формы настоящего времени глаголов типа *писать*, *хохотать*. Можно убедиться, что введение нового правила не затрагивает выводов, описанных ранее в данной работе. Так, например, из (*lou* + *i* + *t′*) можно получить правильную фонетическую репрезентацию инфинитива *ловить*, а из ((*lou* + *i* + *i*) + *u*) можно получить правильную фонетическую репрезентацию формы 1-го лица ед. числа *ловлю* (эти деривации будут приведены ниже после окончательной формулировки правил).

4. На стр. 127 М. Халле пишет: «Интересно отметить, что правила, которые мы установили, принимая во внимание факты исключительно синхронного порядка, во многих случаях совпадают с известными историческими явлениями (звуковыми законами) славянских языков». Мысль о том, что чисто синхронное описание часто отражает историческое развитие, конечно, не нова [15]; важно, однако, отметить различие между чисто синхронным описанием и исторической или сравнительной реконструкцией.

Чисто синхронное описание должно дать объяснение фактов одного языка в определенный период его развития безотносительно к другим языкам или исторически более ранним формам исследуемого языка. Синхронная грамматика того или иного языка является отражением того, что о нем известно носителю этого языка; грамматика — отражение способности носителей языка производить и понимать грамматически правильные высказывания, различать грамматически правильные и грамматически неправильные (а также более или менее правильные) высказывания и интерпретировать некоторые грамматические неправильные высказывания (например, **молочный путь* вместо *млечный путь*, но не **молочная дорога*). Ввиду того что носителям языка обычно не известны древние языковые формы или соответствующие формы родственных языков, грамматика языка, пользующаяся такими синхронно-сравнительными сведениями, не является отражением подлинного знания языка его носителями. Тот факт, что *ē* перешел в *a* после палатальных и *j* в ранний период развития славянских языков не важен, таким образом, для синхронного описания современного русского языка. Важными фактами являются следующие: в настоящее время существует переход велярных в палатальные (*крик* ~ *кричать*); там, где можно было бы ожидать велярный, за которым следует *e*, в действительности находим сочетание «палатальный + *a*» [ср. *сидеть* (дентальный + *e*), *терпеть* (лабиальный + *e*), *смотреть* (плавный + *e*) и т. д., но *кричать* (велярный + *e* → палатальный + *a*)]. Тот факт, что *u* исторически развился из дифтонга *ou*, а *v* — из *u*, не важен

[14] Ясное изложение проблемы в диахронном плане см. в работе: П. С. Кузнецов, О поведении сонантов на границе основ глаголов III и IV классов в славянских языках, «Славянская филология. Сборник статей. IV Международный съезд славистов», III, М., 1958.

[15] До сих пор эта мысль наиболее убедительно была сформулирована Л. Блумфилдом («Menomini morphophonemics», TCLP, 8, 1939).

для синхронного описания современного русского языка. Важным является следующее: учитывая тот факт, что в глаголах *ковать*, *торговать* имелось сочетание *ou*, причем *u* переходило в *v* перед гласным, можно получить более адекватное[16] описание спряжения этих глаголов, чем на основе немотивированного, морфологически обусловленного чередования *ov*~*uj*.

Для того чтобы продемонстрировать различие между синхронным описанием и сравнительно-исторической реконструкцией, рассмотрим еще один звуковой переход, характерный для развития славянских языков.

Хорошо известно, что в индоевропейском праязыке имелось два вида звонких смычных — аспирированные $*b^h$, $*d^h$, $*g^h$ и неаспирированные — $*b$, $*d$, $*g$. Историческая реконструкция, при которой не учитывается тот факт, что *d* в слове *мед* возникло из $*d^h$, а *d* в слове *еда* — из $*d$ — не является удовлетворительной[17]. С другой стороны, если бы при синхронном описании d^h в слове *мед* отделялось от *d* в слове *еда*, то это не было бы оправдано, ибо, хотя такое описание правильно отражает историческое развитие, оно не основано на фактах современного русского языка, в котором чисто синхронно можно обнаружить только один звонкий дентальный смычный.

Отметим еще один факт современного русского языка, который следует объяснить историческим изменением. Известно, что глайды *v*(*w*) и *j* исторически развились из гласных высокого подъема (диффузных) — соответственно из гласных *u* и *i*. То обстоятельство, что в современном русском языке наблюдается переход *i* в *j*, дает основание обобщить правило (2), распространив его действие на все диффузные гласные. Правило (2) в новой формулировке примет следующий вид[18]:

(2) *u* замещается через *v* перед гласным;
i замещается через *j* перед любым гласным, кроме *i*.

Ограничение окружения, в котором *i* замещается через *j* — совершенно необходимо, ибо нельзя допустить, чтобы *i*, скажем, в репрезентации формы *ходит* ((*xod* + *i* + *i*) + *t*), замещалось через *j*.

Обобщенная форма правила (2) должна применяться, например, к отглагольным существительным *торговля* и *ловля*. В то время как сочетание *ou* в корне *lou* выступает только в двух формах — *ov* (инфинитив *lovit'*,

---

[16] Обсуждение наблюдательной, описательной и объяснительной адекватности в фонологии см.: N. Chomsky, The logical basis...

[17] A. Meillet, Le slave commun, Paris, 1924, стр. 17—18.

[18] В терминах дифференциальных признаков обсуждаемый переход можно изобразить просто как:

$$\begin{bmatrix} -\text{согласный} \\ +\text{диффузный} \end{bmatrix} \rightarrow [\,-\text{гласный}]$$

Друигми словами, глайды *w*, *j* предсказываются, исходя из гласных *u*, *i*. Позднее в грамматике нам придется определить глайд *w* как «+ шумный» (т. е. мы будем выводить *v* из *w*). Это опосредованное выведение *v* из *w* связано с ассимиляцией по звонкости, обсуждавшейся выше в § 1.2. Как уже отмечал Р. Якобсон («Die Verteilung der stimmhaften und stimmlosen Geräuschlaute im Russischen», «Selected writings», The Hague, 1962, стр. 505—509), ряд соответствующих правил должен иметь следующий вид:

(a) $w \rightarrow [+\text{шумный}]$ в окружении $-\{\overset{\#}{\text{согл.}}\}$
(b) оглушение шумных в позиции конца слова
(c) ассимиляция по звонкости в последовательностях шумных
(d) $w \rightarrow [+\text{шумный}]$

С помощью этих правил получаем следующие деривации:

лев: *l'ɛ́w* → a → *l'ɛ́v* → *b* → *l'ɛ́f*
второй: *wtarɔ́j* → a → *vtarɔ́j* → *b* → неприменимо → c. *ftarɔj*
твой: *twɔ́j* → a, b, c → неприменимо → *b* → *tvɔ́j*

3-е лицо ед. числа *lovit* и т. д.) и *ovl'* (1-е лицо ед. числа *lovl'u*, им. падеж ед. числа *lovl'a* и т. д.), то же сочетание в суффиксе глаголов на *-овать* выступает в трех вариантах — *ov* (инфинитив *torgovat'*), *u* (1-е лицо ед. числа *torguju*) и *ovl'* (им. падеж ед. числа *torgovl'a*). Структура по НС отглагольных существительных следующая:

((корень + суффикс существительного) + окончание).

Основа в слове *ловля* представляет собой чистый корень *lou*, а в слове *торговля* — корень *torg* + суффикс *ou*. Если допустить суффикс существительного *i*, то фонетические репрезентации слов *ловля* и *торговля* будут иметь вид соответственно: $((lou + i) + a)$ и $((torg + ou + i) + a)$. При применении циклических правил (1′), (2′), (3′) и (4) к репрезентации слова *торговля* получаем следующие результаты:

первый цикл: $(torg + ou + i) \rightarrow 1' \rightarrow$ неприменимо $\rightarrow 2' \rightarrow$
$(torg + ov + i) \rightarrow 3' \rightarrow$ неприменимо $\rightarrow 4 \rightarrow$
$(torg + ov' + i)$
второй цикл: $(torg + ov' + i + a) \rightarrow 1' \rightarrow$ неприменимо $\rightarrow 2' \rightarrow$
$(torg + ov' + j + a) \rightarrow 3' \rightarrow$ неприменимо $\rightarrow 4 \rightarrow$
неприменимо $= torg + ov' + j + a$.

При рассмотрении этой репрезентации становится ясным, что фонетическое разложение достигается только в результате применения правила, в силу которого происходит переходное смягчение согласных перед *j*. Из $torg + ov' + j + a$ можно, таким образом, получить $torg + ovl' + a$ и, наконец, [targɔvl'ə]. Необходимость переходного смягчения перед *j* обусловливает дальнейшее обобщение правил, предложенных выше. Так, в правиле (1′) вместо того, чтобы вводить *j* только после гласных, можно вставлять *j* вообще перед неокругленным гласным, за которым следует округленный; затем применяется правило переходного смягчения согласных перед *j*. Ниже приводятся все релевантные правила в своей окончательной форме и в том порядке, в котором их следует применять.

(1″) Перед округленными гласными, за которыми следуют неокругленные, следует вставить *j*.
(2′) *u* замещается через *v* перед гласным;
i замещается через *j* перед любым гласным, кроме *i*.
(3′) Гласные перед гласными усекаются.
(4) Согласные смягчаются, причем велярные замещаются палатальными:
(a) перед одноморфемным *o*, за которым следует согласный;
(b) перед морфемой, начинающейся с гласного переднего ряда.
Постцикл: (6) Переходное смягчение происходит перед *j*, после чего *j* опускается.

Применение этих правил для получения морфофонемных репрезентаций разбираемых форм дает возможность объяснить все звуковые переходы, о которых мы говорили. Ниже даются деривации этих форм (при этом опускаются правила расстановки ударения и правила аканья):

инфинитив *ловить*: $(lou + i + t')$
цикл: $(lou + i + t') \rightarrow 1'' \rightarrow$ неприменимо $\rightarrow 2' \rightarrow (lov + i + t') \rightarrow 3' \rightarrow$ неприменимо $\rightarrow 4 \rightarrow (lov' + i + t')$
постцикл: $lov' + i + t' \rightarrow$ аканье $\rightarrow lav'it'$
1-е лицо ед. числа *ловлю*: $((lou + i + i) + u)$
первый цикл: $(lou + i + i) \rightarrow 1'' \rightarrow$ неприменимо $\rightarrow 2' \rightarrow$
$(lov + i + i) \rightarrow 3' \rightarrow (lov + i) \rightarrow 4 \rightarrow lov' + i)$
второй цикл: $(lov' + i + u) \rightarrow 1'' \rightarrow (lov'j + i + u) \rightarrow 2' \rightarrow (lov'j + j + u) \rightarrow$
$3', 4 \rightarrow$ неприменимо

постцикл: *lov'j + j + u* → 6 → *lovl' + ú* → *аканье* → *lavl'ú*
3-е лицо ед. числа *ловит*: ((*lou + i + i*) + *t*)
первый цикл: (*lou + i + i*) → 1″ → неприменимо→ 2′ → (*lov + i + i*)→ 3 → (*lov + i*) → 4 → (*lov' + i*)
второй цикл: (*lov' + i + t*) → 1″ — 4 → неприменимо
постцикл: *lóv' + i + t* → аканье → *lɜv'it*
им. падеж. ед. числа *ловля*: ((*lou + i*) + *a*)
первый цикл: (*lou + i*) → 1″ → неприменимо → 2′ → (*lov + i*)→3′→ неприменимо → 4 → (*lov' + i*)
второй цикл: (*lov' + i + a*) → 1″ → неприменимо→ 2′→ (*lov' + j + a*) → 3′, 4 → неприменимо
постцикл: *lóv' + j + a* →6 → *lóvl' + a* → аканье → *lɜvl'ə*
инфинитив *торговать*: (*torg + ou + a + t'*)
цикл: (*torg + ou + a + t'*) → 1″ → неприменимо→ 2′ → (*torg + ov + a + t'*)→ 3′, 4 → неприменимо
постцикл: *torg + ov + á + t'* → 6 → неприменимо → аканье →*tərgavát'*

1-е лицо ед. число *торгую*: ((*torg*+*ou + a + o*) + *u*)
первый цикл: (*torg + ou + a + o*) →1″ → (*torg + ouj + a + o*)→2 → неприменимо → 3′ [дважды] → (*torg + uj + o*) → 4 → неприменимо
второй цикл: (*torg + új + o + u*) → 1″,2′ → неприменимо → 3′ → (*torg + új + u*) → 4 → неприменимо
постцикл: *torg + új + u* → 6 → неприменимо → аканье → *targúju*
им. падеж ед. числа *торговля*: ((*torg + ou + i*) + *a*)
первый цикл: (*torg + ou + i*) → 1″ → неприменимо → 2′ → (*torg + ov + i*) → 3′ → неприменимо → 4 → (*torg + ov' + i*)
второй цикл: (*torg + ov' + i + a*)→1″ → неприменимо → 2′→ (*torg + ov' + j + a*) → 3′→ неприменимо → 4 → неприменимо
постцикл: *torg + óv' + j*+*a* → 6 → *torg + óvl' + a* → *аканье* → *targɜvl'ə*

5. В данной статье мы пытались показать общее направление фонологического описания: увеличение абстрактности решений фонологических проблем. Абстрактность этих решений выражается в систематическом учете синтаксической структуры, в характере морфофонемических репрезентаций, которые внешне часто никак не связаны с соответствующими фонетическими репрезентациями, в большом количестве шагов, необходимых для получения фонетической репрезентации из морфофонемной. Мы показали, что при учете некоторых добавлений использование циклических правил, предложенных М. Халле в его работе «О правилах русского спряжения», дает возможность объяснить большое число различных фонологических переходов. При этом мы больше интересовались характером теоретического подхода М. Халле, чем правильной формулировкой правил русского языка. В полной грамматике русского языка некоторые из предложенных здесь правил придется изменить. Трудно, однако, представить себе, как при адекватном объяснительном описании русского языка можно обойтись без введенных Халле циклических правил, основанных на систематическом использовании синтаксической информации.

Перевел с английского *М. М. Маковский*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1965

А. А. ЮЛДАШЕВ

К ПРОБЛЕМЕ АНАЛИТИЗМА В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

В тюркских языках значащие единицы, в том числе и многие аффиксы, могут, как известно, использоваться в двух (а то и больше) принципиально разных назначениях. В этих языках наблюдается широкое употребление одной части речи в роли другой, полнозначного слова — в роли служебной морфемы, аффикса одной грамматической категории — в качестве показателя другой, словосочетания — в качестве сложной лексемы или же формы слова, причем без какого-либо изменения внешнего облика указанных типов значащих единиц. Все это, а также разветвленная полисемия в лексике сделали бы здесь коммуникацию невозможной, если бы за каждой из функций значащей единицы не было закреплено точное формальное выражение, позволяющее однозначно осмыслить эту единицу в любом случае конкретного употребления. В чем же проявляется это точное формальное выражение, если оно не содержится в пределах самой значащей единицы?

Как это давно было замечено, содержание полифункциональной единицы в каждом отдельном случае ее конкретного употребления однозначно осмысляется главным образом благодаря ее местоположению в данной морфологической или синтаксической модели. Сама по себе полисемантичность предполагает применение именно такого, позиционного способа формального выражения, которым пользуются в той или иной мере едва ли не все языки.

Позиционный способ (именуемый обычно аналитическим) пронизывает всю грамматику тюркских языков. Даже объединение морфем в слово практически регулируется им: принципиальное устройство агглютинации сводится не к «цепочке самостоятельных, сохраняющих всегда свою значимость морфем»[1], как это принято думать, а к иерархизованному целому[2], где связь морфем, их соотношение и назначение и, следовательно, возможность реализовать данной морфемой то или другое из закрепленных за ней в современном языке значений практически определяется местоположением морфем в слове. Это местоположение настолько строго регламентировано, что изменение порядка следования морфем в слове разрушает само слово.

Многоморфемное слово, возглавляемое одной корневой морфемой, последовательно делится справа налево на два члена, из которых правый,

[1] А. А. Реформатский, Введение в языкознание, М., 1955, стр. 214.

[2] Еще В. В. Радлов наглядно показал это, разбирая строение многоморфемного слова, состоящего из корневой морфемы и шести аффиксов (W. Radloff, Einleitende Gedanken zur Darstellung der Morphologie der Türksprachen, «Зап. Имп. Акад. наук», sér. VIII, по ист.-филол. отд., VII, 7, St. Petersburg, 1906, стр. 29). См. об этом также: Н. А. Баскаков, Порядок и иерархия аффиксов в основе слова в тюркских языках, в кн. «Понятие агглютинации и агглютинативного типа языков. Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета Ин-та языкознания АН СССР», Л., 1961; В. И. Цинциус, Порядок и иерархия аффиксов в агглютинативных языках, там же; С. Усманов, Морфологические особенности слова в современном узбекском языке. Автореф. докт. диссерт., Ташкент, 1964, стр. 17 и сл.

замыкающий данное образование, уточняет левый, возглавляющий это образование на правах самостоятельного слова. Левый член вне зависимости от своего строения и в отрыве от правого члена является самостоятельным словом с монолитной структурой[3], хотя в свою очередь левый член может состоять из нескольких морфем, объединенных по такому же двучленному принципу. Правый же член немыслим без левого и всегда равен одному и только одному аффиксу (хотя он в плане историческом может распадаться на два аффикса, с которыми его составные части ныне не имеют обычно ничего общего и в своей совокупности являют собой неразделимую морфему, именуемую, как правило, сложным аффиксом). Правый член, за которым, вопреки мнению отдельных тюркологов [4], может быть закреплено более одного значения (например, значения времени и наклонения в форме на *-са*), уточняет левый член в целом, а не его части.

Пояснительная связь между смежными морфемами осуществляется только справа налево, и то лишь через посредство целого, всегда равного слову. Ср. башк.: [(*балта* «топор») + *-сы* «плотник»] + *-лык* «плотничество». Тем не менее правый член, поясняя левый член в целом, одновременно уточняет также и содержание предыдущей морфемы, если она нуждается в этом. Пояснительная связь и в данном случае идет исключительно справа налево. Поэтому содержание предыдущей морфемы в той его части, в которой оно противоречит содержанию последующего аффикса, вовсе не принимается во внимание, нейтрализуется. Ср. башк. {{[(*тәм*) + *неҙ*] + *-лә*} + *-н*} + *-дер-* «сделать невкусным» в его отношении к 1) *тәмнеҙлән-* «сделаться невкусным»; 2) *тәмнеҙлә-* «сделать невкусным»; 3) *тәмнеҙ* «невкусный; безвкусный; несладкий; без вкуса»; 4) *тәм* «вкус (пищи); оценка по достоинству». Здесь конечный аффикс *-дер* нейтрализует непереходное и пассивное значение предыдущего аффикса *-н*, который, в свою очередь, нейтрализует переходное и активное значение предыдущего аффикса *-лә*; последний аффикс сводит на нет грамматическое значение имени прилагательного, представленного аффиксом *-неҙ*, а этот аффикс нейтрализует грамматическое значение имени существительного *тәм*. Здесь, как и во многих сходных случаях, содержание морфемы определяется совсем не тем, что принято именовать социально отработанным значением, а исключительно местоположением морфемы в данном конкретном ее употреблении. Благодаря своему местоположению морфема по своему содержанию как бы превращается в свою противоположность, из всех своих обычных значений сохраняя только те, которые не противоречат содержанию последующей морфемы.

Аффиксы, которые по своему содержанию полностью взаимоисключаются, являясь противопоставленными показателями единой грамматической категории, не могут быть употреблены сразу в одном и том же слове. Подобные аффиксы также играют важную роль в уточнении или однозначном осмыслении содержания предыдущего, отчасти и последующего аффикса. Например, аффиксы лица в глаголе уточняют находящееся слева слово целиком, указывая на его соотнесенность лишь с определенным действующим лицом; одновременно эти аффиксы способствуют только однозначному осмыслению содержания предыдущего аффикса (в частности, это касается показателя времени, который в той же позиции вне сочетания

[3] По мнению Г. Рамстедта, сочетание основы и аффикса всегда составляет монолитное целое, несмотря на то, что каждый из компонентов данного сочетания обладает своим собственным значением (G. J. R a m s t e d t, Über die Stämme und Endungen in den altaischen Sprachen, JSFOu, 55, 1951, стр. 99).

[4] По утверждению Ж. Дени, например, в турецком языке один аффикс выражает не иначе как одно грамматическое понятие: J. D e n y, Grammaire de la langue turque (dialecte osmanlı), Paris, 1921, стр. 9, 10.

с личными показателями является вовсе не временной формой, а причастной или деепричастной; показатель времени в свою очередь уточняет глагольную основу слева от него в отношении времени).

Многие формообразующие аффиксы, в особенности те из них, которые замыкают слово, одновременно уточняют данное слово в отношении той или иной грамматической категории (падеж, интенсив, наклонение, лицо и т. п.) и указывают на его соотнесенность с другим словом, тем самым уточняя последнее (не говоря о том, что эти аффиксы уже одним своим присутствием играют определенную роль в однозначном осмыслении смежных морфем). При этом аффикс, уточняющий слово в отношении грамматической категории, может быть однозначным (таково преобладающее большинство аффиксов этого рода), многозначным (например, одновременное выражение наклонения, лица и числа в одном и том же аффиксе 3-го лица ед. числа императива) или «анонимным» — в том смысле, что его содержание уточняется в составе другого слова, с которым данное слово соотнесено благодаря этому аффиксу. К числу «анонимных» относятся, например, распространенные в тюркских языках глагольные формы типа башк.*-гас* (<*-гач*), которые по существу являются заместителями спрягаемых форм глагола и в связи с этим могут быть однозначно осмыслены в отношении времени, наклонения, лица и числа только благодаря соответствующим аффиксам, представленным в составе сказуемого — спрягаемого глагола в том же предложении. Некоторые аффиксы и в случае указания на соотнесенность данного слова с другим несут одновременно две нагрузки: оформляют связь этого слова с другим и служат определяющим структурным элементом соответствующего типа предложения. Таковы, например, аффиксы условного наклонения, которые уточняют глагол с точки зрения наклонения, указывают на его зависимость от последующего сказуемого, а тем самым и на зависимость всей предшествующей части предложения от последующей, и служат наиболее ярким формальным признаком условного периода. Мы не говорим уже о том, что они, как и многие другие аффиксы, несущие на себе ударение, используются как сигнал для интонационного выделения соответствующих частей предложения.

При таком сложном и тесном соотношении морфем внутри слова сочетание их (в частности, сочетание смежных морфем, из которых последующая может не только ограничивать, но и нейтрализовать то или иное значение предыдущей) сплошь и рядом представляет собой монолитную необратимую структуру, составляющую достояние исторической грамматики и лексикологии. В качестве примера можно было бы привести множество производных слов аффиксального происхождения, равно как и множество сложных аффиксов типа показателей целевого инфинитива *-мага*, *-макга*, *-ырга* (показатель имени действия плюс аффикс дат. падежа), на примере которых наглядно прослеживается несовместимость природы агглютинации с названным крайне упрощенным ее пониманием. Появление таких структур свидетельствует о том, что способность морфем выражать то или иное значение находится в прямой зависимости от ее местоположения среди других морфем; в свою очередь аффиксация неизменно регулируется позиционным способом формального выражения, который распределяет аффиксы по их назначению и служит не только для однозначного осмысления закрепленных за данной морфемой значений, но и для их нейтрализации или даже для переосмысления[5]. Естественно, что отношения между

[5] В этом отношении показательна структура сложных аффиксов отыменного образования глагола типа *-лат* < -[(*-ла*) + *-т*], *-лан* <-[(*-ла*) + *-н*], *-лаш* < -[(*-ла*) + *-ш*], *-ландыр* <-[(*-ла*) + *-н*] + *-дыр*, *-лаштыр* < -[(*-ла*) + *-ш*] + *-тыр*, где смежные аффиксы, взятые отдельно, несут в себе взаимоисключающие значения (переходность : непереходность, активность : неактивность, действие : состояние), которые

смежными, равно как и несмежными морфемами далеко не всегда так сильно влияют на природу этих морфем.

Углубленное исследование соотношения морфем внутри различных типов слов аффиксального происхождения позволит со временем выделить основные типы так называемых «свободных» и «несвободных» морфемосочетаний и уточнить степень зависимости каждого из таких сочетаний от характера сочетающихся морфем, от местоположения морфемосочетания и от прочих условий. Но уже сейчас, когда соотношение различных типов морфем в различных структурных типах слов еще совершенно не изучено, можно с уверенностью утверждать, что объединение морфем (в число которых входит и корень) в любое слово немыслимо без применения позиционного способа формального выражения. Даже обычная инвентаризация аффиксов и их значений, имеющая чисто практические цели, не может быть проведена сколько-нибудь удовлетворительно без учета этого способа. Аффиксация без позиционного способа формального выражения столь же немыслима, как и бытование аффикса вне сочетания со словом.

Способ аффиксации, осложненный позиционным способом формального выражения, часто комбинируется в тюркских языках со способами словосложения (ср. башк. *аталы-уллы* «отец с сыном», кирг. *йылап-сыктап* «плача» и т. п.), редупликации (ср. башк. *бара-бара* «идя» и т. п.), звукоподражания и образоподражания [6] (ср. башк. *уфылда-*, *ухылда-*, *ахылда-* «охать, ахать», *былтай-* «выпячиваться»). Каждая из этих комбинаций имеет свою специфику и типы образования.

Еще более широко практикуется аффиксация в сочетании с формальным выражением, производимым за пределами самого слова и тем не менее уточняющим именно его содержание. Такова, в частности, комбинация аффиксации с позиционным способом выражения, базирующаяся на определенной синтаксической модели. Здесь прежде всего следует указать на групповое морфологическое оформление в конце грамматически однородных членов синтаксической модели, относящееся к каждому предыдущему члену группы. Ср. башк. *Кәрип менән Зәйтунәгә Шәриф, Әхәт, Юлдашбай һәм башҡа дуҫтарҙан сәләм* «Привет Карипу и Зайтуне от Шарифа, Ахата, Юлдашбая и других друзей»; *ат, һыйыр, һарыҡ һәм башҡа йорт хайуандарын* «лошадей, коров, овец и других домашних животных». Это явление, регулируемое местоположением морфологически однородных членов группы, особенно часто наблюдается в глаголе, где могут быть вынесены за скобки даже однородные составные части монолитных аналитических форм. Например, узб. «У энди дарслари блан жуда сийрак машғул бўлиб, хаттотлик санъатида маҳоратини оширишга *тиришар*, мусиқий блан кўпроқ *шуғилланир эди*» (Ойбек, Навои) «Он теперь очень редко занимался наукой, старался совершенствовать свои навыки в каллиграфии, большей частью занимался музыкой», где глагол *тиришар* вопреки своей форме, выражающей обычно настояще-будущее время, получает морфологическую характеристику, которая заключена в форме на *-(и)р эди* глагола *шуғилланг-*. Чаще же всего общая морфема, представленная при замыкающем члене глагольной группы и одинаково относящаяся ко всем предшествующим членам, в составе последних замещается аффиксаль-

нейтрализуются и унифицируются в соответствии с местоположением выражающих их аффиксов на общих основаниях постпозитивного пояснения слова, производимого аффиксом или сходными с ним по функции другими морфемами служебного характера.

[6] Аффиксация в отдельных случаях сочетается также и с внутренней флексией. Например, во многих говорах башкирского языка вокатив от терминов родства, содержащих в своем составе омертвелый аффикс звательного падежа *-й*, регулярно образуется при помощи интонации и перехода широкого гласного последнего слога корня в соответствующий узкий гласный того же ряда. Ср.: *атый!* «папа!» от *атай* «отец», *әсей!* «мама!» от *әсәй* «мать».

ной морфемой «полуанонимного» характера, которая однозначно выражает лишь соотнесенность данного члена с замыкающим. Одновременно с этим такая морфема иногда выражает иерархию действия во времени, зависимый характер соответствующего члена предложения, большей же частью представляет собой стилистический эквивалент общей морфемы. Ср. башк. «Айға *менеп*, түбән *ҡарап*, һеҙҙе *күрәһем килә*» (из песни) «Хочу взобраться на луну, посмотреть вниз и узреть вас», где аналитическая форма на *-әһе(м) килә*, представленная в глаголе *күр-*, в двух предшествующих глаголах замещена формой деепричастия на *-п*.

Указанное явление очень широко используется для однозначного морфологического осмысления множества так называемых неличных форм глагола типа башк. *-ышлай* (ср. *барышлай* «находясь в пути к какому-либо месту; направляясь куда-либо»), содержание которых в отношении времени, лица, числа и наклонения находится в полной зависимости от форм, представленных в составе другого глагола, занимающего в данном предложении позицию опорного сказуемого. Например, башк. *килгәс күрерһең* «увидишь, когда придешь»; *килгәс күрҙе* «когда пришел, (он) увидел»; *килгәс күрә алырмын мы икән* «смогу ли увидеть, когда приду» и т. п. Близко к данному типу группового оформления слов стоит широкое употребление в тюркских языках спрягаемых форм относительного времени (ср. предпрошедшее на *-мыш эди, -ган эди, -п эди, -ды эди* и т. п.), временные значения которых уточняются во многом через посредство форм абсолютного времени, представленных в другом глаголе, что, собственно, тоже регулируется в какой-то мере местоположением соотнесенных форм глаголов. Например, казах. «Айбала уйге *еніп еді*, Ботагөзді *көрді*» (С. Муканов, Ботагөз) «Когда Айбала вошла в дом, увидела Ботагеза». Здесь второе действие (*көрді* «увидела») во времени соотнесено непосредственно с актом коммуникации, благодаря чему и воспринимается как прошедшее, первое же действие (*еніп еді* «вошла») со временем этого акта прямой связи не имеет, обозревается лишь в его отношении ко второму действию; временное содержание уточняется, таким образом, опосредствованно.

Аффиксация часто комбинируется с использованием служебных слов, которые по своему положению в пределах данного образования мало чем отличаются от обычного аффикса, замыкающего слово. Например, башк. *һинең өсөн* «за тебя», *һиңә була* «из-за тебя», *алмаҫ борон* «пока не взял», *алыу менән* «сразу по получении», *шуның һымаҡ* «наподобие этого; сходный», *ҡәләм менән* (*яҙ-*) «(писать) карандашом». Реальные отношения между полнозначным словом, осложненным аффиксом, и служебным словом, как правило, не соответствуют живым нормам словосочетания, в связи с чем эти отношения регулируются по существу лишь позиционным способом формального выражения, что бывает особенно важно, когда служебное слово в данном языке употребляется и как полнозначное (таково большинство так называемых служебных имен и часть служебных глаголов). Неизменное постпозитивное примыкание служебного слова к полнозначному, лишенное синтаксического смысла и предназначенное для пояснения полнозначного слова, сопровождается интонационным объединением сочетающихся слов, при котором ударный слог служебного слова по силе и длительности сильно выделяется и доминирует в пределах данного интонационного целого[7], ударный же слог полнозначного слова

[7] Здесь прослеживается известная общность с соотношением ударного и неударного слогов слова — замыкающий слог в тюркских языках не только с точки зрения фонетической представляет собой сильную позицию, благодаря чему и возможны такие необычные образования, как татар. *дәш-* «кликнуть», где без ущерба для семантики слова выпала корневая морфема *ән* «звук», а замыкающий слог, равный сложному аффиксу *-дәш*, бытует ныне на правах самостоятельного слова (ср. также регулярное

приравнивается к положению неударного слога служебного слова. Соответственно меняется интонационная градация и неударных его слогов (например, башк. *шуға̀ күрә́* «потому»). Это вызывает фонетические изменения в серединных слогах, ведущие к слиянию служебного слова с полнозначным и к его превращению в обычный аффикс, что чаще случается в широкоупотребительных словосочетаниях в соседстве с согласными типа *л* и *р* (особенно в таких языках, как туркменский, где вообще распространено стяжение). Ср., например, многочисленные стяженные образования типа *апкел* <*алып кел-* «принести, привезти»; башк. форму на *-ғайны* <*-ған эди*, хакас. *-ча* <*-п чат* <*-п чадыр*, ногайск. *-атаган эди* <*-а турган эди*, *-ывди* <*-п эди*, туркм. и др. *-пды* <*-п эди*, гагауз. *-дыйды*<*-ды эди*, др.-тюрк. *-(у, а, ы)р эрди*> туркм. и др. *-арды*, *-эрде*, *-ырды* и т. п. В этих примерах наглядно прослеживается процесс превращения служебного слова в аффикс: этот процесс давно был замечен, а затем и доказан на обширном и убедительном фактическом материале [8].

Слиянию служебного слова с полнозначным способствует также и то, что на базе сочетания служебного слова с предыдущим аффиксом, замыкающим полнозначное слово, очень часто возникают столь же необратимые структурные морфологические единицы, как и характерные для тюркских языков неделимые сочетания двух смежных аффиксов, составляющие ныне одну морфему и потому рассматриваемые как сложный аффикс. Представленные главным образом в глаголе, такие сочетания аффикса и служебного слова составляют по существу одну, неделимую в современном языке морфему аффиксального характера: в пределах данного их сочетания компоненты частично (служебное слово) или полностью (аффиксальный компонент) теряют свое обычное значение и приобретают качественно новое. В этом новом значении части такой морфемы не могут в отрыве друг от друга непосредственно войти в какие бы то ни было смысловые отношения ни с глагольной основой, которую они осложняют, ни с составляющими ее морфемами, ни с другими значащими единицами данного языка, с которыми они связаны в иных случаях своего употребления. Таково, например, монолитное сочетание *-а ал-*, регулярно выделяемое как далее не членимая значащая единица в составе множества глагольных образований типа *бара-ал-* «мочь пойти, поехать». Такое выделение будет наглядным, если учесть отношения *-а ал-* ко всем образованиям, в составе которых компоненты *-а* (форма деепричастия) и *ал-* (служебный глагол, употребляемый и как полнозначное слово со значением «брать») выступают в отрыве друг от друга, а также ко всем глагольным основам, которые могут быть осложнены элементом *-а ал-*, ко всем типам словосочетаний, исторически связанным с глаголами типа *бара-ал-* «мочь пойти», и ко всей грамматической системе глагола в целом. Как компонент *-а*, так и компонент *ал-* не могут быть ни устранены, ни заменены, ни переставлены местами, ни разобщены без ущерба для значения, передаваемого их сочетанием. Ср., с одной

выпадение корневой морфемы в составе вспомогательного глагола *эди* в туркменском и др. языках). В этой связи большой интерес приобретает высказывание Г. Рамстедта о том, что определяющее слово вне зависимости от своего местоположения в пределах данного определительного словосочетания несет в себе в алтайских языках основное логическое ударение (G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 94). Служебное слово, как аффикс, исторически возводимый к нему, в его отношении к полнозначному слову является по существу постпозитивным определением. В этом смысле здесь в распределении ударения прослеживается изоморфизм.

[8] См., с одной стороны, высказывания В. В. Радлова и других тюркологов о природе аффикса (например: W. Radloff, указ. соч., стр. 29—33), а с другой — результаты этимологических разысканий аффиксов, произведенных В. В. Радловым, В. Бангом, Ф. Е. Коршем, Г. Рамстедтом и многими другими. Перечень наглядных примеров приведенного рода, не нуждающихся в этимологизации, мог бы быть увеличен.

стороны, *бара ал-* «мочь пойти, поехать», с другой—*бар ал-*«пойди, возьми», *барып ал-* «пойти и взять», *бара тур-* «пойти, поехать (в ожидании кого-чего)».

Неделимое сочетание аффикса и служебного слова, именуемое обычно аналитической формой, в современном языке выделяется, таким образом, как одна морфема с необратимой структурой, по строению сходная со сложным аффиксом. По своим отношениям к остальным морфемам данного слова, равно как и к остальным словам, с которыми она может сочетаться, и к грамматической системе глагола в целом аналитическая форма сходна с самым обычным аффиксом. Функционируя на правах сложного аффикса, аналитические формы могут занимать в грамматической системе самое различное положение, которое отнюдь не обусловлено их аналитической природой и исходным значением их компонентов. Положение этих форм в грамматической системе, таким образом, отнюдь не дает оснований особо выделять аналитические формы и рассматривать их в отрыве от этой системы. Аналитические формы распределяются и получают свои собственные семантические различительные признаки на тех же началах, что и аффиксы. См., например, регулярно образуемые и прочно утвердившиеся в системе глагола многих тюркских языков формы прошедшего времени на *-(а, ы, и)р эди, -а(-й) эди, -ган эди, -мыш эди, -п эди, -ды эди* и т. п., формы наклонений на *-са эди, -ган болса, -а экен, -ды эсе, -мыш олса* и мн. др., формы модальности на *-а(-й) ал-, -а(-й) бил-, -п бол-, гы кел-, -асы кел-, -ар кел-, -а(-й) яз-*, формы внутриглагольного словообразования на *-п ят-, -п отур-, -п тур-, -п бар-, -а бер, -а тӯш-, -п чиқ-, -п ал-, -п кет-*[9] и т. п. в их отношении к аффиксальным формам, с которыми они взаимодействуют и вместе с которыми составляют соответствующую систему в данном языке. Часть перечисленных форм во многих тюркских языках находится на стадии превращения в аффикс и бывает представлена в одном и том же языке в стяженном и аналитическом вариантах, бытующих на одинаковых началах и потому признаваемых даже орфографией. Ср., например, двоякое написание форм имперфекта на *-(а/ы/и)р эди* (*-арды* и *-ар эди*) в современном азербайджанском, турецком, узбекском и других языках, двоякое написание форм предпрошедшего на *-ган эди* (*-гайны*) в башкирском языке и мн. др.

Наряду с монолитными нечленимыми аналитическими формами данного типа в глаголе тюркских языков бытуют сходные с ними по облику формы, компоненты которых полностью сохраняют свое собственное значение, являясь в то же время соподчиненными элементами целого, напоминающего собой сложный аффикс. Первый, аффиксальный компонент, замыкающий глагольную основу, выделяется на общих основаниях, второй представляет собой служебное слово, которое уточняет содержание первого компонента, означающего наклонение или время, в отношении времени (если первый компонент выражает наклонение) или отрицания (если первый компонент выражает время). Например, временные дублеты модальных форм типа башк. (*бар*) *маҡсы ине*: (*бар*)*маҡсы* «(он) был намерен (пойти)»: «(он) намерен (пойти)»; отрицательные дублеты временных форм типа башк. (*бар*)*асаҡ тӯгел*(*мен*): (*бар*)*асаҡ* (*мын*) «не пойду»: «пойду», где второй компонент формы, хотя и сохраняет свое значение, смыкается с первым компонентом (т. е. без него не сочетается с глаголом, не выражает

[9] Предупреждая возможное возражение, необходимо заметить, что этот последний тип форм, именуемый часто видообразующим, ведет себя как аффиксальная морфема лишь в соединении с глаголами определенных разрядов. Например, *-п ят-, -п отур-, -п тур-* проявляют себя как формативы в глаголах состояния (башк. *янып ултыр-, янып ят-* «находиться в состоянии горения» и т. п.).

названные глагольные категории) и вместе с ним входит в парадигму глагола как отмеченный член бинарного противопоставления [10].

Рассмотренный тип аналитических форм представляет собой промежуточное звено между первым типом этих форм, где возникает нечто вроде неделимого сложного аффикса, и обычным сочетанием служебного слова с полнозначным, где служебное слово не входит в непосредственные связи с составными частями полнозначного слова, а уточняет в каком-либо отношении это слово в целом — на общих основаниях, вне зависимости от того, содержит слово аффиксы или нет. Ср. башк. *барғанһың икән* «оказывается, (ты) ходил» в его отношении к *барғанһың* «(ты) ходил», а также к образованиям типа башк. *ул икән* «оказывается, он», *кеше икән* «оказывается, человек», *ҡыҙыҡ икән* «оказывается, интересно/ интересный», *шәп икән* «оказывается, хорошо» и т. п. По своему назначению, а отчасти и по структуре такое сочетание сходно со словом, состоящим из корневой морфемы и аффикса, но отличается от него тем, что второй его компонент всегда остается самим собой и не теряет признаков тех слов, к классу которых он относится [11].

Сочетание служебного слова с полнозначным, как и аффиксация, имеет целью либо словообразование (главным образом, это отыменное словообразование глагола при помощи целой серии функционально служебных слов типа башк. *ит-* «делать» или служебных слов типа *бол-* «быть»), либо уточнение грамматических значений полнозначного слова (последнее касается в основном именных частей речи. Ср. сочетание существительного и сходных с ним по функции имен с послелогами и служебными именами, сочетание имен и глаголов с модальными и прочими частицами, сочетание имен в предикативной позиции со служебными глаголами *эди* и *бол-* и мн. др.).

Неизменное постпозитивное примыкание служебного слова к полнозначному является удобным опознавательным признаком морфологической природы сочетающихся слов. Чаще всего постпозитивное примыкание используется в целях однозначного морфологического осмысления полнозначного слова, редко бывающего моносемантичным. Например, башк. *барған икән* «оказывается, (он) ходил», где полифункциональное слово *барған* («ходивший; он ходил») благодаря модальному слову *икән* получает строго однозначное (глагольное) выражение и осмысление. Ср. также *ул икән* «оказывается, он» и *ул мы икән* «он ли», где модальное слово *икән* в первом случае сочетается непосредственно с именем и реализует свое обычное значение, во втором же случае сочетается с ним, включившись в вопросительную конструкцию и являясь ее структурным

[10] Здесь, как и вообще в противопоставлениях такого рода, в известном смысле тоже прослеживается аналитизм: неотмеченный член сам по себе не выражает содержание, по которому он противопоставлен отмеченному члену, а получает его лишь постольку, поскольку это содержание выражено в отмеченном члене бинарного противопоставления (это, по существу, может свидетельствовать о групповом морфологическом оформлении противопоставленных единиц). Ср. башк. форму на *-маҡсы*, которая передает намерение и вовсе не характеризует его с точки зрения времени, но благодаря своей противопоставленности форме на *-маҡсы эди*, выражающей одновременно и намерение и прошедшее время, неизменно воспринимается как форма, передающая намерение, соотнесенное во времени с актом коммуникации, т. е. как непрошедшее время формы намерения (*бармаҡсы инем* : *бармаҡсымын* «(я) был намерен пойти» : «я намерен пойти»).

[11] Если, однако, постпозитивное примыкание служебного слова к полнозначному основано на какой-либо действующей синтаксической модели, то служебное слово может получить иное осмысление. Ср., с одной стороны, башк. *бара икән* «оказывается, (он) пойдет», с другой — *ғәҙәр бара икән* «если вздумает пойти», где *икән* выступает в качестве структурного элемента цельного образования — условного периода. Как отсюда явствует, служебное слово также реализует свое значение в зависимости от занимаемой им позиции в синтаксической или морфологической модели.

элементом, в связи с чем модальное слово получает совершенно иное осмысление.

Принципиальное устройство сочетания служебного слова с полнозначным лежит в основе аффиксации, являясь едва ли не единственным живым источником пополнения аффиксов; исторически такое сочетание базируется на постпозитивном пояснении одного полнозначного слова другим, что в современных тюркских языках представлено некоторыми моделями словосложения, в том числе и высокопродуктивной моделью образования имен числительных. Например, башк. [(*йөҙ*) *туҡһан*] *биш* «сто девяносто пять», где (впрочем, как и в русском переводе) прослеживается в принципе такая же иерархизованная двучленная структура, как и в аффиксации [12].

Другие пояснительные сочетания полнозначных слов основаны на действующих синтаксических моделях [13], из которых для уточнения или однозначного морфологического осмысления слова чаще всего используется атрибутивная конструкция. Отношения между компонентами атрибутивной конструкции однозначно охарактеризованы уже самим их местоположением, морфологическая природа определяемого слова обычно очевидна сама по себе, а определяющее слово, как правило, нуждается в однозначном осмыслении, которое и достигается благодаря неизменному препозитивному примыканию определения к определяемому слову. См., например, башк. *таш күпер* «каменный мост», *был кеше* «этот человек», *барасаҡ урын* «место, куда надлежит идти, поехать», где морфологически многозначные основы *таш*, *был*, *барасаҡ* благодаря своему местоположению становятся однозначными. Преимущественное употребление в позиции определяемого имен существительных, а в позиции определения — прилагательных при фиксированном расположении компонентов атрибутивной конструкции позволяет широко использовать в двух принципиально различных назначениях — в качестве существительного и прилагательного — без изменения их облика и без всякого ущерба для коммуникации те имена, которые в своей исходной форме не охарактеризованы с точки зрения их принадлежности к существительным или к прилагательным.

По образцу омонимичных пар таких имен ныне в двух указанных назначениях необычайно широко используются и те имена, которые исторически безусловно являются существительными или прилагательными (последнее — реже), а в современном языке нередко обладают, казалось бы, четкой однозначной характеристикой. Во всяком случае вопреки распространенному мнению, согласно которому возможность такого двоякого использования имен рассматривается как архаический пережиток былой диффузности языковых единиц, это явление было и остается продуктивным [14]. Этим оно обязано прежде всего развитию позиционного способа формального выражения на базе атрибутивной конструкции. Например, в современном башкирском языке качественные прилагательные (особенно

[12] Здесь, однако, как правый член, так и левый могут иметь свои собственные определения, что при аффиксации допускается обычно только при левом члене, равном слову. Например, башк. [*ике* (*мең*)] [*өс* (*йөҙ*)] «две тысячи триста».

[13] Исключение составляет формообразование способом редупликации. Например, интенсив типа башк. *оло-оло* «большие-большие», уточняющий обобщенный признак множества и применяемый лишь в именах прилагательных в позиции именного или глагольного определения (*оло-оло өйҙәр* «большие-большие дома», *оло-оло атлап* «широко шагая»).

[14] Другое дело, что это явление в разное время применительно к разным языкам и типам слов имело и имеет различную активность. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в тюркских языках мы имеем самое различное число подобных омонимичных пар: например, в азербайджанском языке зафиксировано более 100 пар основ, имеющих одновременно значение существительного и глагола, тогда как в современном башкирском языке их число исчерпывается 15—20 такими парами.

те из них, которые называют свойства, характеризующие человека) настолько регулярно используются как наименования лиц по их свойству, что с точки зрения современного языка принадлежность этих слов к существительным часто может быть доказана более убедительно, чем принадлежность к прилагательным. Таковы башк. *телһеҙ* «немой», *аҙғын* «распутный», *алйот* «глупый», *аңра* «несообразительный», *ғәрип* «уродливый», *илаҡ* «плаксивый», *сибәр* «красивый», *хәйләкәр* «хитрый» и мн. др. Соответственно развивается здесь и встречная тенденция. Ср. башк. *хәйерсе* «нищий, попрошайка». В целом существительные чаще используются в функции прилагательных [15], чем прилагательные в функции существительных. Оба эти явления обусловлены прежде всего использованием позиционного способа выражения грамматических значений слова.

Определение, если оно морфологически строго охарактеризовано, в свою очередь поясняет определяемое слово с точки зрения морфологической. Об этом косвенно, но очень ярко свидетельствует отсутствие необходимых показателей множественности у определяемого слова, когда оно сочетается со словами, обозначающими множественность; например, башк. *биш кеше* «пять человек», *биш-алты кеше* «пять-шесть человек», *күп кеше* (факультативно: *күп кешеләр*) «много людей». Другой пример — факультативность употребления аффикса принадлежности при втором компоненте изафетных конструкций типа башк. *беҙҙең өй* (*өйөбөҙ*) «наш дом», аффикса лица в образованиях типа башк. (*минең*) *барғым килә* || *минең барғы килә* || *барғым килә* «хочу идти». Отсутствие собственного склонения у имени прилагательного в тюркских языках, помимо всего прочего, обусловлено фиксированным его местоположением, делающим выражение падежей в самом прилагательном избыточным.

В атрибутивных конструкциях препозитивное морфологическое пояснение чаще всего наблюдается там, где определяемым является не существительное и где определение обладает однозначной морфологической характеристикой. Например, в башк. *шәкәрҙән татлы* «слаще сахара», *беҙгә таныш* «знакомый нам», *ситтән өсөнсө* «третий с краю», *уларҙың бишенсеһе* «пятый из них», *ракетанан тиҙрәк* «быстрее ракеты», *беҙҙән күбрәк* «больше нас» вторые компоненты, обладающие вне данного сочетания иными значениями, благодаря первым компонентам получают однозначное морфологическое осмысление. Позиционный способ формального выражения грамматических значений слова, опирающийся на атрибутивную связь, открывает, таким образом, возможность трансформации одной части речи в другую и непосредственно сказывается даже на оформлении некоторых грамматических категорий имен.

Значительна роль этого способа и в случае, когда в его основе лежит предикативная конструкция, в особенности та, которая выражается глаголом. Это и понятно: из всех частей речи глагол обладает самой разветвленной, но строго организованной системой форм словоизменения и словообразования, однозначно характеризующих его именно как глагол. К тому же глагол в предикативной позиции имеет обычно относительно постоянное местоположение и логическое ударение. Замыкая предложение или его часть, глагол поэтому уже одним своим присутствием поясняет находящиеся слева от него слова — не только имена, занимающие позицию подлежащего, но и все зависимые от него слова — и в силу этого влияет, естественно, на оформление некоторых членов предложения (в частности, определенных типов прямого дополнения и обстоятельств). Например, глагол уточняет наречие, деепричастие (которые вне данной позиции

[15] В связи с этим в «Башкирско-русском словаре» (М., 1958) чуть ли не каждое существительное указанного типа дается одновременно и как прилагательное.

получают совершенно иную морфологическую характеристику — наречие может при соответствующем соседстве выступать в роли прилагательного, а деепричастие — в значении спрягаемого глагола), числительное и существительное: башк. *яҡшы уҡы-* «хорошо учиться» (ср. *яҡшы китап* «хорошая книга», *яҡшы яманды белмәй* «хороший не знает дурного»), *иренмәй эшлә-* «работать усердно» (буквально: «не ленясь»), *бер бар-* «ходить один раз» (ср. *бер кеше* «какой-то человек; один человек»), *һейләнергә ярат-* «любить говорить», *эш эшлә-* «выполнять работу» (ср. *эш көсө* «рабочая сила»). И наоборот: морфологически многозначные формы глагола уточняются и воспринимаются лишь в каком-либо одном из закрепленных за ними значений благодаря другим частям речи, в особенности именам, занимающим позицию подлежащего. Ср. форму 3-го лица ед. числа изъявительного и некоторых других наклонений, а также башк. разг. *мин барасаҡ* (вместо *барасаҡмын*) «я пойду (непременно)», *улар бармаҡсы* (вместо *бармаҡсылар*) «они намерены пойти». В силу этого в некоторых тюркских языках, например, в чувашском, большое развитие получили так называемые неличные глагольные формы, бытующие в предикативной позиции и в связи с этим неизменно предполагающие соотнесенность выражаемого ими действия с действующим лицом. Ср. чуваш. *эпĕ вулмалаччĕ* «я должен был читать», *эсĕ вулмалаччĕ* «ты должен был читать» и т. д., где «спряжение» производится на таких же началах, как и в форме прошедшего времени русского глагола (ср. *ходил — я, ты, он*).

В целях однозначного морфологического осмысления слова, а также для выражения некоторых его грамматических значений используются и другие синтаксические модели. Позиционный способ формального выражения, основанный на одной из действующих синтаксических моделей, неизменно сочетается в живом языке с интонационным способом [16]. Все это очень осложняет и без того сложную систему реализации значений слова, но вместе с тем делает ее еще более строго организованной и предупреждает возможность превратного осмысления многозначных в грамматическом отношении слов.

Проявления аналитизма в морфологии тюркских языков, разумеется, не исчерпываются описанным. Тем не менее, даже этот беглый очерк позволяет представить, какое большое значение может иметь надлежащая постановка и изучение этой проблемы для углубленного познания природы слова тюркских языков. Постичь природу тюркского слова едва ли возможно без учета того, что внутриязыковое содержание слова может быть выражено за его пределами и не его средствами и что способ выражения значений слова в тюркских языках гораздо сложнее, чем существующее весьма одностороннее его описание.

---

[16] Интонацией, помимо прочего, характеризуется каждая значащая единица, начиная со слова и кончая синтаксическими единицами наивысшего порядка; как способ формального выражения интонация на письме ничем, кроме знаков препинания, не может быть заменена. (Ср. вокатив, отдельные типы императива, побудительного, вопросительного и бессоюзных сложных предложений и т. п., отличающиеся от омонимичных структур лишь благодаря интонации.)

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1965

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Л. Л. КАСАТКИН

К ИСТОРИИ ЗАДНЕНЕБНЫХ ФОНЕМ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

1. После того как в конце 20-х — начале 30-х годов появились известные работы Р. О. Якобсона и работы по исторической фонологии других членов Пражского лингвистического кружка, тезис о том, что фонологические изменения могут предшествовать изменениям фонетическим и обусловливать эти последние, получил подтверждение в целом ряде исследований, посвященных общим проблемам исторической фонологии и частным явлениям истории различных языков. Однако «вопрос о факторах фонологических изменений все еще остается дискуссионным, причем и среди отечественных языковедов нет единства мнений»,— писала недавно М. М. Гухман[1]. Так, П. С. Кузнецов недавно вновь повторил высказанное им ранее положение о том, что «обычно чисто фонетические изменения, происходящие на протяжении истории языка и сами по себе не обусловленные фонологией, являются причиной перестройки фонологических отношений, а не наоборот»[2].

Решение указанного вопроса имеет важное значение не только для исторической фонологии — вопрос этот является частью более общей лингвистической проблемы: если фонемы относятся к языку, а «звуки языка»[3] к речи[4], то можно ли считать, что всегда «новшества... возникают в речи и затем уже отлагаются в языке»[5], или изменения могут происходить сначала в языке и только потом в речи, иначе говоря, могут ли в языке существовать элементы, не получающие воплощения в речи?

История задненебных фонем в русском языке может дать ряд дополнительных данных к вопросу о причинности в фонетических изменениях и служить хорошей иллюстрацией к некоторым положениям исторической фонологии.

А. А. Шахматов выдвинул предположение, что причиной перехода *кы*, *гы*, *хы* в *к'и*, *г'и*, *х'и* было «изменение в самой природе звука *ы*»: звук *ы* из ряда заднесреднего перешел в средний ряд, и в связи с этим

[1] М. М. Гухман, Соотношение фонологии и фонетики в сравнительно-исторических исследованиях, «Вопросы германского языкознания. Материалы Второй научной сессии по вопросам германского языкознания», М.— Л., 1961, стр. 112.

[2] П. С. Кузнецов, К вопросу о происхождении аканья, ВЯ, 1964, 1, стр. 37. Аналогичное высказывание П. С. Кузнецова (см.: П. С. Кузнецов, [рец. на кн.:] F. Liewehr, Slawische Sprachwissenschaft in Einzeldarstellungen, Wien, 1955, ВЯ, 1957, 2, стр. 109) вызвало решительные возражения Я. Б. Крупаткина (см.: Я. Б. Крупаткин, Две проблемы исторической фонологии, ВЯ, 1958, 6, стр. 37); не соглашается с П. С. Кузнецовым и М. М. Гухман (см. указ. соч., стр. 118).

[3] В том смысле, в каком этот термин употребил П. С. Кузнецов в статье «Об основных положениях фонологии» (ВЯ, 1959, 2, стр. 31).

[4] Об этом см.: Н. Д. Андреев, Л. Р. Зиндер, К понятию языка и речи, «Тезисы докладов межвузовской конференции на тему „Язык и речь" (27 ноября — 1 декабря)», М., 1962, стр. 7.

[5] П. С. Кузнецов, О языке и речи, «Вестник МГУ», Серия VII. Филология, журналистика, 1961, 4, стр. 62.

изменились предшествовавшие ему задненебные; но язык не имел средненебных согласных в несмягченном виде, это привело к переходу их в средненебные смягченные, а это в свою очередь «влекло за собой изменение самого *ы* в гласную переднего ряда *и*»[6]. Позднее А. А. Шахматов писал, что переход *кы*, *гы*, *хы*, в *кʾи*, *гʾи*, *хʾи* был вызван, по-видимому, изменением в природе задненебных согласных, а именно потерей ими лабиовелярного характера. Потеря ими этого их свойства вела к уподоблению их следующему гласному среднего ряда *ы* [7].

Одно из слабых мест этой гипотезы в том, что предполагается невозможность сохранения нелабиализованных задненебных перед гласным среднего ряда *ы*. Однако ни с точки зрения физиологии, ни с точки зрения фонологии в этом нет ничего невозможного [8]. Кроме того, неясно, чем могла быть вызвана утрата лабиализации перед *ы* задненебными при сохранении этой лабиализации другими согласными [9].

Р. О. Якобсон и Р. И. Аванесов связывают переход *кы*, *гы*, *хы* в *кʾи*, *гʾи*, *хʾи* с падением редуцированных. По мнению Р. О. Якобсона, падение редуцированных привело к тому, что в русском языке противопоставление передних — непередних гласных потеряло фонологическую значимость. В связи с этим появилась тенденция к унификации гласных фонем. Эта тенденция могла привести к сближению переднего и заднего вариантов фонемы, реализовалась она в большинстве случаев в виде обобщения основного варианта фонемы в позиции после внепарного согласного, в частности в переходе *кы*, *гы*, *хы* в *кʾи*, *гʾи*, *хʾи* [10]. Изменение *кы*, *гы*, *хы* в *кʾи*, *гʾи*, *хʾи* действительно следует рассматривать как замену одного варианта гласной фонемы другим ее вариантом. Однако нельзя эту замену объяснять существованием универсальной языковой закономерности «унификации» фонем, проявляющейся в данном случае в замене неосновного варианта фонемы ее основным вариантом. Такой закономерности, по всей вероятности, нет, так как ей противоречат многочисленные факты длительного сосуществования в языках «разных вариантов» «одной и той же фонемы». Больше того, наличие «разных вариантов» «одной и той же фонемы», видимо, само представляет универсальную языковую закономерность.

Р. И. Аванесов допускает возможность того, что истоки процесса перехода *кы*, *гы*, *хы* в *кʾи*, *гʾи*, *хʾи* связаны с делабиализацией *к*, *г*, *х*, происходившей наряду с делабиализацией и других согласных: *т*, *д*, *с*, *з* и др. Однако он считает, что делабиализация *к*, *г*, *х* представляла собой только «физиологическую потенцию» для перехода *кы*, *гы*, *хы* в *кʾи*, *гʾи*, *хʾи*. Осуществиться она смогла потому, что после падения редуцированных «зона *ky* — *kʾi*, *gy* — *gʾi*, *chy* — *chʾi* была нерасчлененной, взаимно нейтральной», и «для изменения *ky* в *kʾi* и др. не было препятствий в системе языка, в то время как сочетание *ty* и др. не могли измениться в *tʾi* и др.— этому препятствовало наличие особой, используемой в языке зоны *tʾi* и др.» [11]. Однако и здесь остается неясным, почему после делабиализации согласных не могли сохраняться сочетания *кы*, *гы*, *хы*.

[6] А. А. Шахматов, Курс истории русского языка (читан в С. Петербургском ун-те в 1909—1910 уч. г.), ч. 2, 2-е изд., СПб., 1911—1912 [литограф. изд.], стр. 132—134, 175.

[7] А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского языка, Пг., 1915, стр. 34—35, 312.

[8] Ср., например, нелабиализованное *ch* перед *y* в современном польском языке.

[9] О лабиализованном характере согласных перед *ы* даже в современном русском языке см.: О. Брок, Очерк физиологии славянской речи, СПб., 1910, стр. 164—165.

[10] R. Jakobson, Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves, TCLP, 2, 1929, стр. 61—62.

[11] Р. И. Аванесов, Из истории русского вокализма. Звуки *i* и *y*, «Вестник МГУ», 1947 1, стр. 55.

Изменение *кы, гы, хы* в *к'и, г'и, х'и* может быть объяснено как результат устранения некоторых противоречий, возникавших в процессе изменения фонологической системы в связи с формированием дифференциального признака «палатальность ~ непалатальность».

В истории русского языка можно выделить три последовательных этапа, характеризовавшихся разными сочетаниями задненебных звуков со звуками *и, ы*. На первом этапе существовали сочетания *кы, гы, хы*, не было сочетаний *к'и, г'и, х'и* и звуки *к', г', х'* отсутствовали. На следующем этапе продолжали существовать сочетания *кы, гы, хы*. Однако уже стали возможны и сочетания *к'и, г'и, х'и*, наряду с *к', г', х'* перед другими гласными переднего ряда. Такие сочетания представлены в древнерусских памятниках в заимствованных словах (например, *китъ, гигасъ, хитонъ, кедръ, евангелик, хѣровимъ* и т. п.), а также в тех случаях, когда *к', г', х'* появляются на месте *ц, з, с* в результате выравнивания основы (например, *женьскѣ, кр(с)тьянскии, дъмъкѣ, розгѣ, пасхѣ* и т. п.)[12]. На третьем этапе в результате изменения *кы, гы, хы* в *к'и, г'и, х'и* становятся возможными только сочетания *к'и, г'и, х'и*.

Рубеж между вторым и третьим этапами совпадает с коренной перестройкой фонологической системы русского языка, связанной с падением редуцированных гласных. В это время оформляется противопоставление «палатальных» и «непалатальных» согласных фонем, а признак ряда (передний ∞ непередний) перестает быть дифференциальным признаком гласных фонем, превращаясь в обусловленный предшествующей согласной фонемой признак гласных звуков[13].

На всех этих трех этапах[14] звуки *к, г, х* и *к', г', х'* были позиционно обусловлены и воплощали фонемы /к/, /г/, /х/, не обладавшие дифференциальным признаком «палатальность ∞ непалатальность»[15]. Иное положение было со звуками *и, ы*. Если раньше звуки *и, ы* воплощали разные фонемы /и/, /ы/, то на рубеже второго и третьего этапов эти фонемы совпали в одной, а звуки *и, ы* стали воплощать одну фонему и разница между ними стала позиционно обусловленной.

В фонетическом смысле эта обусловленность заключалась в том, что *ы* возможен только после твердых согласных звуков, а *и* возможен только в начале слова и после мягких (палатальных и палатализованных) согласных звуков. С этой точки зрения сочетания *кы, гы, хы* были закономерны на всех этапах так же, как *бы, пы, ты, ды* и т. п. и *б'и, п'и, т'и, д'и, ш'и, ж'и, к'л, г'и, х'и* и т. п.

Однако позиция, в которой производился выбор между *и* и *ы*, получает фонологический смысл, который является определяющим в этом выборе[16]. В фонологическом смысле важным оказывается не то, после твердого или мягкого согласного звука выступает *ы* или *и*, а то, после какой согласной фонемы выступает *ы* или *и* — после фонемы, обладающей дифференциальным признаком «непалатальности», или после фонемы,

---

[12] Примеры см. в кн.: А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского языка, стр. 176—177.

[13] См. указанные работы Р. О. Якобсона и Р. И. Аванесова, а также: H. G. Lunt, On the origins of phonemic palatalization in Slavic, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956.

[14] Не касаемся здесь наступившего по крайней мере для ряда говоров, а также и для литературного языка следующего этапа, когда появляются «палатальные» задненебные фонемы.

[15] Или воплощали соответствующие члены силлабемы (ср.: Р. О. Якобсон, указ. соч., стр. 31; Р. И. Аванесов, указ. соч., стр. 48), или, по терминологии В. К. Журавлева, «группо-фонемы» (см., например, его статью «Формирование группового сингармонизма в праславянском языке», ВЯ, 1961, 4, стр. 43).

[16] О фонологичности позиций см.: А. А. Реформатский, Фонологические заметки, ВЯ, 1957, 2.

обладающей дифференциальным признаком «палатальности». После фонем первого типа выступает *ы*, а после фонем второго типа — *и*. Кроме того, существует еще положение начала слова и положение после согласных фонем, не обладающих дифференциальным признаком «палатальность ∞ непалатальность»: /ш/, /ж/, /ч/, /д͡ж/, /ц/, /j/ и /к/, /г/, /х/. Оба эти положения представляют собой одну и ту же позицию, так как в указанном фонологическом смысле они едины: и в том, и в другом случае перед фонемой /и/ стоит единица, не обладающая дифференциальным признаком «палатальность ∞ непалатальность». Таким образом, на третьем этапе выделяются три позиции, в которых могла быть фонема /и/: 1) после согласной фонемы «непалатальной», 2) после согласной фонемы «палатальной» и 3) после единицы, не обладавшей указанным признаком.

Формирование фонологической закономерности, по которой выбор *и* или *ы* определялся положением фонемы /и/ в одной из указанных трех позиций, опиралось на уже существовавшие в языке отношения между твердыми или мягкими согласными звуками и звуками *и*, *ы*. Однако формирование этой закономерности сталкивалось со следующим противоречием. В третьей позиции, единой в фонологическом смысле, фонема /и/ получала не единственное выражение. В большинстве случаев фонема /и/ воплощалась в этой позиции в звуке *и*, и только после фонем /к/, /г/, /х/ она могла воплощаться в звуке *ы*. Это «столкновение» фонологии и фонетики разрешилось в пользу фонологии: в третьей позиции фонема /и/ стала воплощаться в одном звуке; этим звуком стал *и*, так как в большинстве случаев в этой позиции именно он воплощал фонему /и/. Поэтому после фонем /к/, /г/, /х/ фонема /и/ стала воплощаться в звуке *и*, а звуки *к*, *г*, *х* заменились звуками *к'*, *г'*, *х'*, так как перед звуком *и* могли быть только мягкие согласные звуки.

2. В ряде русских говоров наблюдается произношение необусловленных позицией мягких задненебных звуков *к'*, *г'*. Бывает это, в частности, в следующих двух случаях: 1) в некоторых формах настоящего времени глаголов I спряжения типа *печь*, *беречь*, например *п'ек'о́ш*, *б'ер'ег'о́ш* и т. п.[17], 2) в отдельных словах типа *Н'и́нк'а*, *кускъ'о́м*, где *к'* отмечается после твердого согласного в говорах, знающих результаты прогрессивного ассимилятивного смягчения задненебных (*Ва́н'к'а* и т. п.)[18]. Звуки *к'*, *г'* в этих случаях воплощают «палатальные» фонемы /к'/, /г'/, парные «непалатальным» фонемам /к/, /г/, поскольку мягкие *к'*, *г'* выступают в такой позиции, где обычны и твердые *к*, *г*[19].

---

[17] Явление это свойственно всему южнорусскому наречию, среднерусским западным говорам и южной (акающей) части среднерусских восточных говоров и некоторым севернорусским, относящимся к отдельным частям северной половины Северной межзональной Вологодской и Костромской групп. См. карту 151 «Атласа русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы» (М., 1957), а также соответствующие карты других атласов русских народных говоров, подготовленные к печати и хранящиеся в секторе диалектологии Института русского языка АН СССР. Группировку говоров см. в «Русской диалектологии» под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой (М., 1964).

[18] Подобные случаи отмечены во многих говорах на всей территории распространения прогрессивного ассимилятивного смягчения задненебных согласных; см.: Л. Л. Касаткин, Прогрессивное ассимилятивное смягчение *к* в русских народных говорах, «Материалы и исследования по русской диалектологии». Новая серия, III, М., 1962, стр. 35—38, 58.

[19] По поводу второго случая П. С. Кузнецов пишет: «...мягкое *к'*, будучи не обусловлено фонетическим положением, является... особой фонемой, отличной от твердого *к*» (В. И. Борковский, П. С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка, М., 1963, стр. 113). Р. И. Аванесов считает, что в этом случае звуки *к* и *к'* ... все же не становятся двумя разными фонемами» (Р. И. Аванесов, Очерки русской диалектологии, ч. 1, М., 1949, стр. 161).

Как могли возникнуть фонемы /к'/, /г'/ в говорах, знающих указанные два явления?

Появление морфологического чередования *к/к'/ г/г'/* в глаголах типа *печь, беречь* обычно объясняют следующим образом. По говорам русского языка в личных формах глаголов типа *печь, беречь* происходило два изменения: выравнивание основы и изменение *е* в *о* во флексиях. В большинстве говоров, знающих чередование *к/к'*, *г/г'* в основе настоящего времени указанных глаголов, вначале происходило морфологическое подравнивание личных форм по образцу форм 1-го лица ед. числа и 3-го лица мн. числа. На месте чередования *к/ч*, *г/ж* в парадигме *п'еку́ — п'ечёш* и т. д., *б'ер'егу́ — б'ер'ежёш* и т. д. возникает позиционно обусловленное чередование *к/к'*, *г/г'*: *п'еку́ — п'ек'ёш* и т. д., *б'ер'егу́ — б'ер'ег'ёш* и т. д. Позднее *е* во флексии изменилось в *о* (частью фонетически, частью по аналогии), мягкие же *к'*, *г'* перед этим *о* сохранились, перестав, таким образом, быть позиционно обусловленными; появляется парадигма *п'еку́ — п'ек'о́ш* и т. д., *б'ер'егу́ — б'ер'ег'о́ш* и т. д.[20].

Приведенное объяснение появления необусловленных позицией мягких *к'* и *г'* аналогично распространенному объяснению: данный «процесс связан с устранением позиционных причин для вариаций. Вариации выступают как разновидности одной и той же фонемы только при наличии этих позиционных условий, видоизменяющих единую фонему в разные „оттенки". В случае устранения этой причины оставшиеся необусловленные позицией различные звуки становятся разными фонемами»[21]. Такое объяснение вытекает из реляционно-физического определения фонемы как класса звуков[22]. Действительно, с этой точки зрения, фонема может появиться не раньше, чем возникнет ее реальное воплощение. Определение фонемы как конструкта [23] позволяет по-новому рассмотреть взаимоотношение между фонемой и ее воплощением.

В период после выравнивания основы и до изменения в глагольных флексиях *е* в *о* звуки *к*, *г* выступают в 1-м лице ед. числа и 3-м лице мн. числа перед фонемой /у/ (*п'еку́ — п'еку́т*, *б'ер'егу́ — б'ер'егу́т*), а звуки *к'*, *г'* в остальных формах перед фонемой /е/ (*п'ек'ёш* и т. д., *б'ер'ег'ёш* и т. д.). Если *к* и *к'* в этот период воплощают фонему /к/, а *г* и *г'* — фонему /г/, то выбор *к*, *г* или *к'*, *г'* целиком обусловлен фонетической позицией — в данном случае следующей гласной фонемой, так как *к*, *г* в этот период возможны только перед /у/, /о̂/, /о/, /а/, а *к'*, *г'* только перед /и/, /ě/, /е/[24]. Иначе говоря, твердость звуков *к*, *г* и мягкость звуков *к'*, *г'* в этот период нужно относить не к свойствам фонем /к/, /г/, а к свойствам позиций, в которых эти фонемы употребляются. Поэтому при «переходе» фонем /к/, /г/ из одной позиции в другую последовательно изменялось и воплощение этих фонем: в одной позиции они воплощались в звуках *к*, *г*, в другой — в звуках *к'*, *г'*.

---

[20] См.: Р. И. Аванесов, Об одной фонетико-морфологической особенности северновеликорусских говоров, «Докл. и сообщ. филол. фак-та МГУ», 2, 1947, стр. 12—13; П. С. Кузнецов, О возникновении и развитии звуковых чередований в русском языке, ИАН ОЛЯ, 1952, 1, стр. 70, 74.

[21] А. А. Реформатский, Введение в языкознание, М., 1960, стр. 389.

[22] Обычно считается, что этот класс не может представлять собой пустое множество. П. С. Кузнецов писал в работе «К вопросу о фонематической системе современного французского языка»: «Мы не можем считать особой фонемой то, что всегда является в нулевой форме» («Уч. зап. Моск. гор. пед. ин-та», V. Кафедра русск. яз., 1 1941, стр. 171).

[23] См.: С. К. Шаумян, Проблемы теоретической фонологии, М., 1962.

[24] Позиционно обусловлены были *к*, *г* и *к'*, *г'* и в других позициях, где могли выступать задненебные: перед твердым согласным, после мягкого согласного и др.

Изменение *е* в *о* в глагольных флексиях было изменением позиции для фонем /к/, /г/: перед /е/ фонемы /к/, /г/ воплощались в звуках *к'*, *г'*, а перед /о/ — в звуках *к*, *г*. Поэтому это изменение должно было повлечь за собой замену звуков *к'*, *г'* звуками *к*, *г*: *к'е* > *ко*, *г'е* > *го*[25], т. е. парадигма *п'екý — п'ек'ёш* и т. д., *б'ер'егý — б'ер'ег'ёш* и т. д. должна была измениться в парадигму *п'екý — п'екóш* и т. д., *б'ер'егý — б'ер'егóш* и т. д.[26].

Сохранение мягких *к'*, *г'* перед *о*, возникшим на месте *е*, т. е. изменение парадигмы *п'екý — п'ек'ёш* и т. д., *б'ер'егý — б'ер'ег'ёш* и т. д. в парадигму *п'екý — п'ек'óш* и т. д., *б'ер'егý — б'ер'ег'óш* и т. д., могло осуществиться только в том случае, если еще до перехода *е* в *о* в глагольных флексиях звуки *к'*, *г'* стали воплощать «палатальные» фонемы /к'/, /г'/. При этом мягкость звуков *к'*, *г'* стала воплощать уже не свойство позиции, а свойство согласных фонем, поэтому изменение позиции и не повлекло за собой замену звуков *к'*, *г'* на *к* и *г*.

Таким же должно быть объяснение и в других аналогичных случаях: если фонема *А* воплощалась в позиции P_1 в звуке a_1, а в позиции P_2 в звуке a_2, а затем в ряде случаев произошло изменение позиции P_1 в позицию P_2 и при этом звук a_1 не заменялся звуком a_2, то, следовательно, еще до изменения позиции P_1 в позицию P_2 звук a_1 перестал воплощать фонему *А*, став представителем фонемы *В*, возможным и в позиции P_1, и в позиции P_2.

Случаи типа *Н'úнк'а*, *куск'óм* возникают по аналогии к случаям типа *Вáн'к'а*, являющимся результатом прогрессивного ассимилятивного смягчения *к*[27]. Однако для того чтобы могла возникнуть такая аналогия необходимо было, чтобы мягкость *к'* перестала быть свойством позиции после «палатальных» согласных, а стала свойством фонемы /к'/[28]. По аналогии переноситься с одной единицы на другую могут только признаки существенные, релевантные для данной единицы[29]. А до тех пор, пока звуки *к* и *к'* воплощали фонему /к/, твердость или мягкость этих звуков была признаком нерелевантным, обусловленным позицией фонемы /к/ — после «непалатальной» или «палатальной» согласной фонемы.

Таким образом, необусловленные позицией мягкие звуки *к'*, *г'* появлялись в рассмотренных двух случаях не в результате «фонетических» изменений, а в результате изменений в системе — возникновения «палатальных» фонем /к'/, /г'/[30]. Следовательно, противопоставление /к/ — /к'/ и /г/ — /г'/ возникает в языке раньше, чем появляются в речи факты, отражающие это противопоставление [31].

---

[25] Ср.: Л. Э. Калнынь, Развитие корреляции твердых и мягких согласных фонем в славянских языках, М., 1961, стр. 20.

[26] Может быть, так и происходило в тех владимирско-поволжских, кировских и примыкающих к ним костромских и вологодских говорах (см. указ. атласы), которые в настоящее время знают произношение *п'екóш*, *б'ер'егбш* и т. п. Возможно и другое объяснение происхождения в этих говорах указанного явления (см.: Р. И. Аванесов, Об одной фонетико-морфологической особенности северновеликорусских говоров).

[27] См.: Л. Л. Касаткин, указ. соч., стр. 34—35.

[28] Ср. у Р. О. Якобсона: «Грамматическая аналогия сама по себе не может привести к возникновению или исчезновению фонологической корреляции» («Remarques...», стр. 58).

[29] Ср.: B. Trnka, O analogii v strukturálním jazykozpytu, SaS, II, 4, 1936.

[30] Ср. у Л. Р. Зиндера: «Не потому [к'] палатализованное стало фонемой, что появилось слово [tk'ot], а наоборот, слово [tk'ot] оказалось возможным потому, что [к'] стало фонематически противополагаться [к]» (Л. Р. Зиндер, О звуковых изменениях, ВЯ, 1957, 1, стр. 74).

[31] О фонологических причинах появления противопоставления «палатальных» и «непалатальных» задненебных фонем см.: Л. Р. Зиндер, указ. соч., стр. 73—74.

Рассмотренные изменения свидетельствуют о наличии двух эпох в истории задненебных фонем в русском языке. Первая эпоха характеризуется тем, что фонемы /к/, /г/, /х/ не обладали дифференциальным признаком «палатальность ~ непалатальность». Изменение *кы*, *гы*, *хы* в *к'и*, *г'и*, *х'и*, происходившее в эту эпоху, было вызвано изменением в системе: формированием у согласных фонем дифференциального признака «палатальность ~ непалатальность» и объединением /и/ и /ы/ в одну фонему. Вторая эпоха характеризуется появлением в системе «палатальных» фонем /к'/, /г'/, противопоставленных «непалатальным» фонемам /к/, /г/ [32]. Возникновение в эту эпоху не обусловленных позицией мягких *к'*, *г'* в рассмотренных выше случаях (*п'ек'о́ш*, *б'ер'ег'о́ш*, *Н'и́нк'а*) не было вызвано данным изменением в системе: причиной их была, очевидно, грамматическая аналогия. Однако осуществиться эта аналогия могла только после соответствующего изменения в системе. Таким образом, и здесь изменения в системе произошли до того, как эти изменения нашли свое реальное воплощение.

---

[32] Вопрос о появлении наряду с /к'/, /г'/ также [и «палатальной» фонемы /х'/ требует специального рассмотрения.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1965

А. Г. ШИРОКОВА

ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МНОГОКРАТНЫХ ГЛАГОЛОВ В ЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ

Задачей данной статьи является установление основного значения маркированных многократных глаголов в современном чешском языке, т. е. значения, которое возможно либо в позиции нулевой обусловленности, либо в условиях минимального контекста. Здесь мы не ставим перед собой задачу выделения общего значения, т. е. значения, которое остается неизменным при любом употреблении, хотя не отрицаем факта его существования для морфологических категорий и необходимости изучения взаимоотношения общего, основного и второстепенных значений.

Вопрос об общем и основном значении морфологических категорий привлекал внимание лингвистов неоднократно. Еще большим вниманием пользовалась и пользуется до настоящего времени проблема инварианта. В связи с теорией бинарных морфологических корреляций вопрос об общем значении был поставлен еще в 1932 г. в статье Р. Якобсона «Структура русского глагола»[1]. Идея общего значения, которое, по Якобсону, представляет собой совокупность ряда частных значений, являющихся как бы комбинаторными вариантами общего значения, повторяется и в других его работах[2].

Теория общего значения Р. Якобсона встретила серьезную критику со стороны ряда ученых. Одним из первых выразил свое несогласие с ней Л. Ельмслев[3], который общему значению (Zusammenbedeutung) противопоставил основное значение (Grundbedeutung). Точку зрения Л. Ельмслева в принципе разделяли и другие представители копенгагенской школы (Х. Сёренсен, А. В. де Гроот, К. Тогебю). Критическую позицию в отношении теории «общего значения» Р. Якобсона занял также и Е. Курилович[4], считающий более важным главное значение, т. е. значение, которое не определяется контекстом (частные же значения к семантическим элементам главного значения прибавляют еще и семантические элементы, определяемые контекстом). Возражение Е. Куриловича против введения понятия общего значения основано на «невозможности интеграции качественно различных элементов, а именно — коммуникативного содержания и аффективных (стилистических) оттенков»[5].

[1] R. Jakobson, Zur Struktur des russischen Verbums, сб. «Charisteria Gvilhelmo Mathesio...», Praga, 1932.

[2] R. Jakobson, Signe zéro, «Mélanges de linguistique offerts à Charle Bally», Genève, 1939; его же, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, TCLP, VI, 1936, стр. 252.

[3] J. Hjelmslev, La catégorie des cas, Copenhague, 1935, стр. 128.

[4] J. Kuryłowicz, Le problème du classement des cas, BPTJ, IX, 1949, стр. 41—43; его же, Заметки о значении слова, ВЯ, 1955, 3, стр. 73. Автор различает семантические и синтаксические функции, каждая из которых может быть «первичной» и «вторичной». Первичная семантическая функция соответствует общему значению Р. Якобсона, вторичные функции тождественны его частным значениям. О семантических и синтаксических функциях см. также интересную статью Е. Куриловича «Деривация лексическая и деривация синтаксическая. К теории частей речи», сб. «Е. Курилович. Очерки по лингвистике», М., 1962.

[5] Е. Р. Курилович, Заметки о значении слова, стр. 78.

Теория общего значения не была принята и некоторыми чешскими учеными [6]. Так, М. Докулил, проверяя действенность теории бинарных противопоставлений, также выражает сомнение в возможности свести к общему значению различные значения многозначных слов и оттенки значений. Туманное понятие общего значения, на основе которого устанавливается отношение между значениями обоих членов корреляции, по мнению Докулила, явилось препятствием для более широкого применения и развития плодотворной теории асимметрии морфологических противопоставлений [7]. Скептическое отношение М. Докулила к теории общего значения разделяет и П. Новак, который, не отрицая в принципе возможности выведения общего значения, ставит, однако, под сомнение обязательность этого значения, возникающего в ряде случаев дистрибутивно и функционально [8]. Критические замечания в адрес теории общего значения звучали и во многих других работах [9].

В последнее время термин «общее значение» начал уступать место термину «инвариант», под которым одни лингвисты понимают абстракцию или субстрат всех возможных значений, другие — такие свойства морфологической категории, которые остаются неизменными при всех наличных вариациях [10], третьи — общее значение, не обусловленное конкретным контекстом [11]. Например, А. В. Исаченко под инвариантным значением понимает такое грамматическое значение, которое сохраняется во всех контекстах, при любом употреблении данной формы, т. е. значение, лишенное всякой избыточности [12]. Несмотря на различие в частностях, общим в различных теориях является признание того, что общее значение остается одним и тем же при любом употреблении.

Задача выявления основного значения изучаемой категории и установления иерархии разных значений и функций не является задачей установления общего значения, выводимость которого не всегда представляется практически возможной и необходимой. Она не сводится также к поискам инварианта, который невозможно установить без изучения вариантов, так как инвариант существует в той мере, в какой существуют варианты. Приступать к решению этой задачи следует с определения значения, которое встречается либо в позиции нулевой обусловленности, либо в позиции минимального контекста, т. е. в условиях, в которых отсутствует зависимость от лексического и грамматического окружения. При этом следует иметь в виду, что основное значение морфологической категории не есть статистически господствующее или наиболее легко воспроизводимое значение.

О необходимости установления основного, или главного, значения грамматических (морфологических) категорий, как о более надежном методе проникновения в сущность изучаемой категории, ученые высказывались неоднократно. Одним из первых на важность различения основного грамматического значения того или иного грамматического средства

[6] Ср.: B. Trnka, Morfologické protiklady, сб. «O vědeckém poznání soudobých jazyků», Praha, 1958, стр. 96.

[7] M. Dokulil, K otázce morfologických protikladů, SaS, XIX, 2, 1958, стр. 87—88.

[8] P. Novák, K otázce obecného významu gramatických jednotek, SaS, XX, 2, 1959, стр. 84.

[9] Ср., например: И. П. Иванова, Об основном грамматическом значении, «Проблемы языкознания (Сб. в честь акад. И. И. Мещанинова)», Л., 1961.

[10] Р. Якобсон, Морфологические наблюдения над славянским склонением, 's-Gravenhage, 1958, стр. 3.

[11] Е. Кржижкова, Некоторые проблемы изучения категории времени в современном русском языке, ВЯ, 1962, 3, стр. 20.

[12] А. В. Исаченко, Бинарность, привативные оппозиции и грамматические значения, ВЯ, 1963, 2, стр. 45.

и его окказионального употребления указывал Б. Гавранек в 1939 г. на III Международном конгрессе славистов. Многие лингвисты, среди которых в первую очередь следует назвать русских ученых (А. Х. Востоков, Н. С. Аксаков, Н. П. Некрасов, Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов, А. М. Пешковский и др.), по существу правильно понимали различие между основным и случайным значением категории и нередко даже устанавливали отдельные морфологические категории по основному значению, однако отграничение основных значений от второстепенных делалось нередко без достаточных оснований, без установления объективных критериев разграничения[13].

Обращаясь к материалу многократных глаголов современного чешского литературного языка, следует заметить, что почти все имеющиеся в литературе определения значения маркированных многократных глаголов противоречивы: во многих случаях они свидетельствуют о подмене значения формы значениями, возникающими в определенных лексико-синтаксических условиях употребления. Сравним некоторые определения. Например, Фр. Травничек считает, что фреквентативы (т. е. маркированные многократные глаголы) типа *brávati* в большинстве случаев выражают действие, «нерегулярно и не часто повторяющееся, повторяющееся иногда, временами, довольно часто». «В формах прошедшего времени фреквентативы выражают обычно повторение в отдаленном прошлом или давно прошедшем»[14]. Указанную точку зрения разделяют Б. Трнка, Д. Кастанью, М. Вей и др.[15]. Другие ученые, напротив, считают, что маркированные многократные глаголы выражают действие часто или регулярно повторяющееся. К последним относятся Б. Гавранек и А. Едличка[16], а также А. Достал[17].

Некоторые исследователи считают функцией маркированных многократных глаголов способность выражать все названные выше оттенки значений (регулярность, обычность, эпизодичность, давность и пр.)[18]. Отдельные авторы довольствуются лишь констатированием повторяемости вообще, без определения ее количественной стороны[19]. Фр. Копечный в своей последней книге, посвященной глагольному виду в чешском языке[20], на стр. 6 пишет, что различие между *psávat* и *psát* сводится к тому, что *psávat* можно передать как *často psát*, иногда «mít ve zvyku psát», а на стр. 20 той же книги утверждает, что тип *chodívá* (*do kina*) по сравнению с *chodí* имеет оттенок нерегулярного, временами повторяющегося действия (odstín nepravidelné občasnosti).

Отсутствие единства в определении значений многократных глаголов можно объяснить влиянием традиций и отсутствием единой методической базы исследования. Это хорошо видно на примерах современных слова-

[13] В этой связи следует отметить удачную попытку И. П. Ивановой (указ. соч.) установить (на материале английского языка) один из возможных способов объективного анализа основного грамматического значения.

[14] Fr. Trávníček, Mluvnice spisovné češtiny, část II, Skladba, Praha, 1951, стр. 1334, 1335.

[15] B. Trnka, O podstatě vidů, «Časopis promoderní filologii», 14, 1928, стр. 190; D. Castagnou, Quelques remarques sur l'aspect verbal dans les langues slaves, BPTJ, XIX, 1960, стр. 137; W. Vey, Les préverbes vides en tchèque moderne, RÉSl, 29, 1952.

[16] B. Havránek, A. Jedlička, Česká mluvnice, Praha, 1963, стр. 227.

[17] A. Dostál, Studie o vidovém systému v staroslověnštině, Praha, 1954, стр. 479.

[18] M. Jindra, K otázkám slovesného vidu, «Acta Universitatis Carolinae. Philologica», II, 1, 1956, стр. 88.

[19] A. Mazon, Morphologie des aspects du verbe russe, Paris, 1908, стр. 68; E. Koshmieder, Nauka o aspektach czasownika polskiego w zarysie, Wilno, 1934, стр. 115; V. Barnetová, K násobenosti slovesného děje, «Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české», I, Praha, 1956.

[20] Fr. Kopečný, Slovesný vid v češtine, Praha, 1962.

рей. Так, в словаре литературного чешского языка[21] в словарной статье, посвященной глаголу *jídati*, приводится следующее объяснение с иллюстрациями: *jídati* — многократный глагол к *jísti* «часто, регулярно есть» (často, pravidelně jíst): *Jídá pravidelně třikrát denně* «Он ест регулярно 3 раза в день», *V neděli jídají v restauraci* «По воскресеньям они едят в ресторане», *Jídal rád zeleninu* «Он любил есть (с удовольствием ел) овощи». Приведенные примеры подтверждают регулярность действия, однако семантическая тяжесть регулярности действия находится не на глаголе, а на соответствующих наречиях: *pravidelně*, *třikrát*, *denně*, *v neděli* и т. д. Это утверждение легко проверяется подстановкой соответствующих имперфективов, при которых сохраняется отмеченное значение регулярности: *Jí pravidelně třikrát denně*, *V neděli jedí v restuaraci*.

М. Индра в подтверждение своего положения о том, что многократные глаголы могут выражать значение как регулярной, так и нерегулярной повторяемости действия, а также значение отнесенности к давнему, отдаленному прошлому приводит следующие примеры: *chodívám obvykle lesem* «Я обычно хожу лесом», *divíval jsem se někdy* «иногда, порой я удивлялся», *za mlada jsem ho mívával rád* «в молодости и я любил его»[22]. И здесь указанные М. Индрой значения определяются исключительно контекстом, лексическим значением обстоятельств и обстоятельственных выражений. Число подобных примеров можно было бы свободно увеличить, но и приведенные с полной очевидностью свидетельствуют о подмене основного значения форм маркированных многократных глаголов самыми различными значениями, которые обусловлены употреблением этих форм в определенных лексико-синтаксических условиях. Подобная же картина наблюдается и в русской лингвистической литературе[23].

*

Указанное положение с необходимостью приводит к поискам такого контекста, в котором бы искомое основное значение было максимально обнажено, независимо, сигнализировалось бы самой формой. В наибольшей степени этому требованию отвечает позиция нулевой обусловленности. Однако указанная позиция в языковой практике почти не встречается, поэтому следует установить минимальный, но вполне реальный контекст, в котором значение изучаемой категории было бы наименее обусловленным.

Минимальный контекст, т. е. такой отрезок речи, который содержит более или менее постоянные лексико-грамматические условия проявления и выявления основного значения, для разных категорий может быть различным. Для установления значения одних категорий достаточно рассмотреть их грамматическую сочетаемость без учета лексической конкретности (для категории лица, залога), для других же категорий важно учитывать и лексическую значимость окружения. Как правило, лексический и грамматический (т. е. морфологический и синтаксический) контексты выступают в неразрывной связи, действуют одновременно и параллельно[24]. Для того чтобы яснее вскрыть зависимость значения изу-

[21] «Slovník spisovného jazyka českého», I, Praha, 1960.

[22] M. Jindra, указ. соч., стр. 88.

[23] Исключение представляет содержательная статья Е. А. Иванчиковой «Употребление многократных бесприставочных глаголов в русском литературном языке XIX в.» (сб. «Материалы и исследования по истории русского литературного языка», IV, М., 1957), где автор общее грамматическое значение многократных глаголов пытается отделить от условий контекста, способствующего реализации тех смысловых оттенков, которые потенциально несет в себе грамматическая форма (стр. 257).

[24] О грамматическом контексте и средствах его выражения см.: Б. М. Лейкина, К вопросу о грамматическом контексте, сб. «Вопросы синтаксиса романо-германских

чаемой категории от слов, которые представляют собой лексическое и грамматическое окружение, возможно применить прием временного устранения элементов, разъединяющих эти слова и изучаемое слово и являющихся подчиненными по отношению к одному из них. Однако для установления основного значения категории гораздо более важно устранение таких лексических и грамматических элементов, которые более других оказывают влияние на значение изучаемой категории. Так, для определения значений маркированных многократных глаголов в различных лексико-синтаксических условиях их употребления существенно наличие лексических показателей кратности или временной локализации процесса:

Často jsem slýchával nářky svých sousedů	«Я часто слышал жалобы своих соседей»
Zřídka jsem slýchával . . .	. . . изредка . . .
Stále jsem slýchával . . .	. . . постоянно . . .
Někdy jsem slýchával . . .	. . . иногда . . .
Občas jsem slýchával . . .	. . . порой . . .

В данных предложениях для характеристики повторяющегося действия имеют значение лишь слова *často*, *někdy* и др., в то время как остальные слова (*nářky svých sousedů* и др.) можно свободно опустить или заменить словами, тождественными в грамматическом отношении. Таким образом, одним из наиболее важных условий установления основного значения является отсутствие в предложении лексических показателей кратности. В качестве последних чаще всего выступают наречия образа действия, меры, степени, количества (*mnohokrát*, *často*, *obyčejně*, *obvykle*, *někdy*, *málokdy*, *občas*, *zřídkakdy*, *několikrát*, *třikrát*, *pravidelně*, *stále*), а также различные обстоятельственные слова и выражения, определяющие количественную сторону процесса (*v neděli*, *večer co večer*, *denně*, *v létě*, *v zimě*, *ve volných chvílích*, *na jaře*, *rok co rok*, *každou sobotu* и др.).

Не менее важным при определении основного значения является отсутствие в предложении разного рода обстоятельств и обстоятельственных выражений временно́го характера, указывающих на отнесенность процесса к определенному периоду времени (главным образом, прошлого) и поэтому затемняющих собственное временно́е значение многократных глаголов. Ср. «*Dříve* chodívali nazí, jen zaječí nebo jinou kůží přikryti, a bydlívali v jamách a jeskyních...» (J. Neruda); «...půjde krajinou pouhá pověst, že zde *někdy* stával hrad, a po čase i ta s pamětníky jeho zemře» (K. Mácha); «*Za dávných, dávných časů* stával nad Orlicí řekou, tam, kde nyní stojí město Kostelec, nádherný kostel» (A. Jirásek); «Vidíte, děti, ...tenhle kabátek nosívala vaše *prababička*...» (B. Němcová). В указанных и подобных им предложениях обстоятельства времени (*dříve*, *kdysi*, *někdy* и т. п.) и обстоятельственные выражения (*za dávných*, *dávných časů* и т. п.), а также лексическое значение подлежащих (*prababička* и т. п.) независимо от значения глагола выражают отнесенность процесса к давнему или отдаленному прошлому. Такие предложения находятся за границами минимального контекста.

Минимальный контекст исключает также употребление многократных глаголов в некоторых синтаксических условиях, предопределяющих появление тех или иных оттенков кратности или временной отнесенности процесса. К таким условиям относятся:

языков», Л., 1961; е е ж е, Средства грамматического контекста, сб. «Проблемы языкознания».

1. Употребление многократных глаголов для обозначения предпрошедшего действия (плюсквамперфекта), характеризующегося двойной временной перспективой: обозначением предшествования не только по отношению к моменту речи, но и по отношению к другому прошедшему действию. Подобное употребление предполагает в большинстве случаев отнесение обозначаемого действия (процесса) к отдаленному прошлому. Ср.: «Temná postava se zastavila u dveří pokoje, v němž *bydlíval* nešťastný Jan Václav Pikkolomini» (A. Jirásek); «Lítostně vzpomínala na ty chvíle, jak s ní *sedával*, jak pěkně rozmlouvali o tom a onom...» (A. Jirásek); «Navštívila se mnou dvůr „U Kvapilů" ...a vypravovala mi tam vše, co *slýchávala od* „dědka" našeho» (K. Světlá) «Aleš vyprávěl později svému příteli, jak *tehdy chodíval* na procházku za strahovskou bránu» (M. Míčko). В подобных случаях значение синтаксической и фактической отнесенности в давнему прошлому нередко поддерживается и значением соответствующих наречий (*tehdy*) и слов, прямо указывающих на давность предпрошедшего действия (*slýchávala od «dědka»*).

2. Употребление многократных глаголов в придаточных сравнительных предложениях с союзом *jako*. В этих конструкциях явственно обнаруживается значение обычного, узуального, постоянно совершающегося действия. Ср.: «Vykřikla, *jak křičívají* děti» (Vl. Vančura); «Přijď, jak vždy přicházíš, *jak přicházívá* jaro» (V. Nezval); «Přišla bez zazvonění, *jak chodívá* člověk k člověku» (L. Aškenazy).

Указанное значение обычного, узуального действия сохраняется и в случае замены многократного глагола соответствующим имперфективом: Ср.: *Vykřikla, jak křičí děti*; *Přišla, jak chodí člověk k člověku*.

3. Употребление многократных глаголов в сложноподчиненных предложениях с временным союзом *když* при наличии в главном или придаточном предложении глагола несовершенного вида. Эти условия предопределяют значение регулярного, повторяющегося через определенные промежутки времени действия и нередко вызывают употребление многократных глаголов. Ср.: «Takhle sedávala vždycky, když byla opilá» (Březovský); «To je ten [cimbál], na který jsi hrával, když jsi bláznil» (A. Jirásek); «To jsme vypadali jinak, když jsme se vracívali z letního cestování» (Fr. Trávníček, Mluvnice, стр. 1335). То же значения и у имперфективов: *Když jsem se vracel domů, nacházel jsem...*

4. Употребление многократных глаголов в конструкциях с дополнением *rád*. Такие конструкции имеют значение постоянного действия с оттенком излюбленной привычки. Ср. «Lípa dává stín, já pod ní *ráda sedávám*» (B. Němcová) «...я под ней люблю сидеть»; «A že *se* děti *ptávají rády*, to vědí... všichni pedagogové» (V. Hálek) «А что дети любят спрашивать, об этом знают...»; «*Rád* stařeček *povídává* o vdově a o pokladě» (K. J. Erben) «Старик любит рассказывать о вдове и о кладе».

5. Наличие в предложении множественного субъекта или объекта, что неизбежно предполагает повторяемость действия с оттенком его распределения, дистрибутивности[25]. Ср.: «...agenti v kamaších *mluvívali* s oblibou o Napoleonovi» (M. Pujmanová); «(Panička) ...na každého se mile usmívala, s každým *mluvívala* jen o tom co věděla, že ho těší» (K. Maralíková).

Конструкции иного грамматического и лексического состава более или менее безразличны к характеристике действия (процесса), обозначаемого многократным глаголом. Несущественна степень распространенности простого или сложного предложения, характер подчинительной или сочинительной связи. Однако при решении вопроса о минимальном кон-

[25] Ср.: B. Havránek, A. Jedlička, Česká mluvnice, стр. 228.

тексте необходимо принимать во внимание общую ситуацию высказывания, под которой мы понимаем примерно то же, что Е. Курилович и А. А. Реформатский[26]. Последние в определение контекста включают не только словесное окружение, но и «обстановку» речи (элементы внешней ситуации, которые определяют значение слов).

При анализе значений форм многократных глаголов необходимо учитывать также их семантику, так как в зависимости от семантической принадлежности многократные глаголы даже и в условиях минимального контекста могут иметь разные значения. Это является свидетельством зависимости категории многократности от лексики, что в свою очередь имеет немаловажное значение для определения характера категории многократности. Многократные глаголы можно в целом разделить на две большие семантические группы: глаголы действия и глаголы состояния.

1. Глаголы действия включают в себя глаголы движения и перемещения в пространстве (*nosívat*, *vracívat*), глаголы речи и действий, сопровождающихся звуками (*říkávat*, *klepávat*), глаголы конкретных и комплексных действий (*kupovat*, *budovat*) и др.

2. К статальным глаголам относятся глаголы со значением физического и психического состояния человека и состояния природы (*sedávat*, *stávat*, *mlčívat*, *trpívat*), небольшая группа глаголов «отношения» (реляционные) (*znávat*, *patřívat*) и глаголы «бытия» (*bývat*, *dlívat*). Вторая группа глаголов малочисленнее.

Чтобы определить в условиях минимального контекста значение большой группы глаголов действия, обратимся к примерам: «Vzpomínám si, j k *jsem jezdíval* do Prahy» (Svoboda) «Я вспоминаю, как ездил в Прагу»; «Co myslíte, babičko, *ptávala se* [panicka] Kehačky, umřu už brzy?» (K. Maralíková) «Как думаете, бабушка,— спрашивала [паничка] у Ржечажки,— я уже скоро умру?»; «*Tančívala jsem* doma, ale aby to nikdo neviděl» (Otčenášek) «Я танцевала дома, но так, чтобы никто не видел»; «Marketa se zachvèla. Můj bože, nadchází to, čeho se bála, nadchází smrt, kterou *volavála*» (V. Vančura) «Маркета начала дрожать. Боже мой, приходит то, чего она боялась, приходит смерть, которую она звала»; «*Vypravovávala* později synu svému, co se naplakala a div že si neusteskla» (A. Jirásek) «Позже она рассказывала своему сыну, как она наплакалась и чуть было не умерла с горя»; «No, a tu vidíš Barunku, o níž *jsem* vám doma *povídával* (B. Němcová) «Ну, а теперь ты видишь Барунку, о которой я рассказывал вам дома».

В приведенных и подобных предложениях, содержащих минимальный контекст, многократные глаголы *jezdíval*, *ptávala se*, *tančívala*, *volávala*, *vypravovávala*, *povídával* сигнализируют повторяемость названных действий, однако не дают информации о том, как часто совершалось это действие и через какие промежутки времени оно повторялось. Эти два признака в условиях минимального контекста остаются невыраженными, если они не вытекают из общей ситуации и не привносятся более широким контекстом или не обеспечиваются лексическим окружением, грамматическими связями, синтаксическими условиями употребления. Таким образом, при определении основного значения маркированных многократных глаголов на первый план выступает как количественная неопределенность повторяющихся действий, так и неопределенность, касающаяся пауз, промежутков времени, через которые действие повторялось или повторяется[27]. Основным значением многократ-

[26] Е. Р. Курилович, Заметки о значении слова, стр. 73—81; А. А. Реформатский, Введение в языкознание, М., 1955, стр. 77—78.

[27] На неправильную повторяемость значения многократных форм обращал внимание еще Г. К. Ульянов («Значения глагольных основ в литовско-славянском языке»,

ных глаголов действия является неопределенно-кратная повторяемость (неопределенная в двояком отношении).

Теперь рассмотрим в условиях минимального контекста глаголы состояния. «Tamhle v rohu *stávala* velká váza a přes obě okna byly dlouhé, rozhrnovací záclony» (Březovský) «Там в углу стояла большая ваза...»; «Okno v druhém poschodí. V druhém poschodí *bydlívala* Кама» (Březovský) «Окно на третьем этаже. На третьем этаже жила Кама»; «Vy to nevíte, ale *já* vás *míval rád*» (Řezáč) «Вы этого не знаете, но я вас любил»; «*Míval jsem* spolužáka, Šuster se jmenoval, říkali jsme mu Šuša» (Valenta) «У меня был соученик, его фамилия Шустер...»; «Jediný otec mě *miloval*» (Neruda) «Меня любил только отец»; «I Václav... *ted'* v hlučný *patřívал* dvůr...» (K. H. Mácha)«И Вацлав... теперь принадлежал шумному двору...». Как видно из примеров, глаголы *stávala*, *bydlívala*, *míval*, *miloval*, *patřívал* не сигнализируют о каком-либо повторении и выражают лишь неопределенную длительность, в данных предложениях отнесенную в план прошлого. Значение кратности, повторяемости процесса в приведенных предложениях не следует и из более широкого контекста и из общей ситуации. Сейчас мы оставляем в стороне вопрос о способности форм прошедшего времени статальных глаголов выражать отнесенность к отдаленному прошлому. Это значение (одно из возможных!), несомненно, вторичное. Важно подчеркнуть, что в период осуществления «действий», выражаемых статальными глаголами, «ничто не меняется, не возникает и не исчезает, „действие" это ни к чему не ведет, не создает никакого нового качества в субъекте или в объекте, не дает никакой перспективы, кроме перспективы монотонной, себе тождественной длительности»[28].

Отмеченное значение статальных и реляционных глаголов, обнаруженное в условиях минимального контекста, может проявляться и в условиях более широкого контекста, в частности в случаях временно́й локализации процесса, в том числе и при выражении значения отдаленного прошлого. Ср.: «Vodička před lety bydlíval v Praze» (J. Hašek) «Несколько лет тому назад Водичка жил в Праге»; «Bývala citlivá, až lítostivá. Tak jsem ji znával před zatčením» (J. Fučík) «Она была чувствительной, даже жалостливой. Такой я ее знал до ареста»; «Od té dody míval oči dvojnásob bystré pro všecko...» (M. Majerová) «С тех пор глаза его стали в два раза зорче...»; «Za dávných, dávných časů stával nad Orlicí řekou, tam, kde nyní město Kostelec, nádherný kostel» (A. Jirásek) «В давние, давние времена над Орлицей рекой... стоял великолепный костел».

Для выражения неопределенно-длительного состояния в чешском языке может употребляться глагол *bývati* в составе сложного сказуемого. В этом случае именная часть сказуемого бывает выражена либо существительным (при этом сложное сказуемое выступает со значением «быть кем-либо, выполнять какие-либо функции»), либо прилагательным (сложное сказуемое содержит качественную характеристику субъекта). Ср.: «A co zažil tenhle chlapec? Říká o sobě, že býval komunistou» (Březovský)

ч. II, Варшава, 1895, стр. 125 и сл.); на неопределенную кратность основ многократных глаголов в русском языке указывали и Ф. Ф. Фортунатов («Разбор сочинения Г. К. Ульянова „Значение глагольных основ в литовско-славянском языке"», Сб. ОРЯС, LXIV, 11, 1899, стр. 105—106), и А. Х. Востоков («Русская грамматика», СПб., 1831, стр. 102). В. В. Виноградов определяет многократность как «раздельнократную» повторяемость действия с промежутками времени («Русский язык», М.— Л., 1947, стр. 505), подчеркивая момент раздельности отдельных составляющих процесс звеньев. Ср. также: I. Poldauf, Atemporálnost jako gramatichá kategorie českého slovesa?, SaS, XI, 3, 1949, стр. 125.

[28] Ю. С. Маслов, Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида, М., 1958, стр. 18.

«А что пережил этот парень? Он говорит о себе, что был коммунистом»; «Býval dojičem krav u litevských hranic» (J. Fučík) «Он доил коров (был дояром)...»; «Sám sebe pokládal za lepšíno člověka, nebot' býval školníkem» (M. Majerová) «Сам себя он считал достаточно хорошим человеком, потому что он был школьным сторожем»; «Kozina! Srdce se jim sevřelo. To je ten statný, jenž býval krev a mléko» (A. Jirásek) «Козина!... Это тот статный, который был как кровь с молоком»; «Jsi churav? Bývals pln živobytí» (J. Neruda) «Ты болен? Ты был полон жизни»; «Bývala tak drobounká, ted' najednou kvér na ramenou» (Březovský) «Она была такой маленькой, а теперь вдруг винтовка на плече». Значение длительности — а не повторяемости — в случае временной локализации сохраняется и здесь: «Vona, když byla mladá, byla docela hezká» (K. Maralíková) «Когда она была молодой, она была совсем красивой».

Таким образом, в определенных условиях категория многократности не смогла преодолеть сопротивление лексического материала, не смогла преодолеть сопротивление семантики статальных и реляционных глаголов, у которых, несмотря на наличие формального показателя кратности, значение кратности остается невыраженным[29]. Правда, употребительность многократных глаголов первой и особенно второй группы в условиях минимального контекста чрезвычайно мала. Как правило, многократные глаголы всех семантических групп употребляются с самыми различными показателями кратности, выражая при этом такие оттенки повторяемости, которые обеспечивает контекст. При этом важно подчеркнуть, что основное значение многократных глаголов — неопределенная кратность — позволяет им вступать в сочетание с любыми показателями кратности, кроме тех, которые обозначают, что действие совершалось определенное число раз. Поэтому, например, можно сказать: *často říkával, zřídkakdy říkával, obyčejně říkával, několikrát říkával* и т. д., но нельзя сказать *říkával to třikrát, desetkrát* и т. д. В подобных случаях употребляются либо соответствующие имперфективы, либо даже перфективные глаголы: *říkal / řekl jsem mu to desetkrát.*

Указанное обстоятельство лишний раз подтверждает, что основным значением маркированных многократных глаголов является именно неопределенная повторяемость, а не значение частой регулярной или, напротив, редкой нерегулярной повторяемости, так как в этих случаях многократные глаголы не могли бы сочетаться с показателями повторяемости, исключающими те значения, которые заложены в основе глагола[30]. Присоединение наречий способствует обнаружению тех смысловых оттенков, которые потенциально заложены в самой форме. Основное значение неопределенной повторяемости реализуется в большой гамме значений, оно уточняется, конкретизируется, дополняется различными средствами контекста.

После «освобождения» основного значения маркированных многократных глаголов от наслоений контекста необходимо обратиться к сопоставлению их с теми имперфективными глаголами, которые являются их коррелятами и с которыми многократные глаголы обнаруживают семанти-

[29] Аналогичную точку зрения занимает Г. Кёльн (сб. «Славянская филология», I, София, 1963, стр. 156). Иная точка зрения представлена у Ф. Копечного («Slovesný vid», § 9), который считает, что в подобных случаях речь идет о повторяемости нашего восприятия.

[30] Мы не можем согласиться с утверждением Е. Н. Прокопович, которая полагает, что употребление многократных глаголов с наречиями (особенно с наречиями, указывающими на редкую повторяемость типа «иногда») свидетельствует об ослаблении значения неоднократной повторяемости (см.: Е. Н. Прокопович, Функции многократных бесприставочных форм глагола в русском литературном языке второй половины XIX в., ВЯ, 1963, 2, стр. 97—98).

ческую и структурную соотносительность. Фр. Травничек полагает, что по сравнению с глаголами типа *chodit*, выражающих регулярную, обычную повторяемость действия, глаголы типа *chodívat* обозначают нерегулярное, временами повторяющееся действие. Ср. *chodím do divadla* «обыкновенно, регулярно, часто хожу», *chodívám do divadla* «хожу иногда, нерегулярно»[31]. Фр. Копечный, разделяя точку зрения Фр. Травничка на значение многократных глаголов, добавляет: если бы на вопрос *a chodí dítě do školy?* родители ответили бы формой *chodívá*, ответ показался бы подозрительным и уклончивым. Последнему факту легко найти объяснение, если основным значением многократных глаголов считать значение неопределенной повторяемости, которое для формы *chodívá* никак не может быть понято как означающее регулярное хождение в школу. Однако принимать при этом значение нерегулярности также нет оснований.

*

Особого рассмотрения требует вопрос о соотношении основного значения маркированных многократных глаголов со значениями временных категорий.

Фр. Копечный, а вслед за ним И. Немец исходят из того, что повторяемость у маркированных многократных глаголов имеет характер семантический, в то время как значение неактуальности, которое является основным значением многократных глаголов, имеет характер грамматический[32]. Вопрос о том, носит ли противопоставление актуальности — неактуальности в чешском языке грамматический характер, является спорным, однако выражение неактуального настоящего действительно представляет собою основную функцию многократных глаголов в настоящем времени, хотя основным значением многократных глаголов является выражение неопределенной повторяемости. Между функциональным значением форм настоящего времени и основным категориальным значением многократных глаголов существует прямая зависимость. Так же как глаголы совершенного вида по своей семантике не способны выражать актуальное настоящее, а выражают либо будущее, либо неактуальное настоящее, так и многократные глаголы, обозначающие неограниченную никаким пределом раздельно-кратную повторяемость, в формах настоящего времени могут обозначать только неактуальное настоящее, которое в конкретных условиях контекста выступает то как обычное, узуальное или излюбленное действие («Já píši, jak psávají ta skromná media» — V. Nezval), то как действие часто, регулярно совершающееся («Neřekl, že mívá často děsivé sny» — A. Jirásek; *V neděli býváme všichni pohromadě*» — L. Aškenazy), то как действие нерегулярное, эпизодическое («Mívá též občasné silné bolení hlavy» — J. Hašek; «Zřídkakdy ke mně chodívá odpoledne» — K. H. Mácha). Следует подчеркнуть, что грамматикализированное временное значение неактуальности, реализующееся в различных оттенках значения и вытекающее из неопределенной повторяемости процесса, является функциональным, связанным со значением презентной формы и тем самым вторичным по отношению к основному значению глаголов.

[31] Fr. Trávníček, Mluvnice..., стр. 1334—1335. Ср. также: Fr. Kopečný, Slovesný vid, стр. 20. Подобную же точку зрения см. в статье: D. Castagnou, Quelques remarques sur l'aspect verbal dans les langues slaves; см. также: З. Н. Стрекалова, К вопросу о многократных глаголах в современном польском языке, «Уч. зап. Ин-та славяноведения [АН СССР]», XXIII — Проблемы славянского языкознания, 1962, стр. 114 и сл.

[32] Fr. Kopečný, Slovesný vid, стр. 16; I. Němec, Fr. Kopečný, Slovesný vid v češtině, «Slavia», XXXII, 1, 1963; J. Němec, K vyjadřování opakovanosti slovesného děje v češtině, SaS, XXV, 3, 1964.

При определении значения форм прошедшего времени многократных глаголов ученые сходятся в том, что претеритальные формы обозначают давнопрошедшее время. Б. Гавранек и А. Едличка подчеркивают, кроме того, и момент стилистический: «формы типа *chodíval* (*k nám*), *chodívával* (*tam rád*) имеют еще эмоционально-окрашенный оттенок воспоминания о давнем прошлом»[33]. В целом же, как писал Фр. Копечный, различия между типом *nosil* и *nosíval* воспринимаются как временные: *nosíval* обозначает более отдаленное прошлое (dávnější minulost)[34]. Фр. Копечный, И. Польдауф и И. Немец полагают также, что прошедшее время многократных глаголов выражает неактуальность действия[35]. В русской лингвистической науке формы прошедшего времени многократных глаголов также принято называть формами давнопрошедшего времени.

Однако привлекаемые в качестве иллюстраций примеры со значением давнопрошедшего времени обычно содержат лексические показатели отнесенности процесса к отдаленному или давнему прошлому, что, безусловно, затемняет собственное значение формы[36]. В связи с этим заслуживает большого внимания мнение А. В. Исаченко, который считает, что разница между русскими глаголами *хаживал* и *бросал* «не сводится к разнице между „давнопрошедшим" и „прошедшим", а только к разнице между формой с эксплицитно выраженной многократностью (*хаживал*) и формой, только имплицитно допускающей выражение многократности (*бросал*)». И далее: «если... форму *хаживал* заменить формой *ходил*, то общее значение уздального действия в „далеком прошлом" ничуть не изменится... Представляется, что формы типа *хаживал* приобретают значение „отнесенности к далекому прошлому" лишь в „благоприятном" контексте (*лет восемь назад*; *в молодости он хаживал*; *раньше он хаживал*; *бывало, он хаживал*). Сами по себе многократные формы такого значения не имеют»[37].

Действительно, материал современного чешского языка также показывает, что значение отнесенности процесса к далекому или отдаленному прошлому не является собственной принадлежностью форм прошедшего времени многократных глаголов в условиях минимального контекста; оно, как правило, возникает либо в особых условиях контекста (обычно при наличии лексических показателей отнесенности к давнему, глубокому прошлому), либо определяется общей ситуацией (например, описание деяний предков, давно минувших времен и пр.). Ср. значение многократных форм в следующих примерах, в которых отсутствуют лексические показатели отнесенности к давнему прошлому, но наличествуют лексические показатели регулярности, узуальности или, напротив, эпизодичности действия: «Hrávali jsme spolu od rána do večera» (Selinger); «V sobotu se všichni koupávali» (M. Majerová); «Mařenka Stuhlíková psávala každý měsíc» (M. Majerová); «Tu jsme stávali denně čelem u zdi, abychom neviděli, co se za nami děje» (J. Fučík); «Růža ji někdy vídala chodit s Gamzou do kanceláře» (M. Pujmanová); «Vypravovávala později synu svému, co se naplakala...» (A. Jirásek); «Často ted' slýchával...» (A. Jirásek). В таких примерах, число которых можно увеличить, значение или оттенок

[33] B. Havránek, A. Jedlička, Česká mluvnice, стр. 227.

[34] Fr. Kopečný, Slovesný vid v češtině, стр. 20; его же, Základy české skladby, Praha, 1958, стр. 101.

[35] Fr. Kopečný, Dva příspěvky k vidu a času v češtině, SaS, X, 3, 1948; его же, K neaktuálnímu významu dokonavých sloves v češtině, SaS, XI, 2, 1949; I. Poldauf, Atemporálnost jako gramatická kategorie českého slovesa?

[36] Ср.: Fr. Trávníček, указ. соч., стр. 1335; ср. также: В. Г. Барановская, Из истории многократных глагольных форм в русском языке. Канд. диссерт., М., 1956, стр. 62.

[37] А. В. Исаченко, Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким, II, Братислава, 1960, стр. 432.

значения отнесенности к давнему прошлому отсутствует. Более того, в некоторых предложениях имеются показатели отнесенности к недавнему прошлому (*ted' slýchával*); обычным же является значение регулярного, узуального действия (*denně jsme stávali*, *často slýchával*), которое не согласуется с обязательностью значения давнего или отдаленного прошлого.

Чем же объясняется утверждение большинства лингвистов, что формы прошедшего времени многократных глаголов выражают отнесенность к давнему прошлому? В этом случае также помогает сопоставление с соответствующими имперфективными глаголами. Значение неопределенности легко связывается в сознании говорящего со значением большей длительности и отдаленности. Поэтому при наличии в плане прошлого двух временных плоскостей план более отдаленного прошлого выражается (хотя и очень непоследовательно) многократными глаголами. Особенно выразительно этот оттенок значения обнаруживается у статальных и реляционных глаголов, а также у глаголов бытия не только при употреблении соответствующих указателей, но и без них[38]. Ср.: «Zdejší kraj, drahá Adelaido, býval pln stínných doubrav, jak o tom ještě leckteré zbytky lesů nasvědčují» (M. Majerová); «...půjde krajinou pouhá pověst, že zde *někdy* stával hrad, a po čase i ta s pamětníky jeho zemře» (K. H. Mácha); «Tam dole u Tbilisi ční třpytící se svah, tam bydlívala *kdysi*, tam dole u Tbilisi královna Tamara» (V. Nezval).

Таким образом, речь идет не об особом временном значении (давнопрошедшее время), а скорее о частных временных оттенках в рамках значения форм прошедшего времени, выражающих отнесенность к плану прошлого. Речь идет об использовании особой семантики многократных глаголов для выражения частных временных значений.

Разделяя точку зрения И. Польдауфа на то, что неактуальность является чертой сопутствующей, сопровождающей значение кратности[39], мы, в отличие от И. Немеца[40], считаем, что возникающее в определенных условиях значение давнопрошедшего времени определяется не значением неактуальности, а основным значением неопределенной кратности, хотя не отрицаем того факта, что при транспозиции единичного действия, проходящего в момент речи, в план прошлого, многократные глаголы неспособны сопровождать указанное действие.

Сфера употребления многократных глаголов стилистически ограничена, сами они являются стилистически признаковыми. Поэтому естественно, что в прошедшем времени нередко появляется и особый стилистический оттенок отнесенности к давнему прошлому, обусловленный не только семантикой многократных глаголов, но и сферой их функционирования.

Все это еще раз свидетельствует о необходимости разграничения основного, главного значения многократных глаголов и значений вторичных, вариантных, появляющихся в определенных лексико-синтаксических условиях их употребления, т. е. необходимости разграничения значения категории, форм и условий речи.

Изучение дистрибуции многократных глаголов в различных речевых условиях показывает, что основное значение исследуемой категории (неопределенно-кратная повторяемость) является в то же время и ее наиболее общим значением. В условиях оптимального контекста глаголы всех семантических групп выражают общее значение раздельно-кратной повторяемости, которое в разных речевых условиях реализуется по-разному.

[38] Ср.: А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 433.

[39] I. Poldauf, Souhrnný pohled na vid v nové češtině, SaS, XXV, 1, 1964, стр. 48.

[40] I. Němec, K vyjadřování..., стр. 159.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1965

М. М. КОПЫЛЕНКО

К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ СОЧЕТАЕМОСТИ ЛЕКСЕМ

В настоящем сообщении излагаются результаты изучения сочетаемости определенной группы глагольных лексем с определенной группой субстантивных лексем современного русского языка [1] в пределах дистрибутивной формулы $N_n^1\ V\ N_a^2$ [2].

В группу глагольных лексем входят семь единиц: *будить*, *возбудить*, *вызвать*, *породить*, *пробудить*, *разбудить*, *рождать*. Они являются представителями структурно детерминированного класса, выделенного по методу, предложенному Ю. Д. Апресяном [3]. Для выделения этого класса было продолжено ветвление дерева значений, изображенного Ю. Д. Апресяном в одной из указанных работ.

Группа субстантивных лексем состоит из 50 интуитивно отобранных названий чувств. Эти названия примерно соответствуют определению, принятому современной психологией [4]. Выделить при помощи объективных методов класс названий чувств в настоящее время не представляется возможным по следующим причинам: 1) отсутствуют взаимнооднозначные соответствия между означаемыми и означающими; например: а) разные чувства обозначаются одним названием *любовь* (*л ю б о в ь к матери*, *л ю б о в ь к знанию*, *л ю б о в ь к музыке*, *л ю б о в ь к труду*), б) разным названиям *страх* и *боязнь* соответствует, по-видимому, одно чувство; 2) в психологической литературе нет описания и систематизации отдельных чувств [5], ввиду чего не может быть произведено деление означаемых на семантические множители.

Сочетаемость лексем может изучаться либо путем обследования литературных текстов, либо с помощью информантов. Из этих двух возможностей мы выбрали вторую. Обследование текстов — трудоемкий и длительный процесс, в результате которого отдельные аспекты изучаемого явления могут не получить освещения. Анализ сотен тысяч словоупотреблений в текстах разных стилей и жанров может не дать ответов на следующие вопросы: возможно ли сочетание глагольной лексемы *будить*

[1] Термин «лексема» как более строгий предпочитается термину «слово». В дальнейшем для простоты изложения будут употребляться в качестве синонимов выражений «глагольная лексема» и «субстантивная лексема» также термины «глагол» и «существительное».

[2] Принимается обычная нотация: N — субстантивная лексема, V — глагольная лексема; маленькие буквы означают падежи.

[3] См.: Ю. Д. А п р е с я н, Дистрибутивный анализ значений и структурные семантические поля, «Лексикографический сборник», 5, 1962; е г о ж е, К вопросу о структурной лексикологии, ВЯ, 1962, 3; е г о ж е, О понятиях и методах структурной лексикологии, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962; е г о ж е, Современные методы изучения значения и некоторые проблемы структурной лингвистики, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1963.

[4] «Чувства... есть своеобразная форма отражения действительности, в которой выражаются субъективные отношения человека к миру» (П. М. Я к о б с о н, Психология чувств, М., 1958, стр. 24).

[5] Ср.: Т. Р и б о, Психология чувств, СПб., 1898; С. Л. Р у б и н ш т е й н, Основы общей психологии, М., 1946.

с субстантивной лексемой *опасение*? Какое сочетание предпочтительнее: *возбудить подозрение* или *вызвать подозрение*? и т. д. Работа с информантами позволяет в короткий срок получить результаты в заданном объеме. Нельзя при этом отрицать, что данные, извлеченные из текстов, обладают гораздо большей надежностью и достоверностью. Метод работы с информантами не лишен серьезных недостатков. На нашу работу с информантами, в частности, оказали отрицательное влияние следующие факторы: 1) неодинаковая у разных информантов степень владения нормами литературного языка; 2) неодинаковое «языковое воображение» или, иначе, смелость конструирования различных речевых ситуаций; 3) утомляемость, связанное с ней притупление языкового чутья и вызванное этим снижение эффективности оценки к концу списка; 4) паронимические ассоциации и вызванное этим смешение глагола *рождать* с глаголом *породить*, глагола *будить* с глаголами *пробудить* и *разбудить*.

Тем не менее, в отношении некоторых ярко выраженных явлений удалось, как нам кажется, получить достоверные абсолютные данные, а по ряду других явлений — полезные сведения относительного характера.

Мы работали с 20 информантами, которые характеризуются следующими данными: в возрасте до 20 лет — 2 человека, 20—30 лет — 9 человек, 30—50 лет — 7 человек и свыше 50 лет — 2 человека; 14 человек имеют высшее образование, 4 — неполное высшее, 2 — среднее. Для всех информантов русский язык родной, и все они владеют нормами литературного языка без какой-либо профессиональной, просторечной, диалектной или иноязычной окраски.

Каждому информанту была поставлена задача: определить, возможны или невозможны данные сочетания вне зависимости от лексического окружения, жанра, стиля или других признаков речевой ситуации. 10 информантам был предложен тест: «Можно ли данный глагол соединить с данным существительным?». Предоставлялась возможность дать один из четырех ответов, каждому из которых выставлялась оценка по четырехбалльной системе: «да»—3, «скорее да» — 2, «скорее нет» — 1, «нет» — 0. Другим 10 информантам вручался список, содержавший семь упомянутых выше глаголов, и предлагался тест: «С каким из данных глаголов вы предпочли бы соединить данное (названное нами.— *М. К.*) существительное? Если возможно соединение с несколькими глаголами, назовите их в порядке убывающей возможности». Каждая серия, состоявшая из одного или нескольких глаголов, получала оценки: 1 и 2 места — 3; 3 и 4 места — 2; 5, 6 и 7 места — 1. Глаголы, совсем не названные информантами, получали нулевую оценку. Таким образом, второй тест дал так же, как и первый, 3500 ответов, и данные обоих тестов оказались сопоставимыми.

Всех ответов по 350 глагольно-субстантивным сочетаниям оказалось 7000. Каждое глагольно-субстантивное сочетание могло получить максимальную оценку — 60 (20 × 3) и минимальную оценку — нуль. Общее количество баллов, полученных для всех 350 сочетаний по первому тесту,— 5057, а по второму тесту — всего лишь 3450. Однако ранговый коэффициент и коэффициент корреляции (см. ниже, стр. 89) настолько высоки, что возможность использования суммарных данных по обоим тестам не вызывает никаких сомнений[6].

Несмотря на упомянутые выше обстоятельства, снижавшие точность ответов, 16 глагольно-субстантивных сочетаний получили крайние оцен-

[6] См. приведенные ниже сводные данные о количество баллов, полученных каждым глаголом и каждым существительным.

ки: а) балл 60: *вызвать восхищение* и *вызвать недоумение*; б) балл 0: *будить смущение, тоску, уныние*; *возбудить замешательство, отчаяние, смущение*; *разбудить брезгливость, боязнь, восторг, восхищение, замешательство, отвращение, отчаяние, уныние*. Указанные сочетания были единодушно одобрены или единодушно отвергнуты всеми 20 информантами.

Мы, однако, считаем достаточно убедительными также показатели, находящиеся в пределах 59—55 и 1—5. Принимая во внимание возможность случайных ответов, не соответствующих языковой действительности и реальному языковому узусу информантов, можно утверждать, что сочетание абсолютно одобрено, если оно получило не меньше 55 баллов, или абсолютно отвергнуто, если оно получило не более 5 баллов. Такими оказались 54 сочетания: а) балл 59—55: *возбудить интерес*; *вызвать брезгливость, волнение, восторг, жалость, замешательство, злобу, интерес, ликование, неприязнь, обиду, отвращение, отчаяние, подозрение, презрение, радость, смущение, сострадание, сочувствие, страх, тревогу, уверенность, угрызение совести, удивление, уныние*; б) балл 1—5: *будить бодрость, восхищение, гордость, замешательство, отчаяние, презрение*; *возбудить уныние*; *породить восторг*; *пробудить восхищение, замешательство, ликование, смущение*; *разбудить бодрость, боязнь, веселье, досаду, ликование, неприязнь, неуверенность, презрение, радость, уверенность*; *рождать боль, ликование, отвращение, смущение, угрызение совести, удивление*.

Общая оценка всех 25 сочетаний, получивших балл 59—55, —421. Из «утерянных» 79 баллов[7] 41 приходится на ответ «скорее да» (41 × 1), 20 — на ответ «скорее нет» (10 × 2) и лишь 18 на ответ «нет» (6 × 3). Аналогичная картина наблюдается и в области сочетаний с баллом 1—5. Общая оценка 29 сочетаний — 100 — складывается из 15 ответов «да», 17 — «скорее да» и 21 — «скорее нет».

Таким образом, четко обозначилась возможность или невозможность 70 из предложенных информантам 350 сочетаний. Упомянутые выше помехи не могли повлиять на однородность показаний. Как бы ни были утомлены информанты, независимо от их «языкового воображения» и уровня владения литературной нормой, они очень редко колебались, когда нужно было принять решение о правильности или неправильности употребления таких сочетаний, как *вызвать восхищение, злобу, недоумение* и т. п.; *будить боязнь, гордость, отчаяние* и т. п.

Анализ ответов показывает, что информанты в ряде случаев руководствовались соображениями предметно-логического характера. Так, например, сказать *будить* (*разбудить*) *бодрость* (*веселье*) нельзя потому, что, как метко заметил один из информантов, «в понятиях „бодрость“ и „веселье“ уже заложено то, что нужно выразить глаголами *будить* или *разбудить*». С другой стороны, нельзя сказать *будить* (*возбудить, пробудить, разбудить*) *уныние* из-за невозможности сочетать «активные» глаголы с названием чрезвычайно «пассивного» чувства.

Однако нельзя объяснить предметно-логическими причинами, почему сочетание *вызвать недоумение* получило балл 60, а *вызвать бодрость* — балл 34, *вызвать мужество* — балл 20, *вызвать отвагу* — балл 18. Вполне очевидно, что информанты в данном случае руководствовались не предметно-логическими мотивами, а усвоенной ими языковой традицией. Та же традиция подсказывала информантам решение, когда им нужно было определить возможность или невозможность

[7] Если бы все информанты дали ответ «да» на тесты, относящиеся к этим сочетаниям, общий балл был бы равен 500 (20 × 25).

сочетаний *возбудить интерес* (55), *возбудить стремление* (30), *возбудить досаду* (26), *возбудить обиду* (11).

Возможно, что с этой точки зрения представляют интерес не только сочетания, находящиеся в пределах показателей 60—55 и 5—0, но и такие сочетания, которые находятся в пределах показателей 54—50 и 6—10. Мы приводим эти сочетания, хотя отчетливо сознаем, что в данном случае у нас гораздо меньше оснований для суждения об их абсолютной возможности или невозможности: а) балл 54—50: *возбудить желание, зависть, любопытство, подозрение, равность*; *вызвать боль, веселье, гнев, досаду, желание, зависть, любопытство, неприязнь, неуверенность, опасение, ревность, сомнение, тоску*; б) балл 6—10: *будить боязнь, брезгливость, восторг, ликование, неверие, неуверенность, обиду, печаль, удивление*; *возбудить печаль, угрызение совести*; *породить веселье, восхищение, ликование, радость*; *пробудить боль, веселье, восторг, уныние*; *разбудить боль, волнение, мужество, неверие, недоумение, ненависть, опасение, печаль, тоску*; *рождать брезгливость, веселье, волнение, восторг, восхищение, гнев, досаду, жалость, зависть, злобу, любопытство, неприязнь, презрение, радость, сострадание, уныние*. Всего 63 сочетания, а вместе с предыдущими — 123.

Большой разнобой в оценке остальных 227 сочетаний (около 67% всего количества) можно объяснить тем, что они употребляются в таких лексических окружениях, которые не были известны или не приходили в голову информантам в момент испытания. Так, например, чтобы ответить «да» на вопрос, можно ли соединить глагол *будить* с существительным *отвага*, информант должен был себе представить речевую ситуацию, в большей или меньшей степени подобную той, которую мы находим в пушкинской «Полтаве»: «Повсюду тайно сеют яд Его подосланные слуги. Там на Дону казачьи круги Они с Булавиным мутят; Там *будят* диких орд *отвагу*...». Из 20 информантов 5 ответили на предложенный вопрос «да», 3 — «скорее да», 1 — «скорее нет» и 11 — «нет». Сочетание *будить отвагу* оказалось слишком специальным, входящая в него лексема *отвага* трудно предсказуемой, неизбыточной. В сознании большинства информантов превалировало предметно-логическое (денотативное) значение глагола *будить* («прекращать сон»). Это привело к тому, что ему не было дано положительной оценки. Оно получило, согласно принятой нами системе, балл 22 ($3 \times 5 + 2 \times 3 + 1 \times 1 + 0 \times 11$).

Те же причины привели к низкой оценке сочетания *пробудить волнение*, получившего балл 14 ($3 \times 3 + 2 \times 2 + 1 \times 1 + 0 \times 14$) (ср. у Е. Баратынского: «В душе моей одно *волненье*, а не любовь *пробудишь* ты»). Ср., однако, гораздо более высокую оценку сочетания *пробудить любовь*, иллюстрацией которого также служат строки из Е. Баратынского. Это сочетание получило балл 31 ($3 \times 5 + 2 \times 7 + 1 \times 2 + 0 \times 6$). Указанный факт может служить свидетельством того, что лексема *любовь* в положении после лексемы *пробудить* менее избыточна, чем лексема *волнение*. Аналогично складываются отношения между сочетаниями *разбудить любовь* (балл 28: $3 \times 6 + 2 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 8$) и *разбудить волнение* (балл 10: $3 \times 2 + 2 \times 1 + 1 \times 2 + 0 \times 15$).

«Средний балл» (между 49 и 11) можно объяснить также отсутствием строгих правил соединения лексем, постулируемым А. Б. Долгопольским вероятностным характером связи означаемого с означающим [8]. Видимо, сочетания *возбуждать боязнь* и *вызывать боязнь* получили примерно одинаковый невысокий балл (31 и 36) потому, что входящие

[8] А. Б. Долгопольский, Категория вида в русском языке и вероятностный характер связи означаемого с означающим, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1963

в их состав глаголы в ряде случаев взаимозаменимы. Более подробные сведения могут быть получены из тестов подстановочного характера, например: «Чудовища, спускавшиеся с гор (возбуждали, вызывали), в людях боязнь за своих детей и имущество» и под.

Полученные данные позволяют охарактеризовать не только отдельные словосочетания, но и особенности сочетаемости глагольных лексем с субстантивными лексемами (и субстантивных лексем с глагольными лексемами) в целом. Наглядно это представлено в двух таблицах.

Таблица 1

Распределение оценок по глаголам

Глаголы	I тест		II тест		Сводные данные	
	балл	место	балл	место	балл	место
Будить	605 [1]	5	201 [1]	5	806 [2]	5
Возбудить	875	2	635	2	1510	2
Вызвать	1338	1	1241	1	2579	1
Породить	782	3	577	3	1359	3
Пробудить	648	4	548	4	1196	4
Разбудить	333	7	149	6	482	7
Рождать	476	6	99	7	575	6

[1] Этот и следующие баллы в данной колонке из 1500 возможных (30×50).

[2] Этот и следующие баллы в данной колонке — из 3000 возможных (60×50).

Статистическое сравнение тестов дает очень высокие показатели: ранговый коэффициент (по формуле $\rho = 1 - \frac{\sigma \cdot d^2}{n(n^2-1)}$ [9]) — 0,99; коэффициент корреляции (по формуле

$$r = \frac{\Sigma (x-\bar{x})\cdot(y-\bar{y})}{\sqrt{\Sigma (x-\bar{x})^2 \cdot \Sigma (y-\bar{y})^2}}$$ [10]) — 0,96.

Максимальную оценку получил глагол *вызвать*. Наименьший балл, полученный сочетанием с этим глаголом, равен 20 (*вызвать мужество*). Это как бы универсальный глагол, глагол-заместитель, который может выступать вместо других глаголов в большинстве анализируемых сочетаний. Эта особенность глагола *вызвать* объясняется несомненно тем, что он в данной модели утратил какое бы то ни было предметно-логическое (денотативное) значение. Следующее место занимает глагол *возбудить*, в котором денотативное значение в какой-то мере сохранилось. Больше всего оно ощущается в глаголах *разбудить* и *рождать*, занимающих 6 и 7 места. Представляется возможность выдвинуть гипотезу о том, что глаголы *вызвать*, *возбудить* и *породить* выступают чаще в собственно языковом (коннотативном) значении [11], в то время как глаголы *будить*, *пробудить*, *разбудить* и *рождать* употребляются чаще

[9] И. Г. Венецкий, Г. С. Кильдишев, Основы математической статистики, М., 1963, стр. 263.

[10] И. П. Ашмарин, А. Д. Воробьев, Статистические методы в микробиологических исследованиях, Л., 1962, стр. 67.

[11] См.: М. М. Копыленко, Об устойчивости глагольно-именных словосочетаний в старославянском языке, «Тези доповідей V міжвузівської республіканської славістичної конференції 25—30 вересня 1962 року», Ужгород, 1962; его же, К определению объема, структуры и задач фразеологии, сб. «Синхроническое изучение различных ярусов структуры языка», Алма-Ата, 1963.

Таблица 2

Распределение оценок по существительным[1]

Существительные	I тест			II тест		
	балл	место	наибольший балл в сочетании с глаголом	балл	место	наибольший балл в сочетании с глаголом
бодрость	47	48	3,14	49	48—49	3,20
боль	73	39	3,27	66	32—33	3,23
боязнь	49	47	4,15	84	13	3,23
брезгливость	84	30	3,30	65	34—35	3,28
вера	116	17	4,24	82	18—19	3,20
веселье	78	35	3,27	61	38—39	3,27
волнение	89	27	3,30	63	36—37	3,26
восторг	53	45	3,29	68	29—30	3,30
восхищение	45	49—50	3,30	43	50	3,30
гнев	113	18—19	3,29	77	21	3,24
гордость	81	31—32	5,20	73	25	3 и 4,17
досада	80	33	3,26	60	40—44	3,25
жалость	138	12—13	3,30	90	5—6	2 и 3,27
желание	191	1	3,30	99	4	3,23
зависть	142	9	2 и 3,30	83	14—17	3,24
замешательство	56	44	3,27	55	47	3,30
злоба	113	18—19	3,30	83	14—17	3,26
интерес	178	2	2 и 3,30	103	2	3,26
ликование	45	49—50	3,30	60	40—44	3,26
любовь	106	21	2 и 3,23	88	8	3,25
любопытство	158	4	1 и 2 и 3,30	100	3	3,23
мужество	77	36	1 и 2,16	71	27—28	6,23
надежда	141	10—11	1,28	104	1	2 и 3,24
неверие	97	23	3,27	63	36—37	4,19
недоумение	101	22	3,30	60	40—44	3,30
ненависть	138	12—13	3,30	90	5—6	3,24
неприязнь	109	20	3,27	83	14—17	3,28
неуверенность	88	28	3,28	72	26	4,25
обида	85	29	3,27	68	29—30	3,30
опасение	94	24	3,28	87	9—11	3,25
отвага	75	37—38	1 и 6,15	60	40—44	5,16
отвращение	93	25	3,30	74	24	3,28
отчаяние	68	41	3,28	67	31	3,29
печаль	79	34	3,24	59	45	3,23
подозрение	145	8	3,30	87	9—11	3,26
презрение	72	40	3,30	61	38—39	3,26
радость	75	37—38	3,28	66	32—33	3,30
ревность	174	3	2 и 3,30	89	7	3,23
смущение	50	46	3,29	49	48—49	3,30
сомнение	154	6	4,27	87	9—11	3,25
сострадание	128	15	3,28	76	22—23	3,28
сочуствие	135	14	3,29	82	18—19	3,29
страх	141	10—11	3,30	86	12	3,27
стремление	150	7	3,29	71	27—28	3,20
тоска	67	42	3,28	76	22—23	3,25
тревога	155	5	2 и 3,30	83	14—17	3,29
уверенность	125	16	4,27	65	34—35	3,30
угрызение совести	81	31—32	3,29	80	20	3,26
удивление	90	26	3,30	60	40—44	3,29
уныние	61	43	3,28	57	46	3,27

[1] Балл любого существительного по каждому тесту — из 210 возможных (30 × 7). В графе «Наибольший балл...» первая цифра указывает глагол (1. *будить*, 2. *возбудить*, 3. *вызвать*, 4. *породить*, 5. *пробудить*, 6. *разбудить*, 7. *рождать*), а вторая цифра — полученный существительным в соединении с данным глаголом балл.

в денотативном значении. Конкретно это означает, что сочетания типа *вызвать сомнение, удивление...* употребляются чаще, чем сочетания типа *вызвать* (*кого-либо из аудитории*), а сочетания типа *разбу-*

д и т ь (*кого-либо*) чаще, чем сочетания типа *р а з б у д и т ь надежды, стремления...*

Отметим попутно, что в 2500 наиболее частотных слов современного русского языка входит из рассматриваемых нами глаголов только один — *вызвать*.

Ранговый коэффициент — 0,89, коэффициент корреляции — 0,72. Эти данные ниже, чем данные по глаголам, однако они достаточно высоки, чтобы признать тесты коррелирующими.

Как и следовало ожидать, наибольшее число существительных в обоих тестах сочетается с глаголом *вызвать*, отклонения встречаются лишь в восьми случаях в первом тесте и в двух случаях во втором тесте: I тест: *б у д и т ь надежду*, *б у д и т ь* и *в о з б у д и т ь мужество*; *б у д и т ь* и *р а з б у д и т ь отвагу*; *п о р о д и т ь боязнь, веру, сомнение, уверенность*; *п р о б у д и т ь гордость*; II тест: *п р о б у д и т ь отвагу*; *р а з б у д и т ь мужество*. Всего таких существительных восемь, так как во втором тесте нет существительных, отличных от существительных первого теста. Характерно, что только три сочетания из десяти имеют баллы выше 25 (из 30 возможных): *б у д и т ь надежду* — 28, *п о р о д и т ь сомнение* — 27 и *п о р о д и т ь уверенность* — 27. Все они относятся к первому тесту. Из восьми остальных сочетаний одно имеет балл 24, одно — 23, одно — 20, два — 16 и два — 15. По сути это означает, что десять информантов, работавших с первым тестом, решительно предпочли глаголу *вызвать* другие глаголы только в трех случаях из 350, а информанты, работавшие со вторым тестом, не сделали этого даже в таком ничтожном числе случаев.

В заключение приведем некоторые выводы из сопоставления анализируемых нами названий чувств с данными частотного словаря [12]. В частотный словарь входят 19 существительных нашего списка: *боль*, *вера*, *волнение*, *восторг*, *гордость*, *желание*, *интерес*, *любовь*, *любопытство*, *надежда*, *обида*, *радость*, *сомнение*, *страх*, *стремление*, *тоска*, *тревога*, *уверенность*, *удивление*. Из них 12 занимают первые 25 мест в первом тесте (*вера*, *желание*, *интерес*, *любовь*, *любопытство*, *надежда*, *сомнение*, *страх*, *стремление*, *тоска*, *тревога*, *уверенность*); 10 — во втором тесте (*боль*, *вера*, *гордость*, *желание*, *интерес*, *любовь*, *любопытство*, *надежда*, *сомнение*, *страх*) и 8 — в обоих тестах (*вера*, *желание*, *интерес*, *любовь*, *любопытство*, *надежда*, *сомнение*, *страх*). Все 19 существительных составляют 38% списка. Между тем по совокупности двух тестов им отдано 44,2% всего количества баллов (3754 из 8507). При этом по первому тесту они получили 44,1% баллов (2228 из 5057), а по второму тесту — 44,9% баллов (1526 из 3450). Все это говорит о том, что информанты (особенно работавшие со вторым тестом) признали наиболее активно сочетающимися с рассмотренными нами глаголами именно те названия чувств, которые имеют максимальную частотность (входят в 2500 наиболее частотных слов русского языка). Существительное *страх*, вошедшее в частотный словарь, получило по двум тестам сводный балл 241, а его синоним *боязнь*, не вошедший в частотный словарь,—всего 133.

Мы допускаем, что наш первый опыт работы с информантами был недостаточно строго поставлен. Но и полученные нами данные выясняют многие особенности структурного значения определенной группы глагольных лексем и определенной группы субстантивных лексем.

При увеличении числа информантов и усовершенствовании методов работы с ними могут быть получены результаты серьезного теоретического и прикладного значения.

[12] Э. А. Ш т е й н ф е л ь д т, Частотный словарь современного русского литературного языка, Таллин, 1963.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1965

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

С. АБРАХАМ

О ПРИНЦИПИАЛЬНО ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

1. За последнее время ученые все чаще обращаются к обсуждению вопроса о перспективах машинного перевода[1]. Интересно отметить, что если в первые годы осуществления машинного перевода специалисты предвидели неограниченные возможности этой тогда новой отрасли прикладной лингвистики, и все встречающиеся трудности объясняли преимущественно «техническими» причинами (небольшая память машин, недостаточно большая скорость машин, недостаточная формальная разработка теории языка), то за последнее время обычно высказываются о принципиально ограниченных возможностях машинного перевода.

Важно отметить, что те, кто высказывался за неограниченные возможности машинного перевода, не подводили под свои взгляды никакой теоретической основы, в то время как вывод об ограниченных возможностях машинного перевода делается на основе теоретических рассуждений.

2. Суть дискуссионных вопросов можно сформулировать следующим образом: (а) можно ли осуществить в принципе полностью автоматизированный высококачественный машинный перевод (ПАВМП) специальных научно-технических текстов? (б) можно ли осуществить в принципе ПАВМП художественной литературы (и сходных текстов)?

3. Сначала, конечно, надо определить, что понимается под полностью автоматизированным высококачественным машинным переводом. Это понятие было введено И. Бар-Хиллелом, который определяет его следующим образом: перевод, выданный машиной, является ПАВМП, если совпадает, без какого-либо позднейшего вмешательства человека, с переводом того же текста, сделанного высококвалифицированным двуязычным переводчиком-человеком. На основе такого определения сам И. Бар-Хиллел показывает, что ПАВМП невозможен, поскольку высококвалифицированный двуязычный переводчик-человек очень часто использует свои нелингвистические познания, которые нельзя ввести ни в какую (существующую или будущую) машину.

А. Эттингер заявляет о своем согласии с И. Бар-Хиллелом и добавляет еще следующий аргумент против возможности ПАВМП: 1) не решен вопрос о нахождении (на основе контекста) близкого соответствия для данного слова, вводимого в машину, и 2) не решен вопрос об установлении единственной синтаксической структуры для данного предложения, которое читающий человек находит однозначным. Очевидно, первая часть этого аргумента основывается на указанном выше положении Бар-Хиллела о невозможности (машинно) учитывать нелингвистическое знание.

[1] См., например: Y. Bar-Hillel, The present status of automatic translation of languages, сб. «Advances in computers», I,ed. by F.L. Alt, New York, 1960; его же, Four lectures on algebraic linguistics and machine translation в его кн.: «Language and information», Reading (Mass.) — Jerusalem, 1964; A. G. Oettinger, The state of the art of automatic language translation: an appraisal, сб. «Beiträge zur Sprachkunde und Informationsverarbeitung», 2, München — Wien, 1963; «Computational linguistics», II, 1, Budapest, 1963.

По вопросу же об установлении единственной синтаксической структуры предложения, которое человек находит однозначным, можно заметить следующее: из простой констатации факта, что это еще не достигнуто (remains unsolved), еще не следует принципиальная невозможность его достижения (а нас интересует сейчас именно принципиальная возможность). В дальнейшем, при обсуждении возможностей применения порождающих грамматик в машинном переводе, Эттингер разделяет этот вопрос на два: (а) возможно ли установить машиной, каким образом порождается (в рамках данной порождающей грамматики) любое данное предложение? (б) возможно ли построить порождающую грамматику таким образом, чтобы она содержала для любого предложения столько возможностей порождения, сколько данное предложение имеет значений?

Сам А. Эттингер не доказывает невозможность положительного ответа ни на (а), ни на (б). Он только указывает на «естественность» отрицательного ответа на (б). Что касается существа вопроса, поставленного в (а), мне удалось доказать (при одном очень разумном ограничении) возможность его положительного решения[2]. Таким образом, можно в итоге сказать, что А. Эттингер ничего существенного к аргументации И. Бар-Хиллела не добавляет. Если же вернуться к аргументации И. Бар-Хиллела, то, как мы уже видели, его вывод о невозможности ПАВМП естественно вытекает из его же определения ПАВМП. Но верно ли это определение?

4. Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, попытаемся выяснить, какова цель перевода и каким образом перевод осуществляется человеком. Для ответа на вопрос о том, какова цель перевода, существенно различать, переводится ли специальный научный текст или же художественная литература (или родственные ей тексты). В случае перевода специального научного текста цель перевода заключается в том, чтобы получить текст, из которого специалист, владеющий только одним языком, смог бы усвоить ту информацию, которая содержится в оригинальном тексте.

В случае же перевода художественной литературы, помимо возможности усвоения информации, которая содержится в тексте-оригинале, требуется и то, чтобы текст-перевод вызвал бы те же комплексы чувств и переживаний у читателя, что и текст-оригинал у своего читателя (конечно, тут речь может идти только о приближенном совпадении). Машина, естественно, не в состоянии справиться с этой задачей. Это не означает, что на основе какого-либо «сырого» перевода (т. е. подстрочника), полученного машиной, нельзя создать высокохудожественного произведения, весьма похожего на оригинал (это нередко происходит даже тогда, когда за дело принимаются настоящие художники слова, которые не знают языка оригинала), но такое произведение не будет переводом.

По-другому обстоит дело в случае перевода специальных текстов[3]. В случае перевода таких текстов двуязычным переводчиком-человеком процесс перевода состоит из: (а) синтеза на языке перевода всех предложений, которые могут соответствовать данному предложению в языке-оригинале, и (б) отбора вариантов, которые передают ту же информацию.

В этом смысле разница между переводчиком-специалистом в данной области и переводчиком-неспециалистом состоит в том, что последний

[2] S. Abraham, The formal study of generative grammars, II, «Computational linguistics», IV, Budapest, 1964 (в печати); его же, The formal study of generative grammars, I, «Computational linguistics», II, Budapest, 1963.

[3] Должен отметить, что не все признают принципиальную разницу между переводом художественных и специальных текстов. Так, один из моих коллег при обсуждении рукописи настоящей работы высказался в том смысле, что и при переводе специальных текстов переводчик использует, помимо лингвистической информации,

явно ощущает разницу и границу между (а) и (б) и иногда даже вынужден для решения (б) обратиться к специалисту в данной области, в то время как переводчик-специалист переходит от (а) к (б) как бы автоматически и мгновенно: для него решение (б) не составляет труда.

Несколько вопросов возникает уже при решении (а). В зависимости от того, с какого языка L_0 и на какой язык L_n переводится предложение p, могут встречаться следующие случаи: 1) предложение p имеет в языке-оригинале L_0 один смысл: в L_n p имеет одно разбиение[4], на основе полученной лингвистической информации при разбиении p в языке-перевода L_n можно построить только одно предложение $\bar{p}$, которое в L_n имеет также только одно разбиение (т. е. один смысл); 2) p имеет несколько разбиений в L_0; на основе полученной лингвистической информации в L_n можно построить предложение $\bar{p}$, которое в L_n имеет столько же разбиений, что и p в L_0; 3) p имеет в L_0 одно разбиение, но на основе полученной лингвистической информации в L_n нельзя еще построить ни одного предложения; 4) p имеет в L_0 одно разбиение, на основе полученной лингвистической информации в L_n можно построить одно предложение с несколькими разбиениями (или же несколько предложений); 5) p имеет в L_0 несколько разбиений, но в L_n на основе полученной лингвистической информации можно построить одно предложение $\bar{p}$ с одним разбиением[5].

Переводчику «повезло» только в случаях 1 и 2. Как же он поступает в остальных случаях? В случае 3 переводчик обычно д о п о л н я е т полученную информацию до количества информации, необходимой для построения в L_n хотя бы одного предложения. В случаях 4 и 5 переводчик проверяет все варианты предложений, которые возможно построить на основе полученной при анализе лингвистической информации и в рамках (б) принимает (если сможет) нужное решение.

Интересно отметить, что при машинном переводе нередко создаются мнимые проблемы. Например, в случае 4 требуют составления или стремятся к составлению такой программы, которая выдала бы только одно предложение вместо всех возможных. Сюда относится и пример И. Бар-Хиллела:

$$(p) = I\ put\ the\ box\ in\ the\ pen,$$

которому в русском языке могут соответствовать следующие два предложения: ($\bar{p}_1$) *я положил ящик в ручку*; ($\bar{p}_2$) *я положил ящик в площадку для игр* — и для которого Бар-Хиллел требует, чтобы машина выдала только ($\bar{p}_2$). Если же переводчик недостаточно владеет специальностью, в области которой переводит, то даже если он прекрасно знает и язык, с которого переводит, и язык, на который переводит, он или обратится за помощью к более квалифицированному в данной области переводчику или же к специалисту и вместе с ним завершит перевод.

содержащейся в тексте-оригинале, и помимо своих общих и специальных нелингвистических познаний, некоторую интуицию (подобную чувствам и переживаниям в случае с художественной литературой, но и отличную от них). Мне кажется, что пока теоретически или экспериментально не доказано существование такой «переводческой (сверх) интуиции», нет смысла признавать ее существование и принимать ее в расчет. Хочу еще раз особо подчеркнуть, что тут речь идет не о способностях переводчика (специальных текстов), которые складываются (сознательно или нет) из отличного знания языка-оригинала и языка-перевода, из хорошего знания данной специальности и обширных общечеловеческих познаний (потому что такая переводческая интуиция действительно существует и не содержит в себе ничего таинственного, неопознанного или непознаваемого), а о такой «интуиции», которая отлична от этих способностей и стоит как бы над ними.

[4] Как мы уже видели, пока не доказано, что нельзя построить грамматику таким образом, чтобы для предложения с n значениями получить n разбиений (analysis).

[5] К этому сводится и случай, когда в L_n можно построить меньше предложений, чем имеем разбиений в L_0.

Из сказанного следует, что переводчик использует при переводе двоякую информацию: (1) информацию в переводимом тексте, и (2) информацию, внешнюю по отношению к тексту, который подлежит переводу. Информация, содержащаяся в тексте, который подлежит переводу, тоже может быть двоякого рода: (1.1) языковая информация; (1.2) неязыковая информация.

Пока что мы еще не можем извлечь полностью из данного текста даже информацию типа (1.1). Но это вопрос практики, а не принципа. Информация типа (1.2) передается путем возбуждения определенных чувств и переживаний. Ее нельзя передать машинным путем, но, к счастью, при переводе специальных научных текстов ее роль ничтожна (или равна нулю). Информация типа (2) извлекается из специальных и общечеловеческих познаний переводчика.

Из приведенного анализа следует, что на определенном этапе работы человека-переводчика нужны знания в области специальности, по которой делается перевод, и некоторые общечеловеческие познания, но не нужно знание языка оригинала (и не нужно особое знание языка, на который переводят). Разумным будет определить ПАВМП как перевод (выданный машиной), из которого одноязычный специалист сможет извлечь ту информацию, содержащуюся в тексте-оригинале, без использования промежуточного человеческого труда.

5. Для положительного обсуждения вопроса о возможности ПАВМП должна быть предложена какая-нибудь модель машинного перевода, по отношению к которой можно было бы поставить вопрос о доказательстве ее принципиальной пригодности. Если такую модель строить по частям, то по отношению к каждой части можно будет поставить вопрос о принципиальной возможности ее реализации; при этом, пока хотя бы для одной части такой модели будет доказана принципиальная невозможность реализации, ПАВМП все еще остается возможным. Ниже будет изложена сущность одной из таких возможных моделей.

6. В основе модели лежит принцип (аксиома 1), согласно которому одно и то же содержание может быть выражено в разных языках. Исходя из этого принципа, можно формулировать принцип (аксиому 2) возможности установления формального соответствия между двумя языками. Этим принципом утверждается, что если даны два языка L_1 и L_2, которые порождаются двумя трансформационными грамматиками $[Vp_1, \Sigma_1, F_1, T_1]$ и $[Vp_2, \Sigma_2, F_2, T_2]$ и триплет $[\Sigma_i, F_i, T_i]$ порождает в L_1 предложение p_1, то в L_2 существует такой триплет $[\Sigma_i', F_i', T_i']$, который порождает предложение p_2, причем p_1 и p_2 имеют одно и то же содержание. Таким образом, для достижения ПАВМП нужно уметь: 1) установить множество триплетов Q_1, которые порождают p_1 в L_1; 2) установить множество Q_2 триплетов в L_2, которые соответствуют Q_1; 3) порождать возможные предложения с помощью Q_2.

Первый этап работы модели предполагает возможность установления тех триплетов, которые порождают данное предложение. Как я показал ранее, если допустить, что в случае естественного предложения (аксиома 3), существует такое натуральное число m, при котором любое предложение имеет длину (т. е. количество элементов) меньше m, это сделать алгорифмически возможно[6]. Но такая возможность еще не позволяет ответить на следующий чрезвычайно важный вопрос, поставленный А. Этингером: можно ли построить трансформационную грамматику языка L

[6] S. Abraham, The formal study of generative grammars.

таким образом, чтобы, при порождении предложения p n триплетами, p имело бы ровно n значений? Как я уже отметил, в данный момент нет оснований ни для отрицательного, ни для положительного ответа на этот вопрос. Но, помимо перестройки грамматики, для достижения этой цели возможен и даже желателен другой путь: дополнение грамматики (трансформационной грамматики) структурной семантикой. Эта последняя дает возможность отобрать из всех имеющихся триплетов только те, которые соответствуют разным толкованиям данного предложения. Конечно такое решение вопроса требует (аксиома 4) возможности так построить грамматику, чтобы она содержала для каждого предложения не меньшее число порождающих триплетов, чем число значений данного предложения. Во всяком случае это легче достижимо, чем то, чтобы грамматика содержала ровно столько же триплетов. Основы такой структурной семантики уже разработаны[7], и ее применение к машинному переводу заключается не только в решении этой проблемы.

Второй этап работы модели предполагает разработку теории трансформационного соответствия между языком, с которого делается перевод, и языком, на который переводится текст. Возможность разработки такой теории (которая и является теорией перевода) вытекает из аксиомы 1. Конечно, эта аксиома не бесспорна, но в случае перевода специальных научных текстов на близких языках ее можно принять. Сама разработка такой теории еще даже не начата (в первую очередь из-за недостаточной разработанности трансформационных грамматик хотя бы двух языков).

На третьем этапе работы модели возникает следующий важный вопрос: если на втором этапе получены n триплетов, которые порождают m предложений, то которое (или которые) из порожденных таким образом предложений является переводом исходного предложения? Этот вопрос также решается на основе структурной семантики.

Поскольку предложенная нами структурная семантика (1) позволяет установить, имеет ли данное предложение смысл или нет и (2) дает каждому предложению возможность приписать «характеристическую семантическую матрицу» (два предложения имеют одну и ту же характеристическую семантическую матрицу тогда и только тогда, если они имеют один и тот же смысл)[8], из полученных предложений следует выбрать, во-первых, те, которые имеют смысл, а потом те, характеристическую семантическую матрицу которых можно найти среди характеристических семантических матриц переводимого предложения.

7. Таким образом, предложенная модель зависит от принятия четырех аксиом, от разработки трансформационных грамматик языков, с которых и на которые делается перевод, от разработки теории трансформационных грамматик языков, с которых и на которые делается перевод, от разработки теории трансформационного соответствия этих языков (ср. так называемую transfer-grammar) и от разработки структурной семантики.

8. Таким образом, мою точку зрения на принципиально возможные перспективы машинного перевода можно сформулировать следующим образом: в принципе машина может выдать такой перевод, что одноязычный специалист может, используя только свои нелингвистические познания, усвоить ту информацию, которую содержит в себе текст на языке-оригинале.

---

[7] S. A b r a h a m, F. K i e f e r, A theory of structural semantics, The Hague (в печати); F. K i e f e r, S. A b r a h a m, How computers understand sentences, «Computational linguistics», III, Budapest, 1964.

[8] Отметим, что и наша структурная семантика ограничена рамками, указанными в работе: J. J. K a t z, J. A. F o d o r, The structure of a semantic theory, «Language», 4, 1963.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1965

ИЗ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НАСЛЕДСТВА

Публикуемая ныне статья А. К. Боровкова относится к циклу его историко-лексикологических работ, посвященных научной критике ранних произведений тюркской лексикографии, главным образом староузбекской. В направлении исторической лексикологии, тесно связанное с именем А. К. Боровкова, усиленно разрабатывалось им в послевоенный период и наиболее интенсивно в последние годы.

Из предшественников А. К. Боровкова мог бы быть назван В. В. Вельяминов-Зернов, который при подготовке к изданию своего «Словаря джагатайско-турецкого» по рукописи Санктпетербургской публичной библиотеки проверил все цитаты и ссылки, имеющиеся в ней, по рукописным произведениям Навои [1]. В. В. Вельяминов-Зернов, однако, не задавался целью критически установить реальность слов, вошедших в использованные им рукописные словари, установить реальность приводимых значений. У него не возникал, как видно, и вопрос о критическом отборе рукописных текстов, относимых к Алишеру Навои. Издатель другого староузбекского словаря, вышедшего вскоре после издания В. В. Вельяминова-Зернова, Паве де Куртэй [2] еще больше упростил подготовку словаря к изданию. Сказанное отчасти справедливо и для словаря Шейха Сюлеймана [3].

Нельзя, разумеется, забывать и о том, что состояние исторической тюркологии 60—70-х годов XIX в., в частности уровень научной текстологии, не позволяло еще ставить задачи критического анализа рукописных источников.

Инициатива сравнительного историко-лексикологического анализа старых тюркоязычных словарей принадлежит А. К. Боровкову. Она возникла в связи с его усиленными занятиями староузбекским языком [4].

В последние годы А. К. Боровков был занят еще одной историко-лексикографической работой — подготовкой к изданию ташкентского списка известного словаря Замахшари «Мукаддимат ал-адаб» [5]. В связи с этим А. К. Боровков уже имел случай справедливо указать на мало компетентный характер издания 1938 г. [6] Незадолго до этого Л. Лигети выступил с большой статьей об исследованном им четырехъязычном арабско-персидско-османско-монгольском глоссарии, обнаруженном в 1938 г. М. Т. Халаши-Куном в дворцовой библиотеке Топкапы в Стамбуле [7]. Статья А. К. Боровкова, приводимая ниже, является откликом на исследование Л. Лигети.

В ней автор высказывает мысль о зависимости стамбульского глоссария от бухарского списка «Мукаддимат ал-адаб», по которому было подготовлено издание 1938 г.

Уже после смерти А. К. Боровкова вышла вторая обширная статья Л. Лигети, в которой он пришел к заключению, что стамбульский четырехъязычный глоссарий связан с тюркско-монгольско-арабско-персидским словарем, хранящимся в Лейдене [8], словарем Ибн-Муханны, тюркская и монгольская части которого были изданы П. М. Мелиоранским [9], и что все три словаря довольно значительно расходятся с «Мукаддимат ал-адаб» [10].

Э. В. Севортян

---

[1] В. В. Вельяминов-Зернов, Словарь джагатайско-турецкий, СПб., 1868, стр. 10—18.

[2] M. Pavet de Courteille, Dictionnaire turk-oriental, Paris, 1870.

[3] Şeyh Süleyman, Lûgat-i-Çağatayî ve Türkî-i-Osmanî, 2 cilt, İstanbul, 1298 h. (1882).

[4] См.: А. К. Боровков, «Бада'и ал-лугат», словарь Тали' Имани Гератского к сочинениям Алишера Навои, М., 1961, стр. 5—37.

[5] См. более раннее издание бухарского списка: Н. Н. Поппе, Монгольский словарь «Мукаддимат ал-адаб», М.—Л., I—II — 1938; III — 1939.

[6] А. К. Боровков, Тюркские глоссы в бухарском списке «Мукаддимат ал-адаб», «Acta Orient. Hung.», XV, 1—3, 1962, стр. 32—36.

[7] L. Ligeti, Un vocabulaire mongol d'Istanbul, «Acta Orient. Hung.», XIV, 1, 1962, стр. 3—99.

[8] Тюркская часть была опубликована М. Т. Хоутсма: M. Th. Houtsma, Ein türkisch-arabisches Glossar, Leiden, 1894.

[9] П. М. Мелиоранский, Араб филолог о турецком языке, СПб., 1900; его же, Араб филолог о монгольском языке, ЗВО РАО, XV, 2—3, СПб., 1904.

[10] L. Ligeti, Notes sur le vocabulaire mongol d'Istanbul, «Acta Orient. Hung.», XVI, 2, 1963, стр. 174.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1965

А. К. БОРОВКОВ

К ИСТОРИИ СЛОВАРЯ «МУКАДДИМАТ АЛ-АДАБ» ЗАМАХШАРИ

Критическое исследование многочисленных словарей тюркских языков, составленных в различные эпохи на разных языках, является чрезвычайно важной задачей современного тюркского языкознания. Сейчас уже наметились специальные темы, большой ряд исследований вокруг знаменитого словаря тюркских языков XI в. Махмуда Кашгарского[1], столь же известного «Codex Cumanicus» — сборника материалов по куманскому (половецкому) языку, собранных немецкими и итальянскими купцами и миссионерами в XIV в.[2], «кыпчакско-арабских» словарей[3] и т. д.

Исключительное значение для тюркологии приобретает и арабский словарь «Мукаддимат ал-адаб» знаменитого среднеазиатского филолога, уроженца Хорезма — Абу-л' Касима Махмуда б. Омар аз-Замахшари (ум. 1144 г.). Ценность этого словаря обусловлена тем, что словарь содержал в учебных целях наряду с арабскими словами древнехорезмийские, персидские (таджикские) и, наконец, тюркские и монгольские глоссы. Известно несколько списков словаря «Мукаддимат-ал-адаб» с тюркскими глоссами[4] и один список, именно «четырехъязычный» бухарский список 1492 г. с арабскими, персидскими (таджикскими), тюркскими и монгольскими глоссами[5]. Судьба этого списка малоизвестна, но, по всем данным, бухарский список не является единственным.

Небольшой по объему, но чрезвычайно интересный фрагмент четырехъязычного арабско-персидско-тюркско-монгольского словаря издал недавно Л. Лигети[6]. Этот фрагмент был обнаружен в Стамбульской рукописи турецко-персидского словаря «Samil ül-luγat», составленного приблизительно в конце XV или начале XVI в. Хасаном б. Хусейн б. 'Имад ал-Карахисари.

Четырехъязычный глоссарий написан арабскими литерами в четыре колонки: в первой арабские, во второй персидские, в третьей тюркские и в четвертой монгольские слова. Слова в глоссарии размещены по темати-

---

[1] См.: O. Pritsak, Mahmud Kâşgarî kimdir?, «Türkiyat mecmuası», X (1951—1953), İstanbul, 1953, стр. 243.

[2] A. von Gabain, Die Sprache des Codex Cumanicus, «Philologiae Turcicae fundamenta», I, Wiesbaden, 1959, стр. 48—49.

[3] A. Dubiński, Kilka uwag z prac nad słownikem kipczackim, «Przegląd orientalistyczny», 3 (23), 1957, стр. 314—315; O. Pritsak, Das Kiptschakische, «Philologiae Turcicae fundamenta», I, стр. 74—76.

[4] См.: об этом: C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, 1, Weimar, 1898, стр. 291—292; W. Ahlwardt, Verzeichniss der arabischen Handschriften der königlichen Bibliothek zu Berlin, Sechster Bd. XV—XIX, 1. Buch, Berlin, 1894, стр. 242—245; В. И. Беляев, Арабские рукописи Бухарской коллекции Азиатского музея Института востоковедения АН СССР, Л., 1932, стр. 39, № 1006; W. Barthold, Eine Zamaḫšarī-Handschrift mit alttürkischen Glossen, «Islamica», Lipsiae, II, 1, 1926.

[5] См. об этом списке: Н. Н. Поппе, Монгольский словарь Мукаддимат ал-адаб, I—II, М.— Л., 1938, стр. 4—7.

[6] L. Ligeti, Un vocabulaire mongol d'Istanboul, «Acta orient. Hung.», XIV, 1, 1926.

ческим разрядам: 1) числительные; 2) время, периоды времени; 3) воздух, земля; 4) растения; 5) туловище человека; 6) человек, степени родства, занятия человека; 7) жилище; 8) пища; 9) животные; 10) местоимения; 11) одежда; 12) животные; 13) оружие; 14) глаголы; словосочетания; 15) животные; в двух случаях — после местоимений и названий оружия — приводятся отдельные фразы.

Л. Лигети усомнился в том, чтобы автором четырехъязычного глоссария мог быть Хасан б. Хусейн б. 'Имад ал-Карахисари или вообще кто-либо другой в конце XV в., когда монгольский язык в Малой Азии едва ли мог вызвать широкий интерес. По предположению Л. Лигети, анонимный компилятор мог воспользоваться монгольской лексикографической традицией XIII—XIV вв., если не окажется, что монгольские материалы в этом глоссарии представляют словарь афганских моголов XV в., что, по мнению Л. Лигети, не исключено.

Надо отдать должное осторожным выводам Л. Лигети. На самом деле четырехъязычный глоссарий в стамбульском словаре «Samil ül-luγat» является очень сокращенной переработкой части знаменитого словаря «Мукаддимат ал-адаб» Замахшари, именно четырехъязычного арабско-персидско-тюркско-монгольского списка этого словаря, выполненного в Бухаре в 1492 г., или, точнее, одной из редакций этого списка. Это категорическое утверждение требует бесспорных доказательств.

Имена в арабском словаре «Мукаддимат ал-адаб», в согласии с арабской филологической традицией, расположены также по тематическому признаку и разделены на соответствующие главы (баб) и отделы (фасл). В рукописной копии бухарского списка главы следуют в таком порядке: 1) время, периоды времени (лл. $5^б$ — $10^в$); 2) небо, небесные светила и т. д. (лл. $10^б$ — $15^а$); 3) земля, минералы, пути (лл. $15^а$ — $22^б$); 4) вода (лл. $22^б$ — $26^б$); 5) растения (лл. $26^б$ — $37^а$); 6) жилище, строения и т. д. (лл. $37^а$ — $56^а$); 7) бог, молитва и т. п. (лл. $56^а$ — $60^б$); 8) туловище человека, человек, пол, возраст, родство и т. п. (лл. $60^б$ — $88^б$); 10) религия (лл. $88^б$ — $95^а$); 11) занятия человека, орудия и т. д. (лл. $95^а$ — $113^а$); 12) одежда (лл. $113^а$ — $118^б$); 13) имена числительные, меры (лл. $118^б$ — $124^а$); 14) конь, вооружение, оружие (лл. $124^а$ — $136^а$); 15) животные, домашние и дикие (лл. $136^а$ — $146^б$); 16) гады и насекомые (лл. $146^б$ — $149^б$); 17) птицы (лл. $149^б$ — $153^б$); 18) интенсивные формы прилагательных (лл. $153^б$ — $154^а$); 19) местоимения и наречия (лл. $154^б$ — $166^б$).

Тематические рубрики, как это можно видеть, в общем совпадают в «Мукаддимат ал-адаб» и в фрагменте из «Samil ül-luγat», хотя в стамбульском глоссарии вопреки обычному порядку на первом месте оказались числительные. Совпадение тематических рубрик, однако, пока ничего еще не доказывает. Дело в том, что расположение имен в словарях по тематическому признаку восходит к древней арабской филологической традиции и встречается также, например, в китайско-монгольском словаре XIV в.[7], со стороны своего состава и источников не исследованном.

Зависимость стамбульского четырехъязычного глоссария от «Мукаддимат ал-адаб» обнаруживается в полной мере в самом материале глоссария. Можно привести для примера л. $145^а$ стамбульского глоссария:

[7] E. Haenisch, Sinomongolische Glossare. I. Das Hua-I in-yü, Berlin, 1957, стр. 9—31.

а. *al yaum*	п. *imruz*	т. *bügün*	м. *ene ödür*	(«сегодня»);
а. *al γada*	п. *farda*	т. *erten*	м. *manaγar*	(«наутро, завтра»);
а. *al 'ams*	п. *däyroz*	т. *dünki-gün*	м. *höčken ödür*	(«вчерашний день, вчера»);
а. *ba'd al γada*	п. *pas farda*	т. *biri gün*	м. *čanači ödür*	(«послезавтра»);
а. *al γayum*	п. *abr*	т. *bulut*	м. *üyülen*	(«облако») и т. д.

В бухарском списке «Мукаддимат ал-адаб» соответственно (л. 7b):

а. *al yaum*	п. *imruz*	т. *bükün*	м. *ene ödür*	(«сегодня»);
а. *γada*	п. *farda*	т. *tangla*	м. *manaγar*	(«наутро, завтра»);
а. *ams*	п. *däy*	т. *tünägün*	м. *öčüge* (в тексте اوبوكه) *ödür*	(«вчера»);
а. *ba'd γad*	п. *pas farda*	т. *anï* (в тексте اى) *kün*	м. *činači ödür*	(«послезавтра»);
а. *'ārīz*	п. *abr*	т. *bulut*	м. *üyülen*	(«облако») и т. д.

Обращают на себя внимание некоторые детали. В словаре Замахшари «Мукаддимат ал-адаб» арабские имена представлены в ед. и мн. числе, без определенного члена и с определенным членом (например, *yaum* — *ayyām* «день — дни» и *al yaum* «сегодня, сей день» и т. п.), всегда перечисляются ближайшие синонимы (например: *'ārīz* — *'avāriz* «туча — тучи» и *γaym* — *γuyum* «облако — облака» и т. д.). В стамбульском четырехъязычном глоссарии отобран только один из ряда синонимов и имена представлены лишь в форме ед. числа. Тюркские глоссы здесь отражают малоазийскую турецкую лексику, как и произношение, в отличие от среднеазиатской лексики и соответствующего произношения в бухарском списке «Мукаддимат ал-адаб».

Для вящей убедительности приведем еще ряд примеров из другого раздела стамбульского четырехъязычного глоссария (лл. 148b—149a);

а. *al uδnu*	п. *goš*	т. *qulaq*	м. *čikin*	(«ухо»);
а. *al ǰabhatu*	п. *pešānī*	т. *alin*	м. *manglay*	(«лоб»);
а. *al hajǰibu*	п. *abroy*	т. *qaš*	м. *hanasqa*	(«бровь»);
а. *al hudabu*	п. *mužä*	т. *kirpük*	м. *sarmasun*	(«ресницы»);
а. *al'ayn*	п. *čašm*;	т. *göz*	м. *nidun*	(«глаз»);
а. *al vaǰh*	п. *roy*	т. *yüz*	м. *niyur* [в тексте بيور]	(«лицо»);
а. *al fam*	п. *dahān*	т. *aγiz*	м. *aman*	(«рот»);
а. *aššafah*	п. *lab*	т. *dudaq*	м. *hirūl*	(«губы»);
а. *as sinnu*	п. *dandan*	т. *diš*	м. *sidün*	(«зубы»);
а. *al lisān*	п. *zuban*	т. *dil*	м. *kelen*	(«язык») и т. д.

В бухарском списке «Мукаддимат ал-адаб» (лл. 64a—67b):

а. *uδnu*	п. *goš*	т. *qulaq*	м. *čikin* (в тексте چيئين) («ухо»);
а. *ǰabha*	п. *pešānī*	т. *manγlay*	м. *manγlay* («лоб»);
а. *vaǰh*	п. *roy*	т. *yüz*	м. *niyur* («лицо»);
а. *hāǰib*	п. *abru*	т. *qaš*	м. *hanisqa* («бровь»);
а. *'ayn*	п. *čašm*	т. *köz*	м. *nidun* («глаз»);
а. *hudbu*	п. *nižä*	т. *kirpük*	м. *surmasun* («ресницы»);
а. *fam*	п. *dahan*	т. *aγiz*	м. *aman* («рот»);
а. *šafa*	п. *lab*	т. *erin*	м. *hurul* («губы»);
а. *sinn*	п. *dandan*	т. *tiš*	м. *šidun* («зубы»);
а. *lisān*	п. *zuban*	т. *til*	м. *kelen* («язык») и т. д.

И в этом случае становится совершенно очевидным, что для стамбульского четырехъязычного глоссария слова отбирались: например, в бухарском списке «Мукаддимат ал-адаб» (л. 64a) вместе с арабским словом *vaǰh* («лицо») и его формами *avǰuh* и *vuǰuh* (мн. «лица») приводятся арабские же синонимы *muhayya* («лицо, щека»), *ruwā* («лицо, вид»), *qasima* («черты лица»), *γurra* («челка на лбу»), *ṭal'a* («лицо, выражение лица, наружность») и т. д., а в стамбульском глоссарии, как мы видели, дано только одно слово из ряда синонимов — араб. *vaǰh* с соответствующими персидской, тюркской и монгольской глоссами.

Обращает на себя внимание еще одна незначительная на первый взгляд подробность, на которую обратил внимание и Л. Лигети. В отдельных случаях в стамбульском глоссарии появляются отсылки, например на л. 153b: a. *as suq* п. *bazar* т. mislihu м. *učar* «рынок, базар», где на месте тюркской глоссы — отсылка mislihu «также, наподобие (того)», т. е. дается указание на то, что персидское *bazar* («рынок, базар») употребительно и в тюркском. В бухарском списке «Мукаддимат ал-адаб» такого рода отсылка (mislihu) систематически употребляется особенно при перечислении синонимов, часто сокращенно, посредством пометы m (mislihu). Это лишний раз свидетельствует о том, что компилятор (а им мог быть автор словаря «Samil ül-luγat») пользовался четырехъязычным списком «Мукаддимат ал-адаб». Судя по тому, что отбор арабских синонимических слов и выражений и переводов к ним персидских, тюркских и монгольских в бухарском списке «Мукаддимат ал-адаб» и в стамбульском четырехъязычном глоссарии иногда не совпадает, можно предположить существование параллельного бухарскому «четырехъязычного» списка «Мукаддимат ал-адаб», *которым пользовался составитель сокращенного* стамбульского глоссария.

Наряду с вышесказанным следует учесть также, что авторитет Замахшари как филолога был очень велик на Востоке. Исключительной популярностью на протяжении ряда веков пользовалось и его руководство по арабскому языку «Мукаддимат ал-адаб» — «Введение в словесность», которое содержало, помимо предисловия, пять разделов (1) имена, 2) глаголы, 3) частицы, 4) изменения (склонение) имен, 5) изменения (спряжение) глаголов], однако большую часть которого составляли первые два собственно лексикографических раздела.

Тюркские глоссы в разных списках представляют лексические материалы разных эпох, очень неоднородные в диалектальном отношении, что делает их чрезвычайно ценными для истории тюркских языков. Теперь выясняется, что бухарский список «Мукаддимат ал-адаб» оказывается единственным списком с монгольскими глоссами, что имеет большое значение и для монголистики.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1965

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ОБЩЕНИЕ КАК ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

(Основные направления в американской этнолингвистике)

В настоящей работе я хочу охарактеризовать некоторые направления в развитии американской этнографической мысли по вопросам языка. В кратком обзоре они не могут быть подвергнуты детальному рассмотрению. Я надеюсь поэтому, что те из моих читателей, которых описываемые направления заинтересуют, обратятся к публикациям, содержащим детали. Введение к библиографии такого рода работ дано в конце этой статьи.

*

Этнографическое изучение языка находится в настоящее время в переходном состоянии. Перспективы дальнейшего развития можно наметить, если достаточно ясно представить себе его шесть основных линий, а именно: 1) этнографическое изучение семантики; 2) социолингвистическое исследование; 3) паралингвистику и кинесику; 4) сравнительное изучение общения животных в связи с возрождением теоретического интереса к вопросам культурной эволюции; 5) создание этнографической и лингвистической теории, изучающей особенности суждений о поведении как приемлемом и правильном; 6) исследования в области фольклора, занимающиеся наблюдением и анализом соответствующего поведения. В настоящем обзоре я намерен остановиться на каждом из этих направлений и попытаться показать, какие этнографические выводы в плане языкознания могут быть получены. Общий характер этих выводов можно определить как ряд внутренне связанных перемен ориентации от первичности la langue к первичности (иерархической) la parole; от структуры к функции; от кода к контексту; от лингвистической системы к системам коммуникации.

Как известно, в течение ряда лет американская лингвистика отказывалась от семантических исследований. Американские этнографы, которые могли бы развить этнографическую семантику, не имели той специальной лингвистической подготовки, которая дала бы им возможность выполнить эту работу с необходимой уверенностью и компетентностью. За последние десять лет положение дел изменилось и в лингвистике, и в антропологии (этнографии), причем основные успехи были связаны с компонентным анализом (componential analysis) и «этнонаукой» (ethnoscience); это направление было создано учеными, связанными с Иельским университетом, а именно Ф. Лаунзбери, У. Гуденофом, Х. Конклином, Ч. Фрейком и У. Стертевантом. Они разработали лингвистические понятия, подобные тем, которые были сформулированы Р. О. Якобсоном в его анализе грамматических парадигм для исследования систем родства, и получили результаты, важные для социальной антропологии (social anthropology); они восстановили изучение туземных терминологических систем как один из центральных вопросов этнографии. Их важнейшим теоретическим вкладом в современную лингвистическую мысль явилось: 1) возвращение (структурно) лингвистической семантики на подобающее ей ведущее место и 2) воссоединение лингвистических исследований с этнографией. В результате все бóльшее внимание получает соотношение лингвистических кодов и естественных контекстов их употребления как на уровне наблюдения, так и в плане научного теоретизирования.

Термин «социолингвистика» (sociolinguistics) вообще возник в США всего два или три года назад. Одной из причин повышения интереса к социолингвистике явилось расширение антропологических исследований комплексных обществ и цивилизаций. Столь долго господствовавшая в США тенденция рассматривать язык лишь в терминах соотношения между о д н и м д а н н ы м языком и о д н о й д а н н о й культурой становится слишком разительно неадекватной предмету. Другая причина заключается в увеличении интереса к вопросам двуязычия, возникшего

несколько ранее в связи с работами У. Вайнрайха и Э. Хаугена. Важным вкладом в развивающиеся социолингвистические исследования явились детальные разыскания в таких областях, как проблема «образцового» языка, креольские языки, дизглоссия, социальная диалектология и т. п. Активными деятелями в этих областях являются Ч. Фергюсон, Дж. Гомперц, Э. Хауген, У. Лабов, У. Стюарт и У. Брайт. (Необходимо еще раз напомнить, что в настоящем обзоре речь идет только о положении в а м е р и к а н с к о й этнографии и лингвистике; в Европе же, особенно в Чехословакии, им и прежде уделялось большое внимание.) В результате развития социолингвистики исходным, первым по порядку и важности стал не лингвистический код, а его носители, данный человеческий коллектив. Прежде типичный для американских ученых подход состоял в том, чтобы анализировать данный изолированный код и лишь, может быть, после этого искать какие-либо связи его с другими аспектами культуры и общественной жизни. Развивающееся теперь направление требует, чтобы прежде всего определить место данного кода или кодов в общественной жизни и индивидуальном поведении членов данного общества.

Работа в области паралингвистики и кинесики началась около десяти лет назад. Она возникла в результате сотрудничества между лингвистами и антропологами, относящимися с вниманием к фонологии и интонации, и этнографами и психиатрами, интересующимися выразительной коммуникацией. Паралингвистика получила следующее определение: «изучение всех коммуникативных свойств голоса, кроме его собственно лингвистической функции»; кинесика — «изучение общественной сигнификации телодвижений, построенное по принципу лингвистических моделей». После первого подъема активности в этих двух областях дальнейшее их развитие оказалось несколько замедленным. Тем не менее целый ряд публикаций, принадлежащих таким ученым, как Дж. Л. Трегер, Г. Л. Смит, Ч. Ф. Хоккет, Н. Маккуон, Р. Бердуистелл, Г. Бейтсон, Э. Холл и др., произвели значительное впечатление. Сосредоточивание внимания исключительно на лингвистическом коде теперь постепенно заменяется все более действенным сознанием того, что лингвистический код — всего лишь один из нескольких кодов, что членораздельная речь — лишь один из модусов коммуникации, неразрывно связанной в одно целое с рядом других подобных модусов.

Возрастающий интерес к этологии, поведению высших животных и эволюционной теории приобретает все более важное значение для американской этнографической лингвистики. Несколько авторов, особенно Ч. Хоккет и Т. Себеок, сравнивают человеческий язык с общением животных, стремясь яснее раскрыть таким образом специфические свойства человеческого языка и его эволюционное происхождение. Сущность этих разысканий состоит в усилении внимания к тому, что связывает лингвистическую структуру и коммуникативную функцию. До сих пор мало внимания уделяется эволюции языка непосредственно после его возникновения — особенно столь необходимому изучению подлинной эволюционной теории, занимающейся такими категориями, как народонаселение, адаптация (приспособление) и прогресс.

Работа в области этнографической семантики сопровождалась развитием такого понимания этнографии (впервые получившего определение в работах У. Гуденофа), согласно которому этнография это не просто описание для целей этнологического сравнения, но построение особой теории для данной культуры, теории, позволяющей в принципе предсказывать соответствующее поведение. Точка зрения Гуденофа смыкается с мнением Хомского, что грамматика должна являться теорией, о б ъ я с н я ю щ е й грамматически правильные предложения. Обе эти точки зрения направляют внимание на те обстоятельства, которые определяют оценивающие суждения представителей данного языка и культуры; важнейшим при этом является понимание поведения как осуществляющейся в системе контекстов ситуации. Ясно, что этот этнографический подход требует того, чтобы от грамматических и терминологических систем переходить к правилам, определяющим то или другое их использование в процессе коммуникации данного общества. В некотором смысле вопрос сводится к следующему: какие нужны ребенку сведения, кроме грамматических правил, для того чтобы стать вполне полноценным членом общества? Каковы правила соответствия данной ситуации и т. п., ограничивающие и определяющие отношения между отправителями, получателями, каналами, кодами, формами сообщения, содержаниями, обстановками и коммуникативными актами в целом? Очень важным достижением нового подхода явилось то, что понятия, бывшие до сих пор не более как теоретическими постулатами, т. е. такие понятия, как говорящий коллектив (речевая общность), акт речи и языка и т. п., теперь приобретают характер проблем и становятся объектами эмпирического изучения как в этнографическом плане, так и в плане сопоставления культур.

В течение жизни более чем одного поколения этнографы неоднократно высказывались за изучение фольклора в терминах контекста ситуации. Бóльшая часть исследований в этой области продолжала следовать литературным

образцам, ограничиваясь собиранием текстов — словесных и музыкальных — в отвлечении от контекста. Новые исследования А. Ломакса и А. Мерриама, посвященные музыкальному исполнению, покойного П. Радина, изучавшего ритуальную драму, и А. Дендеса в других областях словесного фольклора представляют совокупность исследований для тех областей, где ранее имелись лишь отдаленные разрозненные примеры. Работы этого рода анализируют модели и правила употребления для многих речевых последовательностей и рядов, выходящих за пределы предложения и восстанавливают связь между лингвистической структурой и словесным искусством, некогда уже существовавшую в американской этнографии (антропологии) в качестве основы для изучения культурных содержаний.

Американская антропология по традиции рассматривает язык как практическое средство и как источник полезных результатов в историческом исследовании. Американская антропологическая мысль сосредоточена возвращаясь к проблеме, доказанной при отсутствии в принципе теорией, объясняющей грамматически правильные предложения. Это точки зрения направляют внимание на те обстоятельства, которые определяют ответы в также многие английские и французские представления и культуры. Это наблюдение является понимание, приведенным в моем виде «Language in culture and society: a reader in linguistics and anthropology» (New York, 1964) и собранных в ней мотивов и библиографических списках. Соображения, высказанные в настоящей статье, отчасти развиты с учетом нерешенных вопросов моих статьях: «The ethnography of speaking» в сб. «Anthropology and human behavior» (Washington, ed. by Th. Gladwyn and W. Sturtevant, 1962); «Ethnographic techniques in Arthropology and Linguistics» в сб. «Transcultural studies in cognition» (Ed. by Romney and R. D'Andrade, Menasha, 1964); «Introduction: Toward ethnographies of communication» (ed. by J. Gimperz and D. Hymes, Menasha, 1964).

Очень важным достижением нового подхода явилось то, что понятия, бывшие до сих пор не более как теоретическими постулатами, т. е. такие понятия, как говорящий коллектив (речевая общность), акт речи и языка и т. п., теперь приобретают характер проблем и становятся объектами эмпирического изучения как в этнографическом плане, так и в плане сопоставления культур.

В течение жизни более чем одного поколения этнографы неоднократно высказывались за изучение фольклора в терминах контекста ситуации. Большая часть исследований в этой области продолжала следовать литературным

роду той связи, того соотношения, которое существует между языком и остальной культурой. Основной трудностью всегда было то, что «язык» понимался как то, что, по-видимому, изучают языковеды, а вся остальная культура как то, что описывается в этнографии, за исключением языка. При этом та область, то фактическое местонахождение, в котором язык взаимодействует со всеми остальными составляющими культуры — его употребление в актах общения — оказывалась вне поля зрения как лингвистов, так и этнографов. А ведь только при условии, что модели употребления языка как одного из способов коммуникации изучаются как таковые, и можно создать удовлетворительную антропологическую теорию языка. Именно к такому изучению этнографии общения и ведут, по-видимому, охарактеризованные выше направления. Их задача — создать основу для антропологической или этнографической теории общения, с включением языка — такой теории, которая существенно изменит многие из распространенных теперь понятий и концепций.

Перевод Ю. Стерлигова

Американские работы, а также многие английские и французские представления и культуры, отчасти основаны на моем виде «Language in culture and society: a reader in linguistics and anthropology» (New York, 1964) и собранных в ней мотивов и библиографических списках. Соображения, высказанные в настоящей статье, отчасти развиты с учетом нерешенных вопросов моих статьях: «The ethnography of speaking» в сб. «Anthropology and human behavior» (Washington, ed. by Th. Gladwyn and W. Sturtevant, 1962); «Ethnographic techniques in Arthropology and Linguistics» в сб. «Transcultural studies in cognition» (Ed. by Romney and R. D'Andrade, Menasha, 1964); «Introduction: Toward ethnographies of communication» (ed. by J. Gimperz and D. Hymes, Menasha, 1964).

Очень важным достижением нового подхода явилось то, что понятия, бывшие до сих пор не более как теоретическими постулатами, т. е. такие понятия, как говорящий коллектив (речевая общность), акт речи и языка и т. п., теперь приобретают характер проблем и становятся объектами эмпирического изучения как в этнографическом плане, так и в плане сопоставления культур.

В течение жизни более чем одного поколения этнографы неоднократно высказывались за изучение фольклора в терминах контекста ситуации. Большая часть исследований в этой области продолжала следовать литературным

следует обратиться к статьям Фрейка, Пемба, Ромиса и Стерлинга в сб. под ред. Ромиса и Д'Андраде и в недоверенной специальном выпуске Американской ассоциации антропологов (Special Publication of the American Anthropological Association), посвященном компонентному анализу. Наконец, Ю. Стерлигов в сб. «Аналитические статьи» (Ленинград, 1964) следует обратиться к статьям Эрвина, Ломарина и Набока в сб. под ред. Гемпера и Хаймса и к отчету о конференции в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в мае 1964 года, который должен выйти под ред. У. Брейта. По вопросам этнографии и лингвистики следует обратиться к сб. «Approaches to semiotics» ed. by T. A. Sebeok (Gravenhage, 1964).

Д. Х. Хаймс

Перевод Ю. Стерлигова

РЕЦЕНЗИИ

A. F. Sjoberg. Uzbek structural grammar. Bloomington, 1963. 158 стр. («Indiana University publications, Uralic and Altaic series», 18).

В настоящее время известно небольшое количество работ, в которых описание тюркских языков производится с применением методов дескриптивной лингвистики [1]. Наиболее значительная из них — «Структуральная грамматика узбекского языка» — написана А. Шёберг, преподавательницей университета в Техасе.

При написании грамматики А. Шёберг пользовалась материалами, полученными ею от двух информантов — узбеков, уроженцев Ташкента, и специальной литературой: грамматиками узбекского языка А. Н. Кононова, А. Ф. Габен, С. Бурин, фонетикой В. В. Решетова, грамматическим очерком А. К. Боровкова и т. д.

Во вводной главе (стр. 1—6) автор сообщает о целях исследования и приводит некоторые общие данные об узбекском языке.

Глава «Фонология» (стр. 7—40) включает в себя пять разделов: 1) введение, 2) сегментные фонемы, 3) стилистические варианты, 4) суперсегментные фонемы, 5) орфография [2].

К числу сегментных фонем отнесены: а) согласные /p, b, t, d, k, g, q, ǧ, f, s, z, š, ž, x, ǧ, h, ts, č, ǰ, m, n, ŋ, w, l, r, y/ [3]; б) гласные /i, e, a, ɔ, o, u/. Три согласные фонемы /f, ž, ts/ встречаются только в заимствованных словах.

Автор подробно описывает аллофоны согласных и гласных и рассматривает различные случаи свободной альтернации фонем, например звонких и глухих согласных в конце слова, /b/ ~ /p/, главным образом в интервокальном положении, /f/ ~ /φ/ в заимствованиях из русского языка, /b/ ~ /w/ в интервокальном положении, /q/ ~ /x/ в интервокальном положении и в конце слова; /g/ ~ /ǧ/ в конце слова, /h/ ~ /x/. Основные типы альтернации гласных фонем, проявляющейся в ограниченных размерах, отражены в следующей схеме.

В целом данный раздел содержит довольно точные и тщательно отработанные формулировки, которые не вызывают существенных возражений. Однако то, что можно было бы назвать в нем итоговой частью, не является оригинальным. Перечень сегментных фонем, выделенных А. Шёберг, почти полностью совпадает с традиционным.

Характеристика некоторых аллофонов требует уточнений. Автор, например, делит щелевые согласные на две группы: slit fricatives [φ, f, v, s] и groove fricatives [s, z, š, ž, x, x̌, g], очевидно, имея в виду плоскощелевые и круглощелевые; однако возможность круглощелевой артикуляции [s, z, x, x̌, g] в узбекском языке является в высшей степени сомнительной.

В разделе, посвященном анализу стилистических вариантов, выделяются три стиля: 1) подчеркнуто правильный (hyper-correct) — с довольно частым употреблением /f/ и айна в словах, заимствованных из арабского языка, а также с удлинением некоторых гласных; 2) разговорный — с многообразными альтернациями и выпадением фонем; 3) эмоциональный, характеризуемый наличием сверхсильного ударения, геминированных согласных и удлиненных гласных (в слогах под сверхсильным ударением), необычной позицией главного ударения и т. д. Совер-

[1] См., например: Ch. E. Bidwell, A structural analysis of Uzbek, «American Council of learned societies. Program in Oriental languages, Publications series B — Aids-number 3», Washington, 1955.

[2] Данная глава представляет собой несколько измененный вариант статьи, опубликованной автором в 1962 г.: A. F. Sjoberg, The phonology of standard Uzbek, «American studies in Altaic linguistics» («Indiana University publications, Uralic and Altaic series», 13), Bloomington, 1962.

[3] Здесь и ниже полностью сохранены транскрипционные знаки А. Шёберг.

[4] И. Крамский в своей рецензии на грамматику А. Шёберг высказывает по этому вопросу несколько иное мнение (AO, 32, 3, 1964, стр. 467).

шенно очевидно, что количество информантов и их состав («два образованных узбека») не располагали к удачному решению каких-либо вопросов фонологической стилистики. Приведенная классификация поверхностна и очень условна. Так, например, понятия разговорного и эмоционального стиля в значительной мере покрывают друг друга, а некоторые особенности первого из них типичны и для подчеркнуто правильной речи.

Несомненное достоинство данной главы — в наличии довольно подробного описания так называемых суперсегментных фонем [5], представляющего собой непременную составную часть фонологических работ американских дескриптивистов. Вопросы определения состава суперсегментных фонем и их дистрибуции в тюркских языках, привлекающие к себе внимание многих советских тюркологов, излагаются ниже с некоторыми подробностями.

Автор устанавливает наличие четырех групп суперсегментных фонем: внутренней, или меньшей, смычки-паузы (internal juncture), вершинной, или большей, смычки-паузы (terminal, or major, juncture), ударения (stress) и тона (pitch).

Внутренняя, или меньшая, открытая (open) смычка-пауза (+) представляет собой нормальный переход, очень маленькую паузу между «фонологическими словами» и морфемами. Она противополагается закрытой, плотной (close) смычке-паузе, заключающейся в переходе от одной фонемы к другой или от одного слога к другому внутри морфем.

/ | / — неконечная бо́льшая смычка-пауза, сопровождаемая ровным, восходящим или, изредка, высоким падающим тоном. Обычно вызывает некоторое удлинение предшествующих сегментных фонем. Пример: /²siz | ³kaḥ²wa | ²iča³sizmi ↑ / «будете ли вы пить кофе?». / ↑ / — конечная бо́льшая смычка-пауза, сопровождаемая повышением тона и вызывающая более значительное, чем / | /, удлинение предшествующих сегментных фонем, например, /²bilur³sammi ↑ / «знаешь ли ты?». / ↓ / — конечная бо́льшая смычка-пауза, сопровождаемая падающим тоном; всегда предшествует молчанию: /²iš³lay¹ man ↓ / «я работаю».

Ударение является фонологически значимым на разных уровнях. Минимальные пары образуют слова, различающиеся позицией ударения, ср. /qizgíná/ «маленькая девочка», /qízgina/ «только девочка»; /jɔzmá/ «письмо, писание», /jɔ́zma/ «не пиши»; /oqituwčimíz/ | «наши учителя», /oqituwčímiz/ «мы учителя». Главное ударение /´/ обычно бывает на последнем слоге у всех неглагольных слов. К числу исключений относятся: а) некоторые наречия и союзы, заимствованные из арабского и персидского языков, например, /albátta/ «конечно», /ḥátto/ «даже», /ámmɔ/ «но, однако», /bázan/ «иногда», /lékin/ «но»; б) многие заимствования из русского языка; в) ряд вопросительных слов и т. д. В глагольных формах позиция главного ударения характеризуется большим разнообразием, ср. /qarán̡/ «смотрите», /otíraman/ «я сяду», /kéltirma̡gizlar/ «не приносите». Второстепенное ударение /ˆ/ наблюдается в просодических единицах, содержащих не менее двух слогов, например, /râ : xím/ — имя собственное, /kêyinrɔ́x/ «позже». В тех случаях, когда главное ударение падает не на последний слог, второстепенное ударение обнаруживает тенденцию перемещаться к концу слова: /hɔ́zirgâča/ «до сих пор», /héč-qanaqâ/ «никакой». Третьестепенное ударение /ˋ/ падает на начальный или следующий за ним слог. Пример: /šahàrlarimîzdagilár/ «те, которые находятся в наших городах». Иногда, однако, ему может предшествовать второстепенное ударение, ср. /qišlɔqimîzgá/ «в наш кишлак». Слабое ударение /˘/ имеют энклитики и те слоги многосложных просодических единиц, которые не несут главного, второстепенного или третьестепенного ударения: /sîz ŭzbékmĭ/ «вы узбек?»

Тон фонематичен только на синтаксическом уровне, в просодических единицах, оканчивающихся конечной бо́льшей смычкой-паузой / ↑, ↓ /. Высокий тон /³/ встречается чаще всего в сочетании с главным ударением, средний /²/ — в сочетании с второстепенным, третьестепенным или, реже, слабым ударением, низкий /¹/ — в комбинации с /³/, сопровождая слог или слоги, предшествующие конечной бо́льшей смычке-паузе. Примеры: /³mén | ²yôšlĭgĭm³dá | ²màtĕmâtĭkă³ dá | ²yăxšĭbŏl³gán¹măn ↓ / «когда я был ребенком, я был силен в математике». Хотя низкий тон нередко совпадает со слабым ударением, он может выступать и с любым другим ударением, в частности с главным, когда оно находится на последнем слоге: /²mênĭn̡ ŏg³⁻² lím | ²mûăl¹ lim ↓ / «мой сын учитель».

Не касаясь здесь вопроса о правомерности фонемной интерпретации различных суперсегментных или просодических явлений, отметим только, что в рассматриваемом разделе имеется много интересных наблюдений, которые могут быть использованы в дальнейших исследованиях. Несомненным новшеством является разработка вопроса о смычке-паузе в узбекском языке.

[5] Описание А. Шёберг не является единственным, см. упомянутую выше грамматику Ч. Бидуэла, а также статью С. Вурма (S. Wurm, Über Akzent- und Tonverhältnisse im Özbekischen, UAJb, XXV, 3—4, 1953).

Самое большое место в разделе о суперсегментных фонемах отводится, естественно, ударению. Проблема ударения в тюркских языках — одна из наиболее трудных: до сих пор существует много неясностей в характере распределения и взаимозависимости различных степеней силового выделения слога, в вопросах соотношения ударения и тона, связи силы ударения с фонетическим составом слова и т. д. Конечно, А. Шёберг не дает вполне определенных ответов на все эти вопросы. Некоторые из них даже не ставятся, например вопрос о возможности свободной альтернации фонем главного и дополнительных ударений. Кстати сказать, отдельные приведенные А. Шёберг примеры, в особенности на второстепенное и третьестепенное ударения, как справедливо отметил К. Менгес [6], иллюстрируют случаи индивидуального произношения. Тем не менее, знакомство с содержанием и этой части рассматриваемого раздела будет безусловно полезным для специалистов как по узбекскому, так и по другим тюркским языкам.

Третья глава «Фонотактика и морфофонология» (стр. 41—54) содержит хорошо известные специалистам и неоднократно приводившиеся в литературе данные о распределении сегментных фонем, о структуре слога (фонотактика) и о различных процессах, происходящих на границе морфем, в связи с изменением формы слова: о регрессивной и прогрессивной ассимиляции, о выпадении краткого гласного в последнем слоге основы, выпадении конечных согласных и т. д. (морфофонология).

В четвертой главе (стр. 55—67) дано описание формальных и функциональных классов. А. Шёберг подразделяет морфемы на три группы: корни (roots), послелоги и частицы (postpositions and particles) и аффиксальные морфемы — суффиксы и небольшое количество префиксов (additional morpheme-types). Далее она выделяет семь классов корней или слов-корней: 1) имена, 2) местоимения, 3) прилагательные, 4) наречия, 5) глаголы, 6) союзы, 7) междометия и две группы аффиксальных морфем (1) словообразовательные — derivational suffixes, 2) словоизменительные — inflectional suffixes).

Различие корней, с одной стороны, и послелогов и частиц, с другой, состоит в том, что первые из них могут выступать в качестве основ (bases) и быть ядром морфологических конструкций, тогда как вторые лишены такой способности.

Критерии выделения классов — формальный (включая дистрибуцию) и функциональный. Так, имена — это слова, которые могут выступать с любым падежным суффиксом, суффиксами принадлежности и мн. числа. Местоимения — слова, которые присоединяют к себе падежные суффиксы, суффикс мн. числа и, в исключительных случаях, суффиксы принадлежности. Прилагательные — слова, не присоединяющие никаких словоизменительных суффиксов и суффикса мн. числа. Наречия также не имеют никаких живых словоизменительных форм, и таким образом отграничение их от прилагательных основывается на функциональном признаке.

Выбор автором одновременно двух критериев для классификации слов-корней — формального и функционального, с нашей точки зрения, не является удачным, так как приводит к смешению формальных классов с функциональными и разных формальных классов между собой. Причастия, например, рассматриваются как имена, прилагательные и глаголы (причастие — verbum finitum, когда выступает в функции предиката); количественные числительные — как имена и прилагательные.

Столь же неудачным и, кроме того, весьма субъективным является выбор конкретных классификационных признаков, например падежных суффиксов, суффиксов принадлежности и мн. числа для имен, по способности принимать которые имена отграничиваются от местоимений и прилагательных.

В связи с этим следует также заметить, что отграничения в морфологической сочетаемости не всегда могут служить основанием для отнесения тех или иных слов к особым грамматическим классам. Если отдельные группы местоимений не присоединяют суффиксов принадлежности, а некоторые группы числительных — суффикса мн. числа, то это обусловлено их лексико-семантическим, а не морфологическим своеобразием, и поэтому не является существенным для классификации по формальному признаку. Характерно, что в ряде случаев А. Шёберг учитывает это обстоятельство. Например, личное местоимение 1-го лица ед. числа, имеющее своеобразное лексическое значение, не присоединяет суффикса мн. числа, и тем не менее автор не выводит его за пределы класса местоимений.

Трудно согласиться, даже разделяя общие методические установки А. Шёберг, с ее интерпретацией имен, выступающих в форме местных падежей, как наречий, ср. /idɔrasida/ «в его учреждении», /ikkinči partada/ «на второй парте», /maktab bɔǧidan/ «из сада школы».

В пятой и шестой главах, посвященных соответственно «Словообразованию» (Derivation — стр. 68—81) и «Словоизменению» (Inflection — стр. 82—136), рассматриваются словообразовательные (именные, местоименные, глагольные и т. д.) и словоизменительные (именные и

[6] K. H. Menges, [рец. на сб.:] «American studies in Altaic linguistics», «Göttingische gelehrte Anzeigen», 215. Jg., 3/4, 1963, стр. 238.

глагольные) суффиксы. Примечательно, что к числу глагольных словоизменительных суффиксов отнесены суффикс отрицания, форманты, передающие вид-время-наклонение (tense-mode-aspect prefinal suffixes), и личные окончания; таким образом, в глагольное словоизменение включаются все суффиксы, образующие причастия.

Седьмую главу автор посвящает анализу структуры выражения (phrase — стр. 137—148). Непременным компонентом выражения является подчиняющий член (head), факультативным — определительный член (attribute) или дополнение (complement). В зависимости от того, что выступает на месте подчиняющего члена (имя, прилагательное, наречие или глагол), выражение может быть 1) именным: /sigir suti/ «молоко коровье», /guzal bir qiz/ «красивая девушка», 2) адъективным: /juda tez/ «очень быстро», /qaysi biriga/ «к какому?», /ana bu yerda/ «вот здесь», 3) глагольным: /bu boldi/ «это было». Каждая группа выражений образует несколько подгрупп по составу определительного члена (именная, адъективная, наречная) или дополнения (глагольная). Далее общая принципиальная классификация выражений по группам и подгруппам используется при подходе к анализу конкретных материалов, когда возникает подчиненные вопросы. Ясно, например, почему выражение /guzal bir qiz/ «красивая девушка» относится к именным, а выражение /aqli zaif odam/ «человек с неважными умственными способностями, идиот» — к адъективным, почему выражение /juda ehtiyotkorlik bilan/ «с большой осторожностью» — к адъективным, а выражение /ertaga/ «завтра» — к наречным.

Последняя глава — описание структуры простого предложения (стр. 149—166). Простое предложение (clause) может состоять из одного или нескольких выражений (phrase), напр. /salom!/ «привет», /qani kasal?/ «где больной?», /men bilan keladigan/ «который поедет со мной», /kelishi kerak/ «должен прийти», /bugun qilinishi lozim/ «это должно быть сделано» (букв.: «должное сегодня»). Оно может быть независимым или зависимым.

Независимое простое предложение, будучи основным членом простого предложения (sentence), выступает либо самостоятельно, либо в составе сложного предложения и завершается конечной большей смычкой или узой /↓/, /↓/. Зависимое простое предложение никогда не может быть только его частью (ср. в традиционном синтаксисе: причастный и деепричастный обороты). Оно завершается, как правило, неконечной большей смычкой или паузой /→/, /→/.

Независимое простое предложение в сочетании с зависимым или другим независимым простым предложением образует сложное предложение (compound sentence). При этом связь между ними осуществляется посредством союзного или бессоюзного соподчинения (coordination), союзного или бессоюзного подчинения (subordination) и включения (insertion). Под последним имеется в виду прием, используемый для введения в состав предложения прямой речи.

Иерархия единиц синтаксического уровня в узбекском языке, устанавливаемая А. Шёберг в соответствии с общими принципами дескриптивной грамматики, достаточно точно отражает их формально-синтаксическое и функциональное своеобразие. Ценного рода классификации, в особенности выражений (phrases), отличается большой продуманностью и стройностью.

В синтаксическое необходимо указать на имеющиеся в работе А. Шёберг большого количества мелких погрешностей. Некоторые из них (помимо уже отмеченных в обзоре работы А. Мейтесом) приведем ниже. /ol/ означает не «трон», а «ворона, ворон» (стр. 47), /kimda/ не «где», а «кто», /kimlarda/ не «где-то, а-то» (стр. 52), /oqiyajakmisan/ не «будешь ли ты писать», а «будешь ли ты читать» (стр. 125), /sabab/ не «казан для плова», а «бедуин» (стр. 139), /cho'mil/ не «плавать», а «купаться» (стр. 144), /uzun/ не «узкий», а «длинный», /kecha bir qancha vaqtdan beri bu yerdaman/ не «я буду здесь две недели», а «я уже здесь две недели» (стр. 453).

В ряде случаев приведены ошибочные написания: /yuz/ вместо /yaz/ «лето» (стр. 59), /bilasa/ вместо /bilsa/ «если знает» (стр. 131), /ota etib/ вместо /ayta, aytib/ «сказав» (стр. 131, 134), /osti/ вместо /ost/ «он вопрос» /tuzaltab/ вместо /tusattan/ «вдруг, неожиданно» (стр. 146), /bark/ вместо /barg/ «лист» (стр. 156). На стр. 88 форма на /-da/ названа формой нат. падежа. Слова или фонетические варианты слов: /qo'rg'on/ «крепость» (стр. 48), /sahrdor/ «глава города, мэр» (стр. 69), /guringc/ «рис» (стр. 142) и сочетания /kuc yigit/ «сильный юноша» (стр. 144), /nazar parta/ «парта Назара», /maktap deraza/ «окно школы» (стр. 139) в нормативном узбекском языке не встречаются. То же самое можно сказать о форме /erkaklarligini/ «то, что является принадлежностью мужчин» (вин. падеж, стр. 153) и сочетании /xatinlar sozlanilmadi/ «о женщинах не говорилось» (стр. 150, пропущен послелог). Разновидности послелогов с так называемым вставочным /n/ — /ustinda/ «на; над», /yaninda/ «около» (стр. 94) — явно устаревшие.

А. И. Щербак

---

[7] См.: К. Н. Аменов. Указ. соч., стр. 237, 238.

Н. Корлэтяну. Стилистика русизмов в лексической системе молдавского языка 70—90-х гг. XIX в. (Контрибуция лui Ион Крянгэ ла актуализаря стилистикий а вокабуларулуй контемпоран). — Кишинэу, 1964. 96 стр.

Выход в свет «Исследования лексической системы молдавского языка 70—90-х гг. XIX в.» Н. Г. Корлэтяну является значительным событием в молдавской лингвистике минувшего года.

Вопросы, касающиеся формирования, стабилизации и дальнейшей эволюции молдавского общелитературного языка, составляют одну из основных проблем молдавского языкознания. Решение этой проблемы невозможно без тщательного исследования исторических предпосылок, которые содействовали образованию и развитию современного молдавского литературного языка. В своем исследовании Н. Г. Корлэтяну сделал попытку обобщить собранные до сих пор данные об исторических условиях и основных процессах развития молдавского литературного языка, в частности его лексического состава, в период, когда выкристаллизовывались его лексико-стилистические и грамматические нормы.

В рецензируемой монографии освещается лексика одного писателя в самой тесной связи с лексикой произведений других представителей молдавской культуры (в частности, М. Эминеску, В. Александри и др.). Н. Г. Корлэтяну останавливает свой выбор на И. Крянгэ, потому что в произведениях этого писателя отражены языковые явления, чрезвычайно характерные для периода становления норм литературного языка, а также намечены определенные тенденции, которые в дальнейшем нашли свое более широкое развитие.

«Исследование лексической системы молдавского языка 70—90-х гг. XIX в.» состоит из Введения (стр. 7—24), где определена цель работы и критически излагаются сведения о творчестве И. Крянгэ, девяти глав и общих выводов.

Первая глава «Историко-методологические проблемы» (стр. 25—121) важна по своему научно-теоретическому содержанию, здесь обсуждаются вопросы функциональных соотношений национального языка, литературного языка, языка художественной литературы и языка писателя, некоторые вопросы стилистики, метода исследования и др.

Полемизируя с Б. В. Томашевским, И. Иорданом, А. В. Исаченко, С. Стойковым, Г. Ивэнеску, Ал. Грауром и др., Н. Г. Корлэтяну обосновывает свое мнение о том, что литературный язык представляет собой лишь один из аспектов общенационального языка, а именно отработанную форму общенационального языка, имеющую свои функции и свое характерное содержание в разные периоды развития народа.

При анализе соотношений литературного языка и языка писателя большое внимание уделено шлифовке литературного языка писателем. Признавая, что основные тенденции языкового творчества писателей соответствуют направлениям эволюции литературного языка, и что писатели оказывали существенное влияние на развитие литературного языка, Корлэтяну акцентирует внимание на тесных связях между индивидуальным языком и стилем писателя и языком и языковым стилем соответствующей эпохи.

Заканчивается первая глава обзором методов исследования словаря писателя, в числе которых особо выделяются использованные Н. Г. Корлэтяну генетический и семантико-стилистический принципы, семасиологический прием, ономасиологический метод. Особо отметим, что здесь впервые в молдавском языкознании применен метод лингвистической статистики при исследовании лексики писателя.

Во второй главе «Молдавский литературный язык XIX в.» (стр. 122—157) автор, характеризуя период, предшествующий литературной деятельности И. Крянгэ, уделяет особое внимание формализаторской деятельности И. Э. Радулеску, К. Негруци и др. Это прежде всего разработка принципов орфографии, фиксирование грамматических форм, борьба за приближение литературного языка к языку народному, за исключение тюркизмов и грецизмов, засоряющих язык, за введение неологизмов, отражающих новые понятия, причем последнее осуществлялось как за счет внутренних ресурсов, так и путем заимствований из латинского и других романских языков, особенно из французского, довольно часто через посредство русского языка. Освещая исторические контакты молдавского литературного языка с русским языком, Н. Г. Корлэтяну рассматривает их как следствие длительных экономических, политических и культурных связей молдавского и русского народов, в том числе интенсивных русско-молдавских и молдавско-русских литературных связей в XIX в. Другим важным, поистине неиссякаемым источником обогащения и совершенствования молдавского литературного языка новыми лексическими, фразеологическими и грамматическими элементами явился язык простого народа.

В третьей главе «Общая характеристика языка произведений И. Крянгэ» (стр. 158—224) автор показывает умение И. Крянгэ обновить семантику существующих слов, форм, выражений; не язык как таковой им реформируется, а обновляется литературный стиль, специфический для определенной тематики. И. Крян-

гэ ввел в литературный язык средства живой народной устной речи: в его произведениях диалектальные формы, не перегружающие живую ткань общенародного языка, чаще всего обладают стилистической окрашенностью. Архаизмы и историзмы, устарелые фонетические и грамматические формы употребляются умеренно, а неологизмы отсутствуют. Устный характер произведений Крянгэ отражен в разнообразных фонетических, лексических, морфологических и синтаксических средствах. Некоторые устойчивые сочетания слов, отдельные сравнения, повторения придают произведениям Крянгэ явно фольклорный колорит (*виулика албэ*; *фрумоасэ* ***ка мама фокулуй*** и др.).

Н. Г. Корлэтяну вслед за О. Денсушяну и И. Иорданом считает язык великого молдавского сказителя общенародным (вопреки региональному или же диалектальному истолкованию характера языка Крянгэ некоторыми исследователями).

В четвертой главе «Семантические отношения между словами» (стр. 225—292) представлены некоторые аспекты синонимии, омонимии и антонимии в произведениях И. Крянгэ, где эти явления играют значительную стилистическую роль, используясь для увеличения выразительной силы языка и его благозвучности, для создания местного специфического колорита. Наряду с лексической синонимией И. Крянгэ использует и грамматическую (морфологическую и синтаксическую) синонимию.

Последующие главы (V—IX, стр. 293—472), составляющие вторую часть работы, посвящены анализу особенностей лексики и фразеологии, а также специфики стилистического использования частей речи в творчестве И. Крянгэ. Стилистическое исследование частей речи должно учитывать адекватный и эффективный характер их употребления, их синонимические эквиваленты, стилистические возможности производных средств. Части речи анализируются с количественной (статистической) и качественной (стилистической) точек зрения. В произведениях И. Крянгэ, по подсчетам Н. Г. Корлэтяну, преобладают (в разных пропорциях в зависимости от характера произведения) существительные (от 29,08 до 52,96%) и глаголы (от 23,72 до 29,34%). Н. Г. Корлэтяну делает попытку истолковать результаты подсчетов как в плане общей характеристики писательского метода, так и в плане определения удельного веса той или иной категории в системе грамматических явлений.

Подробно анализируются существительные (гл. VI, стр. 307—363), распределенные условно на три основные темы (бытовая, военная и религиозная) и собственные имена. Каждая группа подразделяется на многочисленные тематические подгруппы слов с конкретным и абстрактным значениями; таковы, например, подгруппы слов, обозначающих одежду — *думамэ*, *сарикэ*, *сэрдак*, *фес* и др., социальное положение — *вэтэман*, *мавил*, *рэвеш*, обычаи — *кранкалык*, *хородинкэ* и др., типичные для определенного исторического периода, для определенной местности.

Среди существительных, выражающих абстрактные значения, выделяются в первую очередь именные формы, которые обозначают действия, состояния, качества и др., употребляясь, как правило, в ед. числе и образуясь посредством суффиксации (*дормире*, *а скэпаре*, *мынкаре*, *амор*, *гэлбенялэ*, *аминте*, *избелиште* и др.). И. Крянгэ использует их довольно часто в определенных оборотах речи с ироническим, пренебрежительным оттенком. Н. Г. Корлэтяну рассматривает стилистическое использование собственных имен, таких как *Иван Турбинкэ*, *Стату-Палмэ-Барбэ-Кот*, *Окилэ*, *Жерилэ* и др., в которых подчеркивается характерная внешность героя или особенность его характера, специфика его действий и т. д. При разборе словообразования существительных особое внимание уделено суффиксации, конверсии и словосложению (*гурэ-каскэ*, *умбра-епурелуй* и др.); последний прием особенно характерен для устного народного творчества и разговорной речи.

В произведениях И. Крянгэ количество прилагательных колеблется от 5 до 13,6%; ограниченное количество эпитетов и метафор объясняется народным и эпическим характером творчества самого писателя (см. гл. VII, стр. 364—400). Как и для существительных, группировка прилагательных по категориям проведена условно, так как иногда одно и то же прилагательное может принадлежать к обеим традиционным категориям (прилагательные качественные и относительные) в зависимости от оттенков выраженного им значения (например, *мэрунцел*, *амар* и др.).

Качественные, как и количественные, прилагательные сгруппированы тематически. Из наиболее продуктивных суффиксов, передающих увеличительное и уменьшительное значения с обесценивающим и прямо противоположным оттенками, автором выделены *-атик*, *-аш*, *-ел*, *-еск*, *-ишор*, *-ос*, *-уц* и др. Префиксы представляют меньшие возможности лексического обогащения прилагательных не только у Крянгэ, но и в литературном языке. Исключением является отрицательный префикс *не-* (*неастымпэрат*, *нестрэмутат* и др.). Представляет интерес и анализ приемов стилистического использования степеней сравнения (стр. 389—398).

В главе VIII (стр. 401—454), посвященной глаголу, широко представлены категории времени, выраженные многими

вариантами. Так, например, выделены шесть вариантов «неактуального» настоящего времени (презентул узуал, калификатив, детерминатив, потенциал, историк, античипат), перечислены различные выражения, способные передать значения настоящего времени, установлены сложные соотношения между временными формами глагола, рассматриваются их стилистические функции. В языке Крянгэ, как и в общем литературном языке, система глагольного вида не имеет морфологического выражения, хотя понятие и значение вида передано весьма выразительно и неграмматическими средствами, в особенности лексическими (*ам ынчепут + а спуне, ынчепусе + а ынноптa* и др.). Частое употребление глагольных форм определено стремлением И. Крянгэ акцентировать всегда действие, движение — основная характерная черта любого эпического произведения.

С большим чутьем языка и с большой научной компетенцией Н. Г. Корлэтяну выявляет и анализирует функции и специфические особенности использования в произведениях И. Крянгэ «грамматических инструментов» — артиклей, союзов, частиц, междометий и звукоподражательных слов (гл. IX, стр. 455—472).

«Исследование лексической системы молдавского языка 70—90-х гг. XIX в.» Н. Г. Корлэтяну является первой работой по лингво-стилистике в молдавском языкознании. Рецензируемая книга, естественно, не лишена недостатков, к числу которых относится, например, избыточность сведений общего характера (см. стр. 59—60, 102 и след., стр. 344 и др.); затрудняет чтение книги и некоторая фрагментарность отдельных глав (см., например, во второй главе стр. 140—156), использование необычных, а то и устаревших терминов («нуанце ипокористиче», стр. 385; «калитэць характероложиче», стр. 345 и др.).

Прилагательное *унтделемниу* не создано И. Крянгэ, как утверждает автор (стр. 160). Оно заимствовано им из устной народной речи и довольно широко распространено в современных говорах МССР. Неудачно избран пример для иллюстрации мастерства И. Крянгэ в передаче путем топики определителя качественной оценки (см. стр. 368). Постановка прилагательного *бьет — бьятэ* перед существительным обычна (нельзя сказать, например, *бабэ бьятэ, вэкушоарэ бьятэ* или *ом бьет*).

Работа, несомненно, выиграла, если бы подготовленный Н. Г. Корлэтяну словарь Крянгэ был приложен к ней; то же следует сказать и в отношении списка использованной литературы.

Выход в свет монографии Н. Г. Корлэтяну «Исследование лексической системы молдавского языка 70—90-х гг. XIX в.» имеет большое значение для дальнейших исследований языка и стиля художественных произведений классических и современных писателей. Одновременно данная монография послужит надежным подспорьем для дальнейших исследований основных этапов истории молдавского литературного языка.

Р. Я. Удлер

R. Gusmani. **Lydisches Wörterbuch (mit grammatischer Skizze und Inschriftensammlung).** — Heidelberg, 1964. 280 стр.

В рецензируемой книге собраны все основные сведения о лидийском языке — одном из древних языков Западной Анатолии, входящем в хетто-лувийскую группу индоевропейских языков.

Лидийские надписи, записанные буквенным письмом, относятся к VII—IV вв. до н. э.; в настоящее время известно свыше 60 таких надписей. Большинство лидийских надписей (39) было обнаружено на территории древних Сард — столицы Лидии — во время американских раскопок в 1910—1913 гг.; в самое последнее время в Сардах было обнаружено несколько новых лидийских надписей (раскопки под руководством Дж. Ханфмана). В 1927—1936 гг. появился ряд статей, содержащих комбинаторный анализ лидийских надписей (П. Кале, Ф. Зоммер, В. Бранденштайн, Э. Грумах, П. Мериджи). В этих работах была в основном решена проблема интерпретации лидийских надписей, причем был доказан индоевропейский характер лидийского языка (П. Мериджи). Успеху этих исследований способствовало наличие нескольких достаточно больших лидийско-арамейских и лидийско-греческих билингв. В настоящее время никто не сомневается в хетто-лувийском характере лидийского, спор идет о том, к какому или к каким из хетто-лувийских языков лидийский стоит ближе. А. Камменхубер, О. Карруба и некоторые другие ученые полагают, что лидийский входит в хетто-лидийскую подгруппу хетто-лувийских языков (в эту же подгруппу, как удалось установить рецензенту, входит и карийский язык), тогда как большинство других хетто-лувийских языков входит в лувийско-ликийскую подгруппу. Р. Гусмани, использующий в своих исследованиях в основном комбинаторную методику, воздерживается от того, чтобы занять по этому вопросу более или менее определенную позицию.

Рецензируемая книга состоит из «Предисловия» (стр. 7—8), «Списка литерату-

ры и сокращений» (стр. 9—16), «Введения» (стр. 17—28), «Грамматического очерка» (стр. 30—48), «Лидийского словаря» (стр. 49—231), «Собственных имен, представленных в лидийских надписях» (стр. 232—234), «Обратного списка лидийских слов» (стр. 235—242), «Обратного списка именных, местоименных и глагольных основ» (стр. 243—248), «Лидийских надписей» (стр. 249—270; №№ надписей 1—61), и «Лидийских глосс» (стр. 271—278), «Корректурных примечаний» (стр. 279—280). К сожалению, в книге отсутствует раздел, посвященный анализу элементов лидийской топономастики, дошедшей до нас в греко-римской передаче, но не представленной в лидийских надписях. Почти не рассматриваются и вопросы эволюции лидийских букв.

Лидийские надписи в своем подавляющем большинстве читаются справа налево, четыре надписи читаются слева направо, одна записана бустрофедоном. В отношении этих пяти надписей Гусмани замечает, что они относятся к числу наиболее древних и что некоторые буквы, входящие в эти надписи, весьма архаичны (стр. 20—21). Это замечание может навести на мысль о том, что для наиболее архаичных надписей характерны бустрофедон или правая направленность, но не левая. На самом же деле таким надписям свойственно отсутствие твердой фиксации направленности письма, а это обусловлено тем, что в еще более раннюю эпоху все надписи записывались бустрофедоном. Действительно, архаичные буквы встречаются и в тех лидийских надписях, которые читаются справа налево; среди древнейших карийских надписей есть записанные как слева направо, так и справа налево (позднее карийские надписи писались почти исключительно справа налево — ср. аналогичное явление в лидийском, — а еще позже, в IV в. до н. э., карийские надписи писались почти исключительно слева направо, как и греческие надписи соответствующей эпохи).

В отношении уникального варианта (напоминающего букву Ф) лидийской буквы + ([k^w]) Гусмани замечает (стр. 20—21), что отождествление Ф с + возможно, но не обязательно. Графически лид. Ф сопоставимо не с +, а, возможно, с ликийским «ромбом» (эта буква, несомненно, передавала в ликийских надписях один из гуттуральных согласных вопреки мнению Х. Педерсена, Э. Лароша и Ф. Хоуинка тен Кате). Заметим в этой связи, что в лидийских надписях не обнаружена буква, передававшая звонкий лабиовелярный, вследствие чего было выдвинуто предположение, что оба лабиовелярных — глухой и звонкий — передавались в лидийском посредством +. Лидийская буква, идентичная по форме ликийской и карийской буквам для *n* (обычно [n]), передавала в лидийском звук, близкий русскому *ц* (стр. 34). В карийском аналогичный звук передавался посредством ↑ = τ (ср. карийск. -(*o*)τ при лид. -(*o*)*t/d*, лик. -(*a*)*t/di*, хет. -(*a*)*zi* < -(*a*)*ti*, ср. лув. -(*a*)*ti* — всюду это окончание глагола 3-го лица ед. числа наст. времени; возможно, карийск. τ передавало не столько [ts], сколько [t'] или нечто подобное: ср. специфическое чередование *t* : *d* в лидийском и ликийском соответствиях). Звонкое соответствие карийск. τ [ts], видимо, могло передаваться в этом языке посредством *z*: ср. карийск. *kuoz* — аблатив (?) от **kuo-* «который» и окончания аблатива лик. -*di*, лув. -*ati*, ср. лув. -(*i*)*di* при хет. *kuez*(*zi*) «от которого». В лидийском языке ‡ = *c* передавало, видимо, звонкий дентальный звук, отличный от *d*; возможно, перед нами звонкое соответствие лидийского τ = [ts]; ср. лид. *ciw-* «бог» при хет. *siu-* < **diw-*; в этом и некоторых других случаях хет. *s* передавало звонкий звук (в других случаях лид. *c* восходит к и.-е. **dh*). Следует отметить, что постулировавшееся ранее чередование лид. *s* : *ś* (= [š]) на самом деле, как это показал Гусмани, в лидийских текстах не засвидетельствовано (стр. 32—33, 207 и 210—211). Р. Гусмани подчеркивает, что знаки *s* и *ś* лидийской транскрипции крайне неудачны (стр. 34). Буква *ś* встречается обычно по соседству с *i* (как правило, после *i*), обозначая шипящий или свистящий палатальный; буква *s* — лидийская сигма — передает обычный сибилянт [s]. Р. Гусмани полагает, что в лидийском имелись и палатальные сонанты, а именно — λ и ν: эти буквы встречаются обычно по соседству с *i* (стр. 38, с ссылками на работы предшественников). Интересно, что и в карийском имеются специфические λ и ν (в отличие от обычных *l* и *n*), причем по крайней мере в отношении употребительного λ можно утверждать, что оно имеет палатальный характер (в ряде случаев лид. и карийск. λ восходят к звукосочетанию **li*). В лидийском и карийском языках обнаруживаются, таким образом, ряды палатальных, включающие дентальные, шипящие и/или свистящие и сонанты. Типологически эти «вторые ряды» сопоставимы с соответствующими рядами согласных в некоторых славянских и других языках.

Данные, содержащиеся в «Лидийском словаре», подтверждают вывод о том, что в хетто-лувийских языках не было передвижения согласных: старые звонкие сохранились в этих языках в виде звонких, старые глухие — в виде глухих (некоторые незначительные отклонения можно адекватно объяснить, не прибегая к гипотезе о передвижении согласных). Чередование -*t* : -*d* в ауслауте местоименных форм [энклитика -(*a*)*t/d*; ср. карийск. энклитику -*t* и местоимение (?) Е*d*] и в наречии *kot/d*

(<хет. *kuwatta*) «как» Гусмани трактует как результат внешних сандхи (стр. 32 и Словарь, s. v.). Лид. *f* часто восходит к и.-е. **p*, однако и лид. *b* может восходить к этому **p*. Имеется несколько случаев чередования *b*, *f*, *v* в лидийском, что навело некоторых исследователей на мысль о спирантном произношении лид. *b*. Р. Гусмани не склонен разделять гипотезу о спирантном произношении лид. *b*, как и других лидийских звонких смычных (стр. 32). В связи с проблемой чередования *b* : *f* в лидийском следует отметить, что *b*- восходит к и.-е. **p* обычно в тех случаях, когда этот *b*- стоит перед *-i* (ср. в этой связи еще и чередование *-ibi-* : *-ifi-* в этимологически неясной лидийской форме — стр. 31) [1]. Существование варианта *lefś* наряду с исходной формой *levś* «бог» объясняется ассимилятивным влиянием глухого *-ś* (ср. еще *śfē-n-i-*, *śfē-n-da-* «имущество», *śfa-to-* «владелец», *fa-śfē-n-u* «владею» и т. д.— формы, имеющие в основе те же индоевропейские образования, что и русск. *свой*, *присвоить* и т. п.; кстати, эта этимология не учтена Гусмани).

Р. Гусмани констатирует чередование *o* : *u* в лидийском, возводя некоторые *o* и *u* к **aw*, **wa* (стр. 30 и сл., в этой связи он рассматривает и формы *kave-* «жрец»: *ko-* «offenbaren»; лид. *kave-*, как и иер. лув. *kawai-*, карийск. *kavea-*, анат. *Kawija* восходят к индоевропейской основе **kow-*, ср. др.-инд. *kavi-* «жрец» и др.). Чередование (*u*)*wa* : *u* имело место еще в древнехеттских языках— хеттском, лувийском и др. Аналогичное чередование наблюдается в ликийском и карийском языках (причем в карийском, как и в лидийском, имелся и гласный *o*); интересно, что в карийском засвидетельствована графема, передававшая звук, средний между *o*/*u* и *ov* (*e*) <**uwa*. Речь идет о карийском «прямоугольнике», который обозначен в моей транскрипции этого языка посредством *ù* (имеется еще и графический вариант «прямоугольник с вертикальным штрихом вверху»: $ù_1$). В карийском посредством *ù*, $ù_1$ передавался «трифтонг», представляющий не полностью редуцированное следование **uwa* (ближайшее лидийское соответствие: *-va-*), например, в исходе имен и топонимов: карийск. (*mi*)-*krù*[¦] при анат. *Karruwa* (или *mikr-*: лик. *m̃qr-* <**mikr-*?), карийск. *-mù*$_1$ < анат. *Muwa* (?), карийск *-ùλuù* < анат. *Waluwa* (ср. лид. *valve-*) при карийск. *uλ*(*oz*), Υλλοαλα (ср. анат. *Walawala*); эти формы связаны с хет.-лув. *walla*/*i-* «славит»; ср. еще карийск. *ols-* : анат. **wal* (*l*) *es-* «славит»; см. выше, относительно *ols-n-s-* и *stesas*). Соответственно в лидийском и карийском находим полные формы типа *kat-ova-* (лид.), *uk-ove* (карийск.) при анат. *Pask-uwa* (= карийск. *bsk-ove*) и редуцированные *-u*/*o-* формы имен типа лид. Καδνς (ср. *katova-*), *alu-* (ср. анат. *Aluwa-*), *karo-*, *saro-* и др., карийск. *toΩonu* (ср. анат. *Tuwanuwa-*) [2], *rabo* (ср. *ταbou*, *mavλodou*) и др.

В связи с указанным чередованием Р. Гусмани рассматривает формы *vroλ* и *vrauλ* (более архаичный вариант). Соответственно в карийском находим (*vine*) *-mau* : *mava* при лид. *ars-mava-* (или *-nava-* ?), **mav-li-* (лид. *armāv-*, возможно, восходит к анатолийскому имени бога луны *Arma*) и т. п. Как в лидийском, так и в карийском возможен исход именных основ на *-v-*: лид. *bēt-ov-li-* при карийск. *dp-ov-λ*, *es-ov-λ* (сходство между обоими языками подчеркивается генетическим тождеством обоих последовательно расположенных суффиксов; ср. еще лид. *kat-ova-li-*: карийск. *bsk-ove-λ*; *-li-* и λ суть суффиксы «адъективов-генитивов»), *pd-ov* (<анат. *Paduwa-*), *krk-ov* (ср. *Kar-k-*) и др. Не всегда ясно, имеем ли мы дело с чередованиями описанного типа или же с распространением тематических основ посредством суффикса, содержащего *-v-* (ср. лид. имя *bakiva-* при адъективе *bakilli-*; ср., далее, лид. *mariv-* при карийск. *hakiv-*, лид. *aśblu-va-* — этникон от **aśbluś* = Ασβολος и т. п.).

Наряду с чередованием *o*/*u* : *ov*(*a*) в лидийском отмечено чередование *i* : *ii* [в форме глагола *i-* «делать»: ср. хет. *ija-*, лув. *aja-*, лик. *a-* и карийск. *ii-ula* (при лув. *ajawala*) — отглагольное имя, в котором корень *ii-* точно соответствует лид. *ii-*]. Чередование *e*/*i* : (*i*)*ja* отмечено в хеттском — ср. *wemijat* : *wemit* «он нашел» и др.; и в этом случае в карийском промежуточному звуку соответствует особая графема — «прямоугольник с вертикальным штрихом внизу» (эта буква представляет собой в графическом

[1] Ср. лид. *bi-* : хет. *pai-* «давать», лид. *bira-* : хет. *pir* «дом» (ср. карийское имя Πιρ-ωμ-ις; в отношении основообразования ср. карийск. *pṭuλ-om-* при лик. *pttuli*). Лид. *b* восходит к и.-е. **p*, возможно, и в *fa-baλk-* «расширять» (??), где *-balk-* < и.-е. **plH-* (хет. *palk-*): ср. в ономастике лид. Παλκ-, карийск. Παλγ- (данное сопоставление может служить одним из доказательств сохранения рефлекса анат. *h* в лидийском; ср. еще лид. Καστωλος < хет. *hastali-* «герой»). Заметим, что лид. *b* передавалось греками как в виде β, так и в виде π.

[2] Соответственно лид. *saro-* может быть сопоставлено с иер. лув. *Saruwana* (стр. 191). Карийскому «прямоугольнику» в надписях юго-западной Карии соответствовал триграф ΟΩΟ, как это следует также из сопоставлений карийск. *un*ΟΩΟ*la* : лик. *unuwẽ*(*mi*) < хет.-лув. *unuwāi-* «украшать»; в карийск. *muk*ΟΩΟ*r lile* «(он) испрашивает искупление» (или «у него испрашивают искупления»?) мы имеем дело с переводом известной глагольной основы в класс основ на **-uwa* (ср. хет. *mugāi-* «молить», *lilāi-* «entsühnen»).

отношении угловатую разновидность «коппы», обозначавшей в карийском звук [*i*], точно так же как карийск. *ὶ* представляет собой угловатую разновидность «омикрона» — карийск. *o*). В лидийском имелся звук, промежуточный между *i* и *e* : Гусмани обозначает его, вслед за Э. Феттером, посредством *y* (стр. 30). Графически соответствующая лидийская буква напоминает карийск. *e*, что и отмечает Гусмани. Однако карийск. *e* передавало открытый звук (чередовавшийся с *a*); тем не менее, в карийском имелся редкий звук (графическое соответствие : Ε, Ш), промежуточный между *i* и *e*, который может быть сопоставлен с лид. *y*. В лидийском, как и в ликийском, имелись назализованные гласные (стр. 30 и сл.). Не исключено, что некоторые из карийских гласных, в целом весьма многочисленных, также были назализованными.

Для лидийского именного и глагольного основообразования чрезвычайно характерно обилие тематических основ (на *e*, *i*, *o* и др.; стр. 38 и 42). Точно такая же черта характеризует и карийское именное и глагольное основообразование.

В лидийском имеется два рода — общий с исходом номинатива на сибилянт (как и в хеттском) и средний с исходом номинатива-аккузатива на *-d* и очень редко на *-t* (стр. 36); соответственно местоимение *ed-* может рассматриваться как указательное местоимение среднего рода (ср. карийск. *Ed*) в отличие от указательного местоимения общего рода *es-*, ср. карийск. энклитику *-s*; карийск. энклитика *-t*, возможно, восходит не к *-d*, а к *t-*: ср. лид. *t-*(λ) (стр. 213). Аккузатив общего рода обычно имеет в лидийском исход на *-ν* (стр. 36; ср. карийск. *-ν*), датив-локатив обоих родов обычно оканчивается на *-λ* (ср. в этой связи карийские местоименные образования типа *p-λ*, *k-λ* при лид. *b-λ*, *t-λ*, *q-λ*, с одной стороны, и датив-локатив местоимений, с другой). В функции генитивов в лидийском выступают адъективы на *-li-* (а в карийском — родственные им адъективы на *-λ*; см. выше), тогда как в лувийско-ликийской подгруппе языков в этой же функции выступают *-s*-адъективы. Лидийским составным именам типа A B-*li* C-*li* (стр. 45 и др.) в карийском соответствуют составные имена типа A B-λ C-λ (ср. в типологическом отношении русск. *Иван Петров* (*-ич*) *Сидоров*). Среди лидийских местоименных форм обращает на себя внимание супплетивная основа *i-* (ср. также исследованную Г. Нойманом основу **io-*), сопоставимая с карийск. *i-* (в образовании *io*: надписи F13b и F15).

Наиболее четко идентифицируются в лидийском следующие глагольные окончания: *-u/-v* (1-е лицо ед. число наст.-буд. время), *-t/-d* (3-е лицо ед. число), *-ν* (1-е лицо ед. число прош. время), *-l* (3-е л. ед. и мн. число) (стр. 41 и 43). Окончания 1-го лица находят генетическое соответствие в окончаниях хет. *-u-n*, *-we-n* (1-е лицо ед. и мн. числа претерита); окончание *-l* имеет причастное происхождение (ср. русск. прош. время на *-л* < *-лъ* и т. п.); об окончании *-t/-d* уже говорилось. Карийская флексия была более разветвленной, что объясняется сохранением в этом языке старого противопоставления двух спряжений (видимо, чисто формального): ср. окончания глаголов 3-го лица ед. числа хет. *-zi* < **-ti* и карийск. *-τ* < **-ti* при хет. *-i* и карийск. *-i* (наст. время); хет. *-t* и карийск. **-t* (ср. «чистые основы» на *-ù*, *-a*, *-e*, возникшие в результате отпадения конечного **-t*: например, *(nda)kù* «написал»; ср. ниже) при хет. *-s* и карийск. *-s* (прош. время). Карийск. *-r* соответствовало хет. *-ri* (окончание 3-го лица ед.числа медиопассива). В карийском и лидийском языках имелись причастные и отпричастные формы на *-lo*, *-to*, *-ns* (стр. 42 и 44). Лидийский глагольный суффикс *-no-* (*-νo-*), видимо, восходит к хетто-лувийскому каузативному суффиксу *-nu(wa)-* (ср. стр. 177): соответственно в карийском находим *-n-*, например в *nodr-n-* при хет. *nu(n)tar-nu-* «быстро делать, спешить»; карийск. *da-n-* соответствует лид. *ē-ν-* «освящать» < и.-е. **dhē-*. В лидийском и карийском имелся и глагольный суффикс *-s-* (лид. *-s-* или *-si-*; ср. стр. 195), сопоставимый с лик. *-s-*, лув. *-ss-*, хет. *-sk-*, представляющими собой суффиксы итеративов (дуративов), причем засвидетельствованы последовательности суффиксов *-n-s-*: лид. *cē-n-s(i)-*, карийск. *nodr-n-s-*, *əks-n-s-* (ср. лид. *kasno-*?), *ols-n-s* (-). Что же касается карийск. *-es-* в *stesas* «поставил», то оно сопоставимо с *-es-* в хет. *kalles-* «звать».

В лидийском засвидетельствованы многочисленные именные предложения со сказуемым — прилагательным или причастием, например: *ak-m-λ levś sarētaś* «nun (ist) ihm Zeus wohlgesinnt» (стр. 45). В карийском наблюдаются аналогичные явления.

Прилагательное *avka-* P. Гусмани переводит: «rechtmässig, gültig» (стр. 71). Эта же основа содержится в карийском имени *avkañs* (ср. еще карийск. форму глагола 3-го лица ед. числа наст. времени: *av-n-e-τ* и существительное *av-n-ok* — эти формы содержат основу *av-n-*, образованную от корня *av-*).

Два лидийских слова — *borli-* и *brva-* — имеют одно и то же значение: «год». Гусмани не исключает мысли об их генетическом родстве (стр. 86), одновременно отмечая предложенное Нойманом соответствие лид. *borli-*: хет. (из протохат.) *purulli-* «(новогодний?) праздник» (ср. лик. *pruli-*); ср. в этой связи фонетический вариант лид. *forli-*, хет. *wurulli-*. Следует отметить, что обе формы **bṛli-*, **brva-*) засвидетельствованы в карийской (малоазийской) ономастике: Βρωλι-, Βρυα-. Лидийский союз *bu(k)* «или», возможно,

восходит к и.-е. **bhū-* «расти, быть» и др. (ср. стр. 87). Тот же корень засвидетельствован в карийском (абстрактном?) имени существительном *sav-bv-oz* (об окончании *-(o)z* см. выше), в собственных именах карийск. *buvse-*, *upsbu*, лик. *prija-bu-* и др.

Для неясной формы *civa-r-*, несомненно связанной с названием бога *civ-*, Р. Гусмани предполагает значение «оракул» или нечто подобное (стр. 93). Интересно, что в карийском засвидетельствовано имя *mesnar*, образованное от названия бога *mesna-* (ср. еще хет. *siu-r-*, этрус. *tivr* и т. п.). Не исключено, что формы *civ-*, *civar-*, *civva(li)-* характеризуются гетероклитическим чередованием нуль: *-r-* : *-n-* (ср. в карийском производные от *mes-*). Как подчеркивает Гусмани, лид. *civvali-* в точности соответствует хеттскому *siunali-* «божественный»; соответственно в других языках находим: карийск. *mesnaλ*, иер. лув. *masna-ài*, лув. *massanalli-* «божественный». Это один из тех случаев, которые указывают на отсутствие четких границ между хеттской и лувийской подгруппами хетто-лувийских языков: с одной стороны, мы находим основу **diw-* в хеттском и лидийском, как, впрочем, и в лувийских языках (и в карийском? — ср. имя бога Σιυρι), но основу *mes-/mas-* в карийском (а также в лидийском — ср. Μασνης, *mane-*, *maneli-* — и в хеттском? — ср. *mesri-* «блеск»), с другой стороны, характерный для лидийского и карийского языков способ образования адъективов мы отмечаем и во всех других хетто-лувийских языках (он представлен и в ликийском), ср. также ниже, о лид. *serli-*, хет. *sarli-*; ср. еще упомянутый глагольный суффикс *-s-* (при лик. *-s-*, лув. *-ss-*, но хет. *-sk-*).

Р. Гусмани трактует глагол *ẽn-sarb-* как «einfügen», подчеркивая, что это значение подтверждается наличием объекта *mru-λ* «auf/in der Stele» (стр. 106). Следует отметить, что та же основа представлена ликийским существительным *zrbblã*, означающим табличку с письменными знаками. В ликийских текстах встречается сакральная конструкция *slãmati zrbblã*, где *zrbblã* — объект в аккузативе, а *slãmati* — глагол, возможно, значащий «освящает» или нечто подобное (ср. ту же основу в карийском «оптативе» *slm-odo* и в ликийских формах *hlm̃mi* «памятник(?)», *hlm̃mi-deve*, *slm̃meve* и др.).

Глагольную основу *o-* Гусмани переводит «bekanntmachen», связывая ее с *u(na)-* «(пред)писать» (стр. 178 и 220). Он склонен связывать с этими формами иер. лув. *hwaī-* «gravieren». Однако иер. лув. *hw-* обычно соответствует лабиовелярному в ряде хетто-лувийских языков, в частности в том же лидийском (ср. основу относительного местоимения иер. лув. *hw(a)-*, хет., лув., пал. *ku-*, лид. *q-* ([k^w]), карийск. *ku-*). Упомянутый иероглифический лувийский глагол находит соответствие в карийск. *nda-kù* «на-писал»[3] (в отношении префикса ср. лик. *ñte-*, анат *anda* «в, на»; интересно, что и в лидийском соответствующий префикс употребляется в глаголах с общим значением «писать»: *ẽn-u-*, *ẽn-sarb-* (стр. 105). В отношении лид. *u-* ср. карийск. F46 *u-e*.

Р. Гусмани склонен отделить префикс *sav-* (ср. карийск. *sav-*) от глагола *savẽn-* «gedeihen» и именной формы *sav-v* (стр. 191 и сл.). Следует, однако, учесть, что префикс *sav-* может быть семантически сближен с глаголом *savẽn-* (ср. др.-инд. *su-* «добро-», слав. *съ-* и др.; ср. также карийск. *sav-bv-* «благоденствие» или нечто подобное — сходная основа представлена в греч. 'ευφυΐα). Не исключено, что форма *sav-v* в надписи № 11 является глагольной (в отношении флексии см. выше), а не именной: во всяком случае, глагольная форма *sav-a* (3-е лицо ед. число прош. вр.) засвидетельствована в одной из карийских надписей (F46).

Лид. *serli-* «Behörde, Obrigkeit» сопоставляется Гусмани (вслед за Нойманом) с хет. *sarli-* «выдающийся» (от *ser-/sarā* «вверх, вверху») и т. п. (стр. 194). В карийском имелся префикс **sar(a)* (как об этом свидетельствуют греческие передачи); ср. соответственно лид. *sar-*. Возможно, в этой связи следует рассматривать лид. *saro-* и т. д.

В слове *aśẽmi-* (ср. *aśẽa-* «Gunst» при иер. лув. *asi-* «любить») и в сакральном термине *sivraλmi-* (обозначение жреца) Гусмани склонен видеть отпричастные формы на *-mi* лувийского типа (стр. 66 и 198). На то, что в лидийско-карийском ареале имелись подобные формы, указывают греческие передачи.

Видимо, не прав Гусмани, когда он стремится связать лид. *tarb-*, *tarv-*, *t(a)rf-* с лид. *tro-* (стр. 209). Первая основа с вариантами значит «обладать» или нечто подобное и связана с лув. *tarp-* «пятка → владеть» (ср. соответствующие образования в ликийском; в формальном отношении ср. лидийские и другие формы типа *karb-*, *sarb-*). Что касается основы *tro-*, то она сопоставима с *tor-* (общее значение: «говорить, возвещать»; ср. хет. *tar-*, русск. *маратористъ* и т. п., аналогично — А. Хойбек).

Лид. *tavśa-* «великий, мощный» (стр. 211—212) сопоставимо с карийск. *tavse-*; благодаря сопоставлению с карийск. *buvse-* при *-bv-*, *b(u)v-*, *-bu*, *evavse* при

[3] Собственно, «высек (надпись на камне)»: с иер. лув. *hwa(ī)-*, карийск. *-kù* сопоставима глагольная основа, представленная в русск. *ковать*, нем. *hauen* и т. п. (возможно, сюда относятся фриг. *ekuaes* «sculpsit», *kusaen* «sculpserunt», по О. Хаасу).

evasa и т. п. выделяется корень *tav-*, что подтверждает вывод о родстве карийск. *tavse-*, лид. *tavša-* с др.-инд. *tavīti* «силен» и т. д. (ср. русск. *толстый*).

Каузатив *um-vo-* (стр. 219) сопоставим с карийск. *um-ù* (3-е лицо,ед. число,прош. время): ср. лид. *fakatvāmi-* «willfahren, geneigt sein», при хет. *wemija-* «finden, begegnen» (лид. *vāmi-* «entgegenkommen»?—стр. 119).

Сопоставление лид. *vc-* : слав. *vъz-* и т. п., предложенное О. Каррубой и поддержанное Гусмани (стр. 223), едва ли верно. (Неясно также, действительно ли лид. *is-* связано со слав. *iz* (ъ), *is-* — см. стр. 184.) Наличие в следовании префиксов *vc-ba-* формы со звонким лабиальным смычным (обычно *fa-* < **po*, ср. русск. *по* и лид. *da-* при русск. *до* и т. п.), возможно, объясняется ассимилятивным влиянием звонкого *c* (↑) (ср. также *vcbin-*, [v]*cbuqi-* на стр. 224).

Как следует уже из сказанного выше, к определенным недостаткам словаря Гусмани следует отнести отсутствие сближений с карийским — языком, наиболее близким лидийскому. Однако Р. Гусмани таких сопоставлений предложить не мог, поскольку факты карийского языка ему не были известны.

В целом книга Р. Гусмани производит исключительно благоприятное впечатление. Тщательность и точность этого ученого, его объективность в трактовке спорных вопросов хорошо известны лингвистам, знакомым с его предыдущими работами по лидийскому, фригийскому и греческому языкам. Книга Гусмани окажет большую пользу лингвистам разных специальностей, прежде всего, разумеется, хеттологам. «Лидийский словарь» станет в один ряд со справочниками по хетто-лувийским языкам и топономастике, принадлежащими перу И. Фридриха, Э. Ларошa, П. Мериджи, Ф. Хоуинка тен Кате и Л. Згусты; скоро к этим фундаментальным пособиям прибавится «Ликийский словарь» Г. Ноймана.

В. В. Шеворошкин

«Linguistics. An international review». 1—8.—The Hague, Mouton and Co., 1963—1964.

Хотя на титульном листе «Linguistics» назван «журналом», это, собственно говоря, не журнал. Специалист-библиограф назвал бы его «продолжающимся изданием»: так, в отличие от «периодических изданий» (имеющих строго определенные сроки выхода и нумерацию, возобновляющуюся каждый год), библиографы называют сборники, выходящие нерегулярно и имеющие сквозную нумерацию независимо от года. В практике такое издание чаще всего называется альманахом.

Бросается в глаза отличие рецензируемого альманаха от других международных лингвистических изданий — таких, как «Language», «Word», «Lingua» — уже по внешности. С удивлением ищешь и не находишь имена редакторов: есть только марка издательства, и поневоле приходишь к выводу, что «Linguistics» есть прежде всего орган издательства «Mouton». Несколько «коммерческий» характер альманаха сказывается и в его содержании: в подборе авторов — одни и те же фамилии, знакомые нам по книгам издательства «Mouton»; в выборе работ, рассчитанных явно на самого широкого читателя и отнюдь не отягощенных, как правило, сложным аппаратом или экскурсами в узкопрофессиональные вопросы; в большом количестве переводов и перепечаток; наконец, в подчеркнутой неакадемичности, мы бы сказали — некоторой сниженности полемики.

Однако этот «коммерческий» налет нисколько не определяет научного лица альманаха — а такое лицо у него есть, и довольно четкое,— и ни в коей мере не может поставить под сомнение научные достоинства печатаемых в нем статей и рецензий, к характеристике которых мы сейчас и перейдем.

Значительную долю объема в альманахе занимают вопросы семантики — им посвящены 11 статей из 52 и 8 рецензий из 29, причем почти все эти материалы составляют в большей или меньшей степени единое целое.

Дискуссия по вопросам семантики начинается уже в первом выпуске статьей Р. Диксона «К вопросам семантики» («A trend in semantics»). Полемизируя с рядом авторов (П. Цифф, Дж. Кац и Дж. А. Фодор [1]), Р. Диксон высказывает точку зрения, согласно которой невозможно исчерпывающе описать семантику естественного языка с помощью той или иной формализованной системы, не обращаясь к ситуационному анализу. Такое обращение Диксон мыслит в виде вероятностной теории контекста, которая входила бы в исследование на определенном его этапе. Согласно Диксону, мы

[1] P. Ziff, Semantic analysis, Ithaca, 1960 (рец. Дж. Каца на кн. Циффа см. в журн. «Language», 38, 1, 1962, стр. 52—69); J. J. Katz, J. A. Fodor, The structure of a semantic theory, «Language», 39, 2, pt. 1, 1963.

вообще не можем говорить в терминах лингвистической модели, например, о значении предложения.

Диаметрально противоположную позицию занимает венгерский лингвист Л. Антал в статье «Интерпретация и трансформация» («Interpretation and transformation») (вып. 2). Она тоже построена как полемический этюд — объектом полемики является одна из статей Э. Уленбека в журнале «Lingua». Автор выступает против точки зрения, согласно которой невозможно лингвистическое определение значения без привлечения контекста (ситуации), выступающего как один из важнейших компонентов значения. Л. Антал обвиняет Э. Уленбека, Т. Слама-Казаку, Р. Диксона в смешении принципиально различных явлений [2]: значения и интерпретации значения, реального существования языка как системы, организующей речь, и его актуализации в речи, наконец, различий, определяемых, с одной стороны, экстралингвистической ситуацией, а с другой — самой структурой языка. Говоря о значении предложения, Л. Антал предлагает последовательно различать его форму, значение и содержание — последняя категория является для него экстралингвистической.

В том же втором выпуске напечатаны рецензии Л. Антала на книгу Н. Кристенсена «On the nature of meaning» и Р. Диксона на книгу Л. Антала «Questions of meaning». В рецензии на книгу Н. Кристенсена Л. Антал, продолжая развивать свою точку зрения на природу и определение значения, настойчиво подчеркивает нетождественность значения и знания о денотате. Что касается Диксона, то его рецензия — это написанный с немалым литературным блеском памфлет, построенный на вырванных из текста книги Антала действительно не слишком удачных пассажах. Конечно, не всегда можно согласиться с идеями и стилем полемики самого Антала; но представляется все-таки, что «рецензия» Диксона выходит за определенные границы, обязательные для любого обмена научными мнениями [3].

Непосредственно после этой рецензии снова следует рецензия Л. Антала — на этот раз на книгу Ф. Юрта «Zur formalen Charakterisierung des Satzes». Из идей, высказанных рецензентом по поводу этой книги, подчеркнем очень важный, как нам кажется, упрек ее автору в том, что он недооценивает гипотетический характер любого лингвистического описания, не понимает того, что «любая грамматика есть только модель языковой реальности» (стр. 112). Разделяя в этом вопросе точку зрения Антала, мы хотели бы обратить внимание на тот парадоксальный факт, что Р. Якобсон, как это явствует из его выступлений в Москве в 1962 г., не придерживается тезиса о множественности моделей языка.

В третьем выпуске Диксону отвечают по пунктам раскритикованные им в первом выпуске Кац и Фодор, а в четвертом снова напечатана статья-реплика Диксона, но дискуссия в целом явно теряет свою остроту. Впрочем очередной рецензии Антала в четвертом выпуске (на книгу: H. E. Brekle, Semantische Analyse von Wertadjektiven...) никак нельзя отказать в остроте. Упомянем, кстати, что в третьем выпуске помещена рецензия Антала на книгу И. И. Ревзина «Модели языка» — рецензия в целом положительная, хотя, как всегда у Антала, весьма полемичная. В восьмом выпуске Антал рецензирует книгу К. А. Левковской «Теория слова».

Возвращаясь к семантической дискуссии, целесообразно высказать несколько соображений по существу обсуждаемых вопросов.

Основные расхождения между спорящими сторонами сводятся, по-видимому, к тому, что если одна из них считает необходимым учитывать контекст в лингвистической модели значения, то другая пытается остаться на уровне языка и установить корреляцию этой модели с экстралингвистическими факторами опосредствованно. Надо сказать, что спор этот отнюдь не нов; во всяком случае, Диксон имеет таких предшественников, как Б. Малиновский [4]. Но едва ли различие точек зрения Диксона и Антала является принципиальным. Все дело в том, что в само понятие «значение» они, по-видимому, вкладывают различное содержание: для Диксона это как будто прежде всего коннотативное значение, для Антала — денотативное.

Многое в споре Диксона и Антала оказалось не до конца ясным и вызвало взаимное несогласие только потому, что обе стороны всячески стремятся остаться на позициях лингвистики, понимаемой в ее традиционном объеме, а если и позволяют себе выйти за ее пределы, то только в область логики (Диксон), т. е. все

[2] См.: E. M. Uhlenbeck, An appraisal of transformation theory, «Lingua», XII, 1; T. Slama-Cazacu, Langage et contexte, 's-Gravenhage, 1961.

[3] В связи с этой дискуссией см.: L. Antal, Questions of meaning, The Hague, 1963; R. M. W. Dixon, Linguistic science and logic, The Hague, 1963.

[4] B. Malinowski, The problem of meaning in primitive languages, в кн.: C. K. Ogden, I. A. Richards, The meaning of meaning, 10-th ed., London, 1960.

равно остаются в рамках языка. Но пользуясь системой понятий и методов лингвистики в ее исторически сложившемся объеме (мы склонны поддержать здесь оспариваемый Диксоном тезис Антала, что между «традиционной» и «структурной» лингвистикой нет существенной разницы в трактовке языка как системы), едва ли можно оперировать с такими принципиально неязыковыми факторами, как ситуация. Кстати, в последнее время почему-то оказалось забытым полезное различие контекста и ситуации, введенное К. Бюлером [5], и эти термины стали употребляться вслед за Б. Малиновским синонимично или почти синонимично. Во всяком случае, «чисто лингвистическая» модель едва ли пригодна для описания актуализации языка в речевой деятельности, а такие лингвистические феномены, как значение предложения, необходимо связаны именно с подобной актуализацией. Именно отсутствие соответствующего аппарата,— или, вернее, неразборчивое использование аппарата, непригодного для данной цели,— составляет важнейший недостаток книги Т. Слама-Казаку «Язык и контекст».

Думается, что сколько-нибудь конструктивная интерпретация проблемы значения в его соотношении с внеязыковой реальностью возможна лишь в том случае, если мы используем более широкую модель, опирающуюся на общую теорию речевой деятельности, т. е. привлечем к исследованию данные психологии, и не всякой психологии, а такой, которая исходит из теории деятельности. До последнего времени подобные попытки делались в основном психологами (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Н. Г. Морозова [6]), но плодотворность их очевидна. Справедливость требует заметить, что Л. Антал стоит очень близко к такого рода психологическому (не психологистическому!) осмыслению явлений речевой деятельности; но и он остается в плане интуиции, придерживаясь в своих эксплицитных высказываниях традиционного понимания и нередко высказывая положения, ставшие догмами без какого-либо серьезного основания на это. Так, он разделяет убеждение, что «мы воспринимаем только результаты языка — речевые последовательности». Это неверно: мы воспринимаем речевую деятельность как многосторонний процесс; только узость нашего лингвистического подхода заставляет нас сразу же интерпретировать этот процесс односторонне, произвольно и бессознательно моделировать его, строя текст — своего рода элементарную модель,и оперируя далее уже с нею, а не с реальной данностью речевой деятельности.

Из публикаций по лексикологии и семантике, не упомянутых выше, можно назвать еще следующие. Статья Л. Антала «Новый тип словаря» («A new type of dictionary») (вып. 1) безусловно ценна, но «новый» тип словаря, предлагаемый им,— это в сущности тот же «словарь морфем», идея которого была выдвинута еще в 1875 г. И. А. Бодуэном де Куртенэ и впервые осуществлена в 1894 г. Л. Заменгофом [7].

Статья С. Р. Левина «Аспекты семантического и грамматического изменения» («Aspects of semantic and grammatical change») (вып. 2) представляет большой интерес по крайней мере в одном отношении — именно, в плане противопоставления морфемного синтаксиса и линейного синтаксиса. Он употребляет для последнего термин «логотактика» (по аналогии с «морфотактикой»). К сожалению, он почти не ссылается на своих предшественников в этом вопросе. Между тем их достаточно много, чтобы обратить на них внимание, и в то же время достаточно мало, чтобы иметь возможность их упомянуть. Начнем с того, что последовательное «разнесение» по разным уровням слова-лексемы и морфологического слова в высшей степени характерно для русской грамматической традиции (Е. Д. Поливанов, В. В. Виноградов, в последнее время Э. А. Макаев [8]). Что же касается самой «логотактики», то о ней, в частности, писали, А. В. де Гроот, Л. Теньер, а в плане поэтической речи, например, Ю. Н. Тынянов [9].

Упомянем статью Т. Слама-Казаку «Заметки о некоторых особенностях словесного сообщения, определяемых трудовым процессом» («Remarques sur quelques particularités du communication verbale, déterminées par le processus du travail») (вып. 2). Новые и интересные данные, приводимые в этой статье, остаются, к сожалению, вполне в рамках, указанных заголовком, т. е. «remarques sur quelques particularités». Думается,

[5] K. Bühler, Sprachtheorie, Jena, 1931, стр. 149.

[6] Л. С. Выготский, Мышление и речь, в кн. «Избранные психологические исследования», М., 1956; А. Н. Леонтьев, Психологические вопросы сознательности учения, «Изв. АПН РСФСР», 7, 1947; Н. Г. Морозова, О понимании текста, там же.

[7] И. А. Бодуэн де Куртенэ, Замечания о русско-польском словаре, «Лексикографический сборник», VI, М., 1963; L. Zamenhof, Universala vortaro de la lingvo internacia «Esperanto»..., Varsavio, 1894.

[8] См., например: Э. А. Макаев, К вопросу об изоморфизме, ВЯ, 1961, 5.

[9] A. W. de Groot, Structurele syntaxis, Den Haag, 1949; L. Tesnière, Eléments de syntaxe structurale, Paris, 1959; Ю. Н. Тынянов, Проблема стихотворного языка, Л., 1924.

кроме того, что в установленных автором закономерностях нет по большей части ничего специфического именно для труда, и едва ли можно согласиться с необходимостью специального изучения «языка труда» как такового, хотя сама проблема форм и способов коммуникации в трудовой деятельности, рассматриваемая более широко, представляет несомненный интерес [10].

В пятом выпуске вопросам семантики посвящена статья Р. Лонгакра «Пролегомены к лексической структуре» («Prolegomena to lexical structure»), представляющая собой развитие идей К. Л. Пайка применительно к соотношению грамматики и лексикона.

Вторую группу напечатанных в рецензируемом альманахе работ составляют работы по морфологии и общей теории грамматики. Второй выпуск открывается прекрасной статьей М. А. Холидея «Класс в языке в отношении к оси последовательности и оси выбора» («Class in relation to the axes of chain and choice in language»), где дается тонкий и плодотворный анализ весьма употребительного в современной лингвистике, но не получающего обычно достаточного определения понятия «класс». В третьем выпуске грамматические работы занимают особенно большое место [В. Винтер, Форма и значение в морфологическом анализе («Form and meaning in morphological analysis»); Л. Антал, Притяжательная форма имени в венгерском языке («Possessive nominal forms in Hungarian»)]. Из них привлекает внимание статья В. Винтера, пересматривающего некоторые основные принципы «традиционной» дескриптивной морфологии и приходящего к выводу, что мы не имеем права ориентироваться в морфологическом анализе только на тождество дистрибуции морфемных сегментов и вообще на тождество функции: должно учитываться и формальное сходство этих сегментов, а именно, должны считаться морфами одной морфемы сегменты, идентичные по звучанию, за вычетом альтернаций, предсказуемых фонетическим окружением. К сожалению, объем понятия морфемы (и соответственно морфы), как и вообще в дескриптивной лингвистике, у Винтера недопустимо расширен; едва ли можно, в частности, подводить под общий тип (и в соответствии с этим искать какие-то общие методики) «деривационные» и «реляционные» аффиксы, да и вообще отождествлять словообразовательные элементы с морфологическими в строгом смысле. Из статей четвертого выпуска отметим статью Л. Дж. Хеллер «Некоторые виды и функции тагмемных нулей» («Some types and uses of tagmemic zero»). В пятом выпуске представляет значительный интерес статья Л. Антала «Четыре подхода к одной и той же грамматической категории» («Four approaches to the same grammatical category») (имеются в виду четыре грамматические модели: «традиционная» грамматика, грамматика непосредственно составляющих, цепочечная грамматика и трансформационная грамматика). Впрочем анализ различия этих грамматических моделей у Антала уступает по глубине и разработанности аналогичному анализу, проведенному Н. Д. Арутюновой [11]. Кроме того, там же напечатаны статьи П. Колаклидеса «Модель рода в современном греческом языке» («The pattern of gender in modern Greek») и П. Аалто «Парные слова в тохарском и других языках» («Word-pairs in Tokharian and other languages»).

Следующая группа статей — это фонологические работы, сосредоточенные почти исключительно в первом выпуске. Он открывается блестящей статьей Д. Л. Болинджера «Долгота. Гласные. Сигналы границы слога» («Length, Vowel, Juncture»), требующей специального анализа, который невозможно дать в рамках настоящего обзора. Заметим только, что некоторые из высказываемых Болинджером как новые идеи уже высказывались ранее Л. В. Щербой и его школой,— работы этой школы, по-видимому, остались Болинджеру неизвестными. Назовем, в частности, идею «независимой системы» позиционно обусловленных редуцированных гласных [12].

А. Росетти в статье «Звукотип и фонема» («Son-type et phonème») утверждает необходимость последовательного различения двух единиц. Одна из них, по Росетти, имеет известный коррелят в языковом сознании носителя языка, другая является чисто функциональной: Росетти с полным основанием указывает, что теория дифференциальных признаков Якобсона имеет дело именно со звуковым типом, а не с фонемой. Мысль о двух минимальных фонологических единицах, впрочем, буквально носится в воздухе и ни в коей мере не принадлежит только А. Росетти: помимо Д. Джоунза и С. К. Шаумяна, на которых он ссылается, следует назвать С. И. Бернштейна и Г. Улашина, А. В. де Гроота, П. С.

[10] Ср.: T. Slama-Cazacu, Comunicarea în procesul muncii, Bucureşti, 1964.

[11] Н. Д. Арутюнова, Г. А. Климов, Е. С. Кубрякова, Американский структурализм, сб. «Основные направления структурализма», М., 1964.

[12] См., например: В. К. Орфинская, К вопросу о системе русских гласных по материалам обследования речи у детей, сб. «Памяти Л. В. Щербы», Л., 1951.

Кузнецова [13] и многих других. Понятие «физической фонемы», введенное Г. Траби и употребительное в современной лингвистике наряду с «обыкновенной» фонемой, также предполагает двойственность минимальной фонологической единицы. К идее двух единиц ведет анализ чередований фонетического слова (системные и нормативные чередования); в сущности, идея Р. Якобсона о «словесной» и «синтагматической» фонологиях, будучи логически продолжена, сама по себе могла бы привести к двум «фонемам». Впрочем идея двух «фонем» встречается еще у И.А. Бодуэна де Куртенэ [14]. В самое последнее время о необходимости двух основных фонологических единиц писали Г. П. Торсуев, М. В. Гордина, Г. А. Климов и автор этих строк [15]. Таким образом, за А. Росетти, по-видимому, сохраняется прежде всего заслуга ясного и четкого формулирования этой мысли.

Статья Г. Моль «Отношение между фонетикой и фонемикой» («The relation between phonetics and phonemics»), опубликованная в выпусках 1 и 7, представляет собой нечто вроде развернутого комментария к «Трудам» IV Международного конгресса фонетистов в Хельсинки (1961 г.). Надо сказать, что этот автор, по-видимому, вполне трезво оценивает нынешнее положение в фонологии и, в отличие от большинства своих коллег, одинаково далек как от априоризма, так и от бездумного следования за материалом. Достаточно вспомнить, что именно ему принадлежит тезис, что фонетисту нечего делать с «дифференциальными признаками» Якобсона, ибо в этом случае мы просто-напросто описываем в артикуляционно-акустических терминах нечто заранее заданное [16].

В пятом выпуске представляет особенный интерес статья А. Аврама «Некоторые мысли о функциональной нагрузке фонемных оппозиций» («Some thoughts on the functional yield of phonemic oppositions»). Жаль только, что Аврам, если судить по аппарату его работы, не знаком с новаторскими работами О. С. Широкова и других. Заметка А. Соммерфельта «Необходимость фонологической точки зрения в руководствах по произношению» («The importance of the phonemic point of view in a guide to pronunciation») в том же выпуске носит частный характер, хотя, как всегда у этого автора, привлекает внимание не только фонолога.

Начиная со второго выпуска, в альманахе начинают печататься статьи по стилистике и поэтике. Они открываются двумя работами Н. Рюве. Исходя, как и большинство современных западных исследователей, из старых тезисов, что «поэзия есть язык, но этот язык производит такое действие, какое не способен производить обычный язык» и что «можно построить грамматику поэзии, отличающуюся от грамматики обычного языка», Н. Рюве пытается свести все особенности поэтического произведения к конечному числу фонетических, грамматических и семантических его признаков. Следуя за известной книгой С. Левина [17], он распространяет на исследование поэзии принципы трансформационного анализа.

Все это, может быть, и очень интересно, но ничего общего не имеет с поэзией. Даже сам «отец» структурной поэтики на западе — Р. Якобсон — по существу остался на том уровне разработки вопросов лингвистической поэтики, на котором он (как, впрочем, и большинство его коллег по «Опоязу») находился в 1920 г. Это особенно ясно видно в его последней работе о рифме [18]; разница лишь в том, что те же идеи облачены в терминологию современной лингвистики. А ведь даже в «Опоязе» и близких к нему течениях русского «формализма» после 1920 г. были Эйхенбаум и Бернштейн, Тынянов и Томашевский, Жирмунский и Виноградов. При всех тех методологических промахах, которыми были отмечены годы расцвета русского «формализма», он сумел достигнуть чрезвычайно больших успехов в лингвистической и отчасти литературоведческой интерпретации литературного произведения и литературного процесса в целом. И, пожалуй, самое существенное, что характеризовало заключительный этап истории русского формализма и отличало его от предшествующего («якобсоновского»)

[13] Ср.: С. И. Бернштейн, Фонема, БСЭ², т. 45, М., 1956; П. С. Кузнецов, Об основных положениях фонологии, ВЯ, 1959, 2; A. W. de Groot, Structural linguistics and phonetic law, «Lingua», I, 2, 1948; H. Ułaszyn, Laut, Phonema, Morphonema, TCLP, 4, 1931.

[14] См.: А. А. Леонтьев, Общелингвистические взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ, Автореф. канд. диссерт., М., 1963.

[15] См.: «Конференция по структурной лингвистике, посвященная базисным проблемам фонологии. Тезисы докладов», М., 1963; Г. А. Климов, О проекте единой фонетической транскрипции для кавказских языков, М.— Л., 1962, и др.

[16] См.: H. Mol. On the phonetic description of the phoneme, «Lingua», XI, 1962, стр. 289.

[17] S. R. Levin, Linguistic structures in poetry, 's-Gravenhage, 1962.

[18] Р. О. Якобсон, К лингвистическому анализу русской рифмы, «Michigan Slavic materials», I, б. г. Ср. нашу рецензию на работу, Р. Якобсона в сб. «Вопросы общего языкознания», М., 1964.

этапа и от современного зарубежного структурного литературоведения — это как раз отказ от смешения собственно литературоведения и языкознания, что вызвано правильным пониманием специфики литературы, так сказать, литературной онтологии. Исследование поэтической речи не есть исследование поэзии; еще менее можно считать таковым исследование поэтического языка даже в тех случаях, когда лингвистическая специфика художественной литературы образуется именно за его счет (а это крайне нехарактерно для современных европейских поэтик). Другой вопрос, что такого рода отождествление стало общим местом в зарубежной поэтике [19].

Выгодно отличается от работ Н. Рюве обстоятельная и весьма информативная статья И. Фонадь «Информация языкового стиля» («L'information du style verbal»). В результате исследования И. Фонадь приходит к выводу, что «стиль может быть рассмотрен как форма, но не как языковая форма выражения сообщения, а как форма существования сообщения в языковой форме». Имеется в виду, что при лингвистической инвариантности, при стандартных языковых ограничениях, наложенных на сообщение, возможны различные варианты выражения этого сообщения, и эта-то вариантность приводит нас к понятию стиля.

Кроме перечисленных выше, в разделе статей помещены также работы Г. Хердана «Квантитативная лингвистика или порождающая грамматика?» («Quantitative linguistics or generative grammar?») и Э. Палгрэма «Структурное сопоставление, диасистемы и диалектология» («Structural comparison, diasystems and dialectology») — обе в четвертом выпуске. Отрецензированы следующие книги: R. H. Weiz, Language in the crib (В. Руке-Дравина); Z. S. Harris, String analysis of sentence structure (Л. Антал); R. M. W. Dixon, Linguistic science and logic (Д. Л. Болинджер); S. Kaluźiński, Mongolische Elemente in der jakutischen Sprache (Дж. Р. Крюгер) — в первом выпуске; W. S. Allen, Sandhi (Й. Гонда) — во втором; R. Jakobson, Essais de linguistique générale; A. Sommerfelt, Diachronic and synchronic aspects of language (Э. Палгрэм); C. Schick, Il linguaggio (Л. Антал); J. T. Waterman, Perspectives in linguistics (П. Аалто); M. L. Alinei, Dizionerio inverso Italiano (Дж. С. Лепши) — в третьем выпуске; O. Haas, Messapische Studien (Э. Палгрэм); B. M. H. Strang, Modern English structure (С. Р. Левин); V. J. Zeps, Latvian and Finnic linguistic convergences (В. Руке-Дравина); J. R. Krueger, Jakut manual (П. Аалто) — в четвертом; A. Martinet, A functional view of language (Дж. С. Лепши); B. Malmberg, Nya väger inom språkforskningen (Л. Антал); A. Ellegård, A statistical method for determining authorship (Г. Хердан); S. O. hEochaidh, Alte Redensarten aus den Cruacha county Donegal (А. Соммерфельт); H. Freudenthal, Lincos (P. Диксон) — в пятом; P. A. Hall, Idealism in Romance linguistics (Дж. С. Лепши) и F. A. Pottle, The idiom of poetry (Н. Рюве) — в шестом, A. G. F. van Holk, Verandering en bestendigheid in de Russische grammatica (Дж. Эллис) — в седьмом.

Отдел рецензий в «Linguistics» вообще очень интересен. Из перечисленных рецензий почти каждая представляет собой фактически статью: особенно знаменательны рецензии Болинджера на книгу Диксона, Гонды — на книгу Аллена, Палгрэма — на книгу Хааса.

Семантическая дискуссия как будто снова начинается в 6—7 выпусках интересной статьей Л. Антала «Значение и его изменение» («Meaning and its change»), а затем его же рецензией на «Semantics» Ульмана. Антал стремится здесь (и не без успеха) доказать парадоксальный тезис, что то, что мы обычно называем изменением значения, на самом деле представляет собой изменение знания о денотате. По ходу изложения Антал подробно говорит, между прочим, о компонентах любого языкового знака. Таких компонентов, по его мнению, 6: а) знак (звуковая последовательность); б) субъективное знание о знаке (звуковой образ), в) означаемый объект (денотат), г) субъективное знание о денотате (понятие или образ), д) значение и е) субъективное знание о значении. В рамках данного обзора мы не можем вдаваться в подробное обсуждение этой схемы. Укажем, впрочем, что она совершенно определенно направлена против «психологистического» понимания языка и, в частности, значения, против помещения его целиком в индивидуальное сознание. Именно с этих позиций Антал обрушивается на книгу Ульмана, приходя к выводу, что его концепция «совершенно неадекватна с теоретической и методологической точек зрения». В шестом выпуске напечатана статья И. Раух «Одна из проблем исторической синонимики» («A problem in historical synonymy»), а в седьмом — статья Т. Фотич «Проблемы румынской абстрактной терминологии» («Problems of Rumanian abstract terminology»).

В статье «Порядок слов и синтаксическая позиция» («Word order and syntactic position», вып. 8) Антал развивает свои взгляды на предложение. В плане син-

[19] Ср., например, сб. «Langue et littérature. Actes du VIII Congrès de la Fédération internationale des langues et littératures modernes», Paris, 1961.

таксиса из статей шестого выпуска нельзя не отметить статью К. Л. Пайка «Составные имена как частицы высшего уровня в матричной теории» («Name fusions as high-level particles in matrix theory»), крайне любопытную по методу. Из статей седьмого выпуска назовем статью Л. Лаймана «Глагольные синтагмемы в языке чоапанских сапотеков» («The verb syntagmemes of Choapan Zapotec»). Под синтагмемой автор понимает морфологическую единицу, близкую по структуре инкорпоративному комплексу и соответствующую в сапотекском языке слову. Там же опубликована статья П. Векслера «Славянское влияние в грамматических функциях трех глагольных префиксов языка идиш» («Slavic influence in the grammatical functions of three Yiddish verbal prefixes»).

Запоздалым отголоском первых статей дискуссии является небольшая заметка Дж. Эллиса «„Правила", вероятность и осторожность» («„Rules", probability and delicacy», вып. 6).

Несколько работ по стиховедению опубликовано в шестом выпуске. В их числе небольшая статья Д. Эберкромби «Структура стиха с точки зрения фонетиста» («A phonetician's view of verse structure»). Автор высказывает ряд интересных, но, к сожалению, совсем не оригинальных идей. Так, например, его рассуждения о различии стиха и прозы устарели даже по сравнению с работами А. М. Пешковского и Б. В. Томашевского, относящимися к 20-м годам. Минуя перепечатанную из «Вопросов языкознания» статью Ю. М. Лотмана, остановимся еще на статье Дж. Ниста «Словосочетательная каденция — основа английской метрики» («The word-group cadence: basis of English metrics»), где отстаивается тезис о том, что в современном английском стихосложении определяющую роль играет акцентно-ритмическая организация групп слов. Наконец, в восьмом выпуске опубликована обширная рецензия на варшавский сборник «Poetics», написанная С. Чэтменом.

Крайне любопытна и единственна в своем роде статья Широ Хаттори «Специальный язык старшего поколения у айнов» («A special language of the older generations among the Ainu», вып. 6). Не говоря уже о том, что работы японских лингвистов вообще крайне редки в европейских и американских лингвистических изданиях, статья Хаттори посвящена весьма мало разработанной проблеме, причем на материале весьма мало известного языка. Появление этой статьи следует всячески приветствовать, и редакция «Linguistics» сделала бы большое дело для мировой науки, если бы систематически знакомила читателей с проблематикой и достижениями японской лингвистики.

Единственная (пока) статья, посвященная проблеме МП, напечатана в восьмом выпуске. Это работа М. Л. Джойнз и У. П. Лемана «Лингвистические теории, лежащие в основе работы различных групп МП» («Linguistic theories underlying the work of various MT groups»). В том же выпуске печатается и единственная статья по истории лингвистики — Р. А. Фаукс «Лингвистический модернизм Якоба Гримма» («The linguistic modernity of Jakob Grimm»).

В седьмом выпуске напечатана обстоятельная работа Дж. Пирса «Фонемная теория и анализ слогообразующих элементов в английском языке» («Phonemic theory and the analysis of English syllabic nuclei»), а в восьмом — статья П. Делатра «Немецкая фонетика как промежуточная между английской и французской» («German phonetics between English and French»).

Нельзя не отметить также ряд статей по диахронической лингвистике: это работы Ф. Бэнта «Готские рефлексы праиндоевропейских слогообразующих сонантов» («Gothic reflexes of PIE syllabic resonants», вып. 6), Д. Л. Кэнфилда «Диахроническая координата в „синхронной" диалектологии испанского языка» («The diachronic dimension of „synchronic" Hispanic dialectology», вып. 7); М. Л. Алинеи «Происхождение и история итальянского слова *ambasciata*» («Origin and history of the Italian word *ambasciata*») и А. Вальдман «От креольского к французскому на Гаити» («Du Creole au Français en Haiti», вып. 8).

Чрезвычайно пространен и подробен в рецензируемом альманахе раздел «полученных публикаций». Среди них довольно много советских, но отбор их, к сожалению, в значительной мере случаен.

Если судить по первым выпускам, то лингвистам из СССР [20], Румынии и Венгрии в них принадлежит более трети статей и рецензий, причем это пока отнюдь не худшая треть. Думается, что это в высшей степени показательно и с точки зрения объективной, являясь доказательством того, что лингвистическая наука в социалистических странах стоит на мировом уровне, и с точки зрения субъективной — как свидетельство все растущего интереса к науке социалистических стран и в том числе — к советской науке. Интересно, кстати, что ни один из участвующих в «Linguistics» языковедов из социалистических стран не является

[20] Это Н. Д. Андреев и Л. Р. Зиндер, Ю. С. Степанов (вып. 4), М. В. Мачавариани (вып. 5), Ю. М. Лотман (вып. 6), М. М. Маковский (вып. 7), А. М. Щербак (вып. 8). Мы не останавливались на этих работах, так как все они ранее были напечатаны в «Вопросах языкознания».

представителем «крайнего» структурализма.

С печатающимися в «Linguistics» работами можно не соглашаться, можно оспаривать научные достоинства той или иной публикации, но всегда интересно взять в руки очередной выпуск альманаха. Хотелось бы только, чтобы список авторов был более широк: даже из настоящей рецензии видно, что альманах в значительной степени «делается» руками одних и тех же лиц — Л. Антала, Р. Диксона, Д. Болинджера, Э. Палгрэма, С. Левина, причем, как уже отмечалось, все это — авторы, книги которых выходили в издательстве «Mouton».

В целом предпринятое издательством «Mouton» издание можно, по-видимому, считать удавшимся.

А. А. Леонтьев

B. Malmberg. **Structural linguistics and human communication.** An introduction into the mechanism of language and the methodology of linguistics. — Berlin — Göttingen — Heidelberg, 1963. 210 стр.

Как уже можно судить по названию, книга Б. Мальмберга представляет собой попытку теоретического синтеза двух отраслей знания — структурной лингвистики и речевой связи. Процесс практического синтеза этих отраслей знания начался сравнительно недавно в связи с развитием работ по компрессии речи и автоматическому распознаванию, в которых автор книги принимал непосредственное участие. Сотрудничество лингвистов, инженеров-связистов и представителей других наук оказалось весьма плодотворным. К настоящему времени накоплен богатый экспериментальный материал и сделаны важные шаги на пути решения практических задач компрессии речи и автоматического распознавания. Тем не менее, работы в этом направлении еще далеки от завершения и скорее находятся лишь на некотором промежуточном этапе. Последнее обстоятельство делает любое обобщение полученных результатов сложной и тем не менее необходимой задачей. Б. Мальмберг с добросовестностью большого ученого, лишенного односторонней предвзятости и не чурающегося сложных и порою противоречивых фактов, проделал важную работу по обобщению и анализу последних достижений в этой области, и книга его, несомненно, является существенным вкладом в лингвистическую теорию.

Если обратиться к истории контактов лингвистики с техникой речевой связи, то нельзя не признать, что основную роль в развитии этих контактов сыграла теория дифференциальных признаков. Формулировки этой теории с самого начала были близки к сложившимся в общей теории связи представлениям о процессе различения элементарных сигналов и позволили решать технические задачи с учетом структуры речевых сигналов. Поэтому не случайно, что в книге Б. Мальмберга проблемам теории дифференциальных признаков уделяется большое внимание. В отличие от представителей глоссематики, которые не находят места для дифференциальных признаков в структуре языка, Б. Мальмберг считает дифференциальные признаки необходимым следствием фонемного принципа, атомами лингвистической структуры. Дифференциальный критерий является в такой же мере определяющим для структуры языка, как и критерий функциональный или дистрибутивный. Взаимодействие этих двух критериев обеспечивает связь лингвистической формы со звуковой субстанцией и делает возможным само существование фонемы как основной функциональной единицы языка. В этом взаимодействии ведущую роль Б. Мальмберг оставляет за функциональным критерием. Акустический и физиологический анализ речи может быть, безусловно, выполнен и без учета возможной коммуникативной функции анализируемых физических фактов. Однако подобный анализ не затрагивает специфику языка и может иметь лишь вспомогательные цели. В действительности же любое фонетическое исследование не предпринимается и никогда не предпринималось без учета лингвистических категорий и лингвистических или коммуникативных функций. Фонетист потонул бы в массе физических фактов и характеристик речевого сигнала, если бы в его распоряжении не было функционального критерия, обеспечивающего возможность целенаправленного отбора физических фактов с точки зрения их значения в лингвистической структуре. Конечным результатом такого отбора физических фактов и является дифференциальный признак.

В книге дается обзор спектральных и временных характеристик речи, важная роль которых в распознавании звуков речи была подтверждена многочисленными экспериментами. К сожалению, двухформантная концепция автора книги и неучет им антиформант, значение которых для формирования спектра речи является в настоящее время общепризнанным, делают этот обзор недостаточно полным. Однако и такой неполный обзор раскрывает многообразие дифференциальных возможностей спектра и вре-

менных характеристик речи, которые могут быть использованы тем или иным языком для построения фонемной системы. Ведущими критериями для оценки фонеморазличительной роли тех или иных физических характеристик являются критерии лингвистической релевантности и избыточности, которые перекликаются с принятыми в общей теории связи понятиями полезной и избыточной информации, а также с понятиями ключевого и зависимых признаков, выдвинутыми Г. Фантом. Так же как избыточная информация не является излишней, а используется в процессе коммуникации для повышения помехозащищенности сообщения, так и избыточность признака не означает его недействительности в процессе речи. Избыточный признак является также информативным, как и релевантный, однако его информационная нагрузка обусловлена корреляционной связью с другим релевантным признаком, выполняющим дифференциальную функцию в процессе речи. Вместе с тем информативность избыточного признака делает его способным принимать на себя дифференциальную функцию в условиях, когда релевантный признак утрачивает эту способность. В книге приводится пример такого использования избыточного признака, а именно, различия по интенсивности между звонкими и глухими согласными во французском языке, обусловленного самим механизмом образования согласного при наличии и отсутствии вибраций голосовых связок. В позициях ассимиляции, когда противопоставление по звонкости — глухости утрачивает свою силу, этот избыточный признак становится единственным параметром, обеспечивающим различение указанных групп согласных. К аналогичным фактам относится также повышение фонеморазличительной роли формантных переходов для лиц с потерей слуха на высоких частотах и т. п. Кроме релевантных и избыточных характеристик, в речи имеется также много действительно излишних или, как их называли в работах представителей Пражского кружка, несущественных признаков с хаотическим распределением своих значений относительно фонем языка, таких, как качество голоса, положение верхних формант и т. п. Эти несущественные признаки, которые часто несут информацию о дикторе и могут быть использованы для распознавания дикторов, должны быть отсеяны в процессе структурного фонемного анализа.

Правильная оценка релевантности или избыточности характеристик речи является достаточно сложной задачей, и ее решение стало возможным лишь в последние годы с развитием техники анализа и синтеза речи. Особенно полезными и в этом отношении являются устройства синтеза речи, которые позволяют изменять выбранный параметр независимо от других параметров речи и тем самым определять его информационную нагрузку в процессе восприятия. В книге описывается тонкий эксперимент, проведенный Б. Мальмбергом, по выявлению роли словесной интонации, которая в шведском языке имеет ограниченное фонемное значение в минимальных парах типа *ánden — àndеn*. В нормальной речи эти слова различаются длительностью, интенсивностью и характером изменения основного тона начального гласного. С помощью синтезатора вокодера Б. Мальмбергу удалось показать, что различие в основном тоне в этих словесных парах является дифференциальным или фонемным в то время, как различия по интенсивности, а также по длительности статистически сопутствуют этому основному различию и являются избыточными в собственном смысле этого слова.

Не всегда, однако, по крайней мере для современного состояния науки и техники, дифференциальный признак может быть связан только с одним акустическим параметром. Так, например, во многих языках взрывные согласные, различающиеся по месту артикуляции, могут быть распознаны как по положению шумового импульса на шкале частот, так и по характеру формантных переходов. В английском языке звонкие и глухие согласные различаются наличием или отсутствием основного тона, интенсивностью и формантными переходами. В определенной мере это положение относится также к словесному ударению, которое в речи выражается интенсивностью и длительностью ударного гласного, а по другим данным также высотой основного тона. В подобных случаях, указывает Б. Мальмберг, вопрос о релевантности признака становится делом статистики, и поиски единого дифференциального признака могут быть чисто иллюзорными. Этот взгляд, безусловно, отражает известные экспериментальные данные, тем не менее он является чересчур категоричным. Автору книги не следовало бы проходить мимо попыток некоторых исследователей найти общий знаменатель для ряда акустических характеристик в этих случаях. Г. Фант, например, считает, что ударение определяется относительным количеством энергии в ударном слоге, которое является функцией двух параметров — интенсивности и длительности. С другой стороны, в ряде работ были опубликованы данные о большой корреляционной зависимости основного тона от громкости речи, которые могут свидетельствовать об избыточности этого признака в случае ударения. Интересным с этой точки зрения является также указание М. Халле на тот факт, что формантный переход для слухового восприятия эквивалентен шу-

мовому импульсу и т. п. Следует также иметь в виду, что факты, на которые опирается Б. Мальмберг, получены с помощью спектрального анализа речи. Спектральный анализ, однако, не является единственным функциональным преобразованием, способным выделить релевантные признаки речевого сигнала. Можно полагать, что применение других функциональных преобразований расширит наши возможности в этом отношении.

В лингвистической литературе много спорных проблем вызывают случаи относительного характера некоторых дифференциальных признаков. Так, например, в тональных языках высокий тон гласного для мужского голоса количественно может быть даже ниже, чем низкий тон для женского голоса. Аналогичные смещения шкалы дифференциального признака имеют место не только при переходе от диктора к диктору, но и в потоке речи одного диктора в зависимости от условий контекста, как в случае дифференциального признака компактности — диффузности в системе гласных датского языка. Рассматривая подобные случаи, Б. Мальмберг, однако, не дает им достаточного объяснения. Между тем эти явления тесно связаны с наличием двух потоков информации в речевом сигнале — потока фонемной информации и потока информации о голосе диктора. При переходе от диктора к диктору не только изменяется средняя частота основного тона, что, например, в тональных языках приводит к смещению шкалы дифференциального признака тона, но могут самым существенным образом изменяться и другие основные параметры речевого тракта. В силу своей связи с индивидуальным диктором эти параметры становятся переносчиками информации о голосе диктора, которая, в частности, используется в процессе узнавания. Сказанное относится в полной мере также и к определенным изменениям параметров речевого тракта в потоке речи одного диктора, в том числе и в зависимости от контекста. Информация о голосе диктора дана в речевом сигнале в смеси с фонемной информацией, поэтому разделение этих двух потоков информации имеет важное значение для выделения дифференциальных признаков. В технике анализа и синтеза речи разрабатываются методы решения этой задачи, которые прежде всего состоят в нормировании речевого сигнала, т. е. в приведении к стандартному речевому тракту, а также к стандартной громкости или к стандартному темпу речи. Нормирование в той или иной мере снимает информацию о голосе диктора и в конечном счете должно привести к снятию относительного характера дифференциальных признаков. Эти факты необходимо иметь в виду при истолковании случаев относительного характера дифференциальных признаков.

В соответствии с положением о принадлежности дифференциальных признаков к структуре языка Б. Мальмберг выдвигает три условия объединения аллофонов в фонему, а именно: функциональную тождественность с точки зрения принципов коммутации и дополнительного распределения, принадлежность к одному и тому же дистрибутивному классу и общность определенных дифференциальных признаков. Изложение основ фонемного анализа Б. Мальмберг ведет с позиций выдвинутого еще Ф. Соссюром структуралистского представления о формировании непрерывной звуковой субстанции лингвистической формой. Исходя из непрерывности речевого сигнала, Б. Мальмберг, в частности, усматривает формирование непрерывной физической реальности дискретной языковой формой в членении речевого потока на фонемы в процессе восприятия, которое, по его мнению, происходит на основе функциональных лингвистических критериев. Этот взгляд Б. Мальмберга противоречит данным спектрального анализа, свидетельствующим о наличии естественных сегментов в речевом сигнале. С другой стороны, в научно-технической литературе публиковались сведения о методах членения речи на фонемы с помощью технических устройств, надежность которых уже сейчас по крайней мере ставит под сомнение главенствующую роль функциональных критериев в процессе членения речи при ее восприятии. Еще более серьезные возражения вызывают принятые Б. Мальмбергом представления о формировании языком объективной действительности в плане содержания, из которых могут быть сделаны и нежелательные философские выводы. Взгляды Б. Мальмберга на содержательную сторону языка могут быть резюмированы следующим образом.

В плане содержания язык состоит из дискретных элементов, число которых и соотношения между которыми произвольны для каждого языка. Поэтому сообщение не может быть переведено с одного языка на другой с сохранением того же количества информации. Поэтому же грамматическая структура не может быть универсальной, так же как не может иметь общего значения ни одна семантическая классификация. Дискретной лингвистической структуре в плане содержания противостоит объективная реальность, которая представляет собой некоторую непрерывность (континуум). Лингвистическое содержание — «это способ, в соответствии с которым так называемая реальность вне нас воспринимается, познается в опыте и интерпретируется. Следовательно, восприятие, познание и интерпретация идентичны с лингвистической формой. Ибо любое

восприятие предполагает собою интерпретацию и категоризацию непрерывности, которая может быть преобразована в дискретные элементы только благодаря процедуре лингвистической квантизации» (стр. 149). Такой взгляд ставит с ног на голову действительные соотношения между языком и отображаемым с помощью него объективным миром. В самом деле, уже простейший организм, отвечая положительной реакцией на благоприятные воздействия среды и отрицательной реакцией на неблагоприятные воздействия, производит практическую классификацию явлений внешнего мира, которая не может быть произвольной, поскольку речь идет о самом существовании организма. Эта первичность объективного мира для восприятия и опыта сохраняется на всех ступенях эволюции животного мира вплоть до человека. В человеческом обществе язык стал мощным орудием познания внешнего мира, что отнюдь не отрицает ведущую роль в процессе познания объективного мира и общественной человеческой практики. Закрепляемая в языковых терминах классификация определяется условиями жизни людей, их практической деятельностью. Возьмем, например, наиболее непрерывный параметр — время. Этот непрерывный параметр в человеческой практике квантуется, т. е. разбивается на дискретные отрезки, получившие названия: «год», «месяц», «сутки», «часы» и т. д. Какова роль языка в этом разбиении? Год определяется периодом вращения земли вокруг солнца, с которым связана смена времен года и другие важные для человека изменения в окружающей его природе; месяц связан с периодом обращения луны; сутки определяются периодом обращения земли вокруг своей оси и связаны с важной для человека сменой дня и ночи. Произвольным является разбиение времени на часы. Однако и разбиение суток на часы производилось не языком, а по положению солнца, звезд, а в настоящее время у каждого из нас имеется специальное устройство, которое отсчитывает часы, минуты и секунды, т. е. производит практическое разбиение непрерывного времени. В языке лишь фиксируются результаты познания человеком внешнего мира, результаты его практической деятельности, что, конечно, не исключает возможности обратного воздействия языка на процессы восприятия и познания.

Затронутые нами вопросы далеко не исчерпывают всего содержания рецензируемой книги. В двенадцати главах книги Б. Мальмберга получили освещение основные проблемы современного языкознания, начиная с проблемы языкового знака и кончая проблемами происхождения языка и закономерностей языковых изменений. Однако все даже самые традиционные проблемы освещаются Б. Мальмбергом с позиций современной структуральной лингвистики с привлечением сведений из теории информации и последних достижений речевой связи. Последнее обстоятельство позволило Б. Мальмбергу написать книгу на современном научном уровне, книгу широкого научного кругозора. Читатель найдет в книге Б. Мальмберга много полезных сведений, а также обширный материал для размышлений над современными проблемами как структуральной лингвистики, так и техники речевой связи.

В. И. Григорьев

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1965

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

9—11 апреля 1964 г. в Кракове была организована научная сессия на тему «Понятие „закона" в лингвистике», посвященная 600-летнему юбилею Краковского университета. В программу конференции вошло восемь докладов и одно сообщение. Председательствовал на заседаниях организатор сессии проф. Е. Курилович.

Наиболее общий характер носил первый доклад доц. А. Гейнца «Понятие языкового закона» («Der Begriff des Sprachgesetzes»). Под законом в науке докладчик понимает утверждение, что между определенными явлениями существуют отношения категориального характера, категориальный же характер свойствен такому отношению, члены которого (один или два) составляют множество с общим основанием. Языковые законы с точки зрения субъекта закона определяются как описательные (в противоположность нормативным), а с точки зрения предмета закона — как конвенциональные (в противоположность неконвенциональным). Степень регулярности данного закона можно оценить путем сопоставления теоретически обоснованных границ его действия с границами его фактической реализации. Докладчик остановился на характеристике синхронических законов в противоположении их диахроническим и панхронических законов, противопоставленных законам менее общим вплоть до абсолютно изолированных закономерностей; затронул также проблему количественных и качественных границ закона в системе языка, вопросы взаимной иерархии законов, степени их очевидности, рассмотрел, наконец, возможность применения в лингвистике возможности предвидения.

К реферату доц. А. Гейнца примыкало сообщение проф. К. Аммера (ГДР), посвященное проблемам разграничения и взаимоотношений различных планов языка.

Д-р В. Скалмовский в докладе «Проблемы закономерности в математической лингвистике» («Probleme der Gesetzmässigkeit in der mathematischen Linguistik») исходил из того, что так называемая «математическая лингвистика» преследует те же самые цели, что и языкознание «без прилагательного», т. е. стремится вскрыть и сформулировать свойственные языку закономерности. Основой анализа является определение понятия закона, данное М. Бунге. В соответствии с этим определением предложением, имеющим характер закона, можно считать каждое предложение, соответствующее следующим условиям: 1) оно является общим, 2) имеет эмпирическое обоснование и 3) составляет часть какой-нибудь теории. Это позволяет принять следующую формулу закона:

$$V_u \bigwedge_x [x \in (W_1 \cap U) \rightarrow \varphi x],$$

которую мы читаем так: «существует такая область U, что для каждого x, если оно обладает свойством W_1 и принадлежит области U, то φx», где φ x означает какую-нибудь форму высказывания, а стрелка — номологическую импликацию. Комментируя затем понятие свойства, докладчик показал характерную дихотомию в понимании языковых объектов как данных a priori (так называемая «God's truth»-теория) или как сконструированных (так называемая «hokus-pokus»-теория). Первому соответствует статистическое, а второму алгебраическое направление математической лингвистики. Затем докладчик остановился на проблеме языковых моделей и проблеме возможности предвидения в языке, которая на базе математической лингвистики приводит к тем же самым выводам, что и на базе структурной лингвистики. Закончил он утверждением, что специфику математической лингвистики как научной дисциплины составляет используемый этой наукой мета-язык.

Доклад проф. Е. Курилович «О законах изоморфизма» («On the laws of isomorphism») был посвящен сходствам структур, принадлежащих двум языковым уровням: фонологическому (семиотическая диакритическая функция) и морфо-синтаксическому (семиотическая, семантическая функции). К обоим уровням применяется различение синтагматики, с одной стороны, и парадигматики, с другой. Существенное сходство между этими двумя уровнями заключается в дифференциации функций в зависимости от синтаг-

матической позиции, причем не всегда удается применить дихотомический принцип к анализу языковых структур. Убедительным примером может служить различный на почве разных систем анализ групп согласных, зависящий не только от того, сколько элементов можно выделить в этих группах, но также и от того, в какие взаимные комбинации они могут входить. Синтагматическая позиция и коннотация (возможность предвидения) являются, по мнению докладчика, основными факторами, позволяющими в границах более широких структур выделить относительные (в данной плоскости неделимые) единства. Другая аналогия между обоими планами — это иерархия различительных признаков фонемы, с одной стороны, и функций так называемых «portmanteau-morphs», с другой. Наконец, к проявлениям изоморфизма надо отнести параллель между связанной морфемой (префиксом, суффиксом) и той же самой морфемой, функционирующей, например, как независимое наречие, а в фонологическом плане, например, между признаками палатальности, лабиальности или аспирации, функционирующими иногда как комбинаторные варианты фонем (i, u, h...).

Проф. Й. В а х е к (ЧССР) доложил «О внутреннем и внешнем определении звуковых законов» («On the internal and external determination of sound-laws»). Он начал с определения случая как точки пересечения двух не коррелирующих между собой структур. Можно предположить, что роль так понимаемого случая часто играет по отношению к языку перекрестное воздействие моментов внутренней и внешней детерминации. Но в основном между этими факторами господствует гармония, причем главная роль принадлежит внутренним факторам, хотя это роль прежде всего регулирующего, а не вызывающего изменения фактора. Границы воздействия внешних факторов ограничивает в свою очередь не только факт их подчинения внутренним факторам, но и опосредствованный, как правило, характер этого воздействия, происходящего при посредстве другой языковой системы (иногда при посредстве коррелирующей графической системы — письма). Кажется, что именно эти ограничения делают возможным гармоническое совместное воздействие на развитие языка и тех, и других факторов. И именно эта гармония является причиной того, что в жизни языка существует минимальная возможность катастроф, подобных трагической смерти человека, на голову которого свалился кирпич. Внутренние факторы действуют в пределах каждого языкового плана (фонология, морфология, синтаксис, лексика), а также в вертикальном разрезе между этими планами. Внешние факторы действуют прежде всего в сфере лексики, а на другие планы воздействуют обычно при посредстве отдельных лексем.

Проф. Л. З а в а д о в с к и й в докладе «Индукция и дедукция в лингвистике» («Induction et déduction en linguistique») посвятил свое внимание прежде всего определению индукции и дедукции не в традиционном понимании как разновидностей умозаключений (raisonnement), а как отношений между предложениями. Если на основе ряда предложений с элементами какого-либо класса, являющихся результатом непосредственного наблюдения, мы утверждаем что-либо обо всем классе (понимаемом дистрибутивно), мы имеем дело с индукцией, дедукцию же мы определяем как такое отношение между двумя предложениями, при котором истинность одного из них является достаточным условием истинности другого. Жаль, что в докладе слишком мало места осталось для вопроса о границах применения индукции и дедукции в языкознании. Интересные тезисы содержит заранее переданное организаторам конференции резюме доклада. Язык был там представлен как сумма словаря и грамматики, т. е. как совокупность конвенциональных и категориальных отношений между элементами текста. Группа элементов, реализующая грамматический закон (понимаемый как категориальное отношение, имеющее силу для всех элементов данного класса), называется конструкцией. Конструкции могут быть детерминирующие — их совокупность составляет грамматику языка (langue) и детерминированные, т. е. потенциальные (потенциальная система языка). Словарь языка мы усваиваем методом наблюдения и индукции, а пассивным знанием его мы обязаны дедукции. В свою очередь системой langue (недетерминированные конструкции) мы овладеваем индуктивно, а потенциальной системой — путем дедукции. Индукция и дедукция не исчерпывают списка отношений между предложениями, которые составляют науку о языке.

Доклад проф. И. К н о б л о х а (ГДР) назывался «Существуют ли законы изменений значения?» («Gibt es Gesetze für den Bedeutungswandel?»). Значение докладчик определил как прикрепление определенного языкового содержания к определенной фонетической форме. При этом он разграничил интерсубъективный с м ы с л, относящийся к речи (parole) и надсубъективное з н а ч е н и е, относящееся к языку (langue). Источник каждого диахронически зарегистрированного изменения значения в словарном составе или в синтаксисе заключается в изменении смысла слова или предложения в речи (parole). Явления, сопутствующие изменению смысла, нельзя рассматривать исключительно в категориях причинности. Исследование, адекватное по отношению к предмету исследования,

требует прежде всего принять во внимание условия и движущие силы изменения. Там, где можно предположить действие общих законов изменения значения, скрывается в действительности однородность условий и однородность движущих сил, управляющих соответствующими процессами.

Проф. В. Дорошевский в докладе, озаглавленном «Общие законы в области лексики» («Les lois générales dans le domaine du lexique»), остановился на фактах эволюции слов, определяемых по отношению к внеязыковой сфере как знаки предметов мысли (в области langue) или определенное поведение людей (в области parole). Докладчик обратил внимание на факт, что инвентарь этих предметов мысли, инвентарь предметов, различаемых мыслью и называемых, для разных человеческих обществ, для разных языков является различным, на это влияет топография, материальная культура и т. п. Действие законов в языке можно обнаружить только путем наблюдения языковых фактов, термин же «языковой факт» всегда относится к определенным формам языкового поведения говорящих единиц. Строгость языковых законов не больше строгости законов, управляющих какими-либо областями общественной жизни. Говоря о вопросах лексикологии и лексикографии, докладчик подчеркнул, что большие услуги могут оказать работе в этих областях соответствующие машины. Они уже применяются в лексикографических центрах Франции (в Безансоне и Нанси).

Проф. З. Штибер в докладе «Законы интерференции лингвистических систем» («Les lois de l'interference de systèmes linguistiques») ограничился фактами влияния одной системы langue на другую, опустив частые в межъязыковых контактах взаимопроникновения, ограниченные сферой parole. Он напомнил, что на границы взаимного влияния языковых систем оказывают воздействие общественные условия. Возможность предвидеть результаты этого воздействия стоит под вопросом. В области лексических заимствований влияние внутриязыковых факторов проявляется в относительно более частом заимствовании существительных, прилагательных, числительных, глаголов в противоположность изолированным случаям заимствования иноязычного местоимения или предлога. Если позволяет структура языка, часто заимствуются словообразовательные аффиксы. В фонологическом плане интерференция двух систем часто, хотя и не всегда, приводит к их упрощению. Существенно различать сознательные и несознательные заимствования. Заимствование флективных окончаний происходит только в очень близких друг другу языках, если это позволяет структура заимствующего языка. В то же время часты кальки перифрастических образований, а с другой стороны, изменение сферы употребления определенных флексий, вызванное системной интерференцией. В области синтаксиса взаимовлияния близких языков нередки. Возможность предвидеть результаты интерференции во всех языковых планах является минимальной.

Полные тексты докладов, а также отчет о ходе дискуссии будут помещены в ближайшем томе «Бюллетеня Польского лингвистического общества» («Biuletyn PTJ»).

З. Тополиньска (Варшава)

Перевела с польского *В. Ф. Коннова*

С 23 по 27 июня 1964 г. в Ленинграде состоялось Координационное совещание по сравнительному и типологическому изучению романских языков [1], организованное сектором индоевропейских языков Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР совместно с сектором романских языков этого Института (Москва), а также при активном участии романских кафедр Ленинградского гос. университета им. А. А. Жданова, Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена и Института литературы и языка АН МССР.

Это совещание явилось вторым собранием советских специалистов в области романского языкознания. Первое Всесоюзное совещание происходило в Кишиневе в 1961 г. и было организовано сектором романских языков Института языкознания АН СССР, Московским гос. университетом и АН МССР [2].

Соответственно резолюции Первого Всесоюзного совещания по романскому языкознанию [3], Ленинградское отделение Института языкознания АН СССР в начале июня 1963 г. обратилось в научные и учебные центры нашей страны с предложением принять участие в организуемом Координационном совещании. Романисты семнадцати городов откликнулись на это предложение. И кроме того многие приехали в качестве слушателей. Всего в совещании участвовали представители 28 городов.

Совещание открыла зам. директора Института языкознания АН СССР А. В.

[1] См.: «Тезисы докладов и сообщений», Л., 1964.

[2] См. тезисы этого совещания, Кишинев, 1961, «Программу Первого всесоюзного совещания по романскому языкознанию 19—21 июня 1961 года», Кишинев, 1961, а также два тома трудов: «Исследования в области романского и латинского языкознания», Кишинев, 1961 и «Вопросы романского языкознания», Кишинев, 1963.

[3] Лимба ши литература молдовеняскэ, 1961, 3; ИАН ОЛЯ, 1961, 6; ВЯ, 1962, 1; ФН, 1962, 1, стр. 224.

Десницкая. На первом пленарном совещании было сделано два доклада: Р. А. Будагов (Москва) выступил с докладом «К сравнительному изучению романских литературных языков» и М. С. Гурычева (Москва) — с докладом «Формы взаимодействия романских языков». На заключительном пленарном заседании был заслушан доклад В. М. Жирмунского (Ленинград) «Взаимодействия франкских и галлороманских диалектов в государстве Меровингов и Каролингов». Остальные доклады были распределены на девять секций.

Координационное совещание по романскому языкознанию имело целью рассмотреть основные вопросы общей проблемы сравнительного и типологического изучения романских языков. В сфере этой проблемы рассматривался ряд частных проблем [4]: сравнительное и сопоставительное изучение романских языков, изучение романских литературных языков и вопросы романской стилистики, статистические и кодовые приемы изучения типологии романских языков, типология романской лексики, словообразования и фразеологии, синтез и анализ в романских языках и соотношение лексики и грамматики, типология временных и модальных форм романского глагола, синтаксическая типология романских языков и романо-иноязычные контакты.

Среди названной проблематики центральное место занимали вопросы, связанные с изучением не одного романского языка, а двух и более, а также вопросы сопоставительного исследования романских языков со славянской и германской группами языков. Это привлекло к романскому совещанию и некоторых неромани́стов, занимающихся вопросами контактов разноязычных систем. Так, кроме упоминавшегося доклада В. М. Жирмунского, разным вопросам контактов романских и германских языков были посвящены доклады германистов В. П. Недялкова (Ленинград), Е. С. Шубина (Ленинград) и М. В. Брофман (Алма-Ата).

Принципиальные вопросы сравнительного изучения романских языков с разработкой вопросов методики в области грамматики были поставлены в докладе М. С. Гурычевой, в области фонетики и фонологии — в докладах Н. А. Катагощиной (Москва), В. А. Лисицкого (Воронеж), в области изучения литературных языков — в докладах Р. А. Будагова, Г. В. Степанова (Ленинград) и А. А. Касаткина (Ленинград).

Докладчики показали разные приемы изучения романских языков: вопросы морфемного членения языка были представлены докладами сотрудников сектора романских языков Института языкознания АН СССР (Москва) — М. С. Гурычевой, Е. М. Вольф, Л. И. Лухт; методы сравнительно-исторического анализа были подняты в докладе Е. А. Реферовской (Ленинград) о разрушении конструкции винительного с инфинитивом в поздней латыни; методы фонологического анализа нашли свое отражение в докладах Н. А. Катагощиной, В. А. Лисицкого и И. А. Мельчука (Москва); ряд докладов был посвящен статистическим и кодовым приемам изучения романских языков (Р. Г. Пиотровский, Ленинград; И. В. Матковский, Бельцы; В. М. Калинин, Ленинград, и др.); некоторые докладчики использовали методы структурного, в частности трансформационного, анализа при рассмотрении того или иного вопроса (Г. Н. Савельева, Москва; Т. А. Апресян, Москва) и метода дистрибуции (А. Н. Копылов, Рязань).

Большая группа докладов была связана с изучением грамматического строя отдельных романских языков, в основном французского. Большинство этих докладов в той или иной мере касалось сложного вопроса разграничения синтаксиса и морфологии, лексики и грамматики. Эти проблемы приобретают особенно актуальное значение в таком аналитическом языке, как французский. Сложные взаимоотношения синтеза и анализа в разные периоды истории французского языка разбирались в докладах М. А. Бородиной (Ленинград), В. Г. Гака (Москва), П. П. Дав (Ленинград), Г. В. Милюковой (Горький), И. И. Обуховской (Львов) и др.

В заключение на секции «Информационные материалы» говорилось о текущих коллективных работах; Р. Я. Удлер (Кишинев) рассказал о лингвистическом атласе молдавских народных говоров (Отдел диалектологии Ин-та лит-ры и языка АН МССР), И. А. Исенин (Иваново) — о частотном словаре французской прессы (кафедра франц. яз. Ивановск. пед ин-та), Г. В. Милюкова (Горький) и Л. М. Скрелина (Минск) — о словаре газеты «Humanité» (Кафедра франц. яз. Горьковск. гос. пед. ин-та ин. яз.). Кроме того, на этой секции были сделаны сообщения: М. А. Бородиной, Г. А. Князева (Ленинград) и Б. А. Малькевич (Ленинград) о материалах по романской филологии в Ленинградском отделении Архива АН СССР (с экспозицией этих материалов) и Н. Д. Андреева (Ленинград) о применении статистико-комбинаторных методов к исследованию романских языков.

В обсуждении сообщений этой секции приняли участие В. М. Жирмун-

[4] См.: «Программа Координационного совещания по сравнительному и типологическому изучению романских языков 23—27 июня», Л., 1964.

ский, М. А. Бородина, В. П. Петушков (Ленинград) и др. Во всех остальных секциях по большинству сделанных докладов и сообщений также развернулись прения, в них приняло участие около ста человек.

В кратком отчете нет возможности дать характеристику всех докладов и обсуждений. Поэтому мы вынуждены остановиться здесь выборочно только на отдельных моментах.

По секции сравнительного и сопоставительного изучения романских языков в прениях выступило 16 человек. Особый интерес возбудил вопрос о методике создания модели романских языков, о которой рассказывали М. С. Гурычева и Н. А. Катагощина. Работа этой секции бесспорно содействовала повышению интереса к сравнительным исследованиям и вопросам метода.

Много интересного сообщили выступавшие по докладу О. К. Васильевой-Шведе (Ленинград) «К проблеме второстепенных членов предложения в романских языках (на материале неличных форм глагола)». В частности, здесь обсуждалась проблема герундия, который играет чрезвычайно важную роль в романских языках. Б. И. Вакснан (Кишинев), Р. Я. Удлер, А. М. Дырул (Кишинев) охарактеризовали свойства герундия в румынском и молдавском языках. М. А. Радионова (Москва) отметила недостаточную изученность этой формы в португальском языке. Все выступавшие отмечали большой теоретический и практический интерес материала, собранного О. К. Васильевой-Шведе.

Большая дискуссия развернулась вокруг доклада Н. Д. Арутюновой (Москва), в частности, вокруг вопроса о том, почему докладчик, изучая систему времен испанского языка, не включил, как это обычно делается, видовые и модальные отношения. Е. М. Вольф приветствует изучение системы времен «без примеси модальности» и отмечает, что в отношении испанского языка впервые был проведен такой чисто временной анализ. Л. М. Уман (Орел) говорила, что построенная докладчиком система дифференциальных признаков очень стройна и экономна. При этом Л. М. Уман полагает, что можно не ограничиваться противопоставлением настоящего и прошедшего — будущему, как это делал докладчик; можно противоставлять также прошедшее и будущее. По докладу Н. Д. Арутюновой выступили также О. К. Васильева-Шведе, А. Л. Афанасьева (Ленинград) и Н. М. Александров (Ленинград). В своем заключительном слове Н. Д. Арутюнова настаивала на том, что наиболее устойчивым противопоставлением является противопоставление форм предшествования и непредшествования, которое в испанском языке в отличие, например, от итальянского, не выносит сдвигов (смещений). Докладчик отметила также, что она не анализировала перифразы, так как в испанском языке они факультативны по отношению к системе времен и не дают новых дифференциальных признаков.

По докладу Е. А. Реферовской выступали романисты Ленинграда — Н. В. Соколова, В. Б. Шеметилло, А. И. Зайцев, М. А. Бородина, О. К. Васильева-Шведе и М. С. Гурычева (Москва). Большинство выступавших (Васильева-Шведе, Гурычева, Бородина и Шеметилло) присоединились к точке зрения Е. А. Реферовской о распаде конструкции accusativus cum infinitivo в поздней латыни и отметило, что в задачи доклада не входило освещение истоков современной романской инфинитивной конструкции, которая, по мнению Н. В. Соколовой и А. И. Зайцева, восходит к соответствующей латинской структуре, представляющей, как и французская конструкция, развернутое дополнение. По мнению Зайцева, во французском литературном языке инфинитивный оборот поддерживается не без влияния латинской письменности. Дискуссия разгорелась против латинской традиции в изучении романских языков, поскольку она мешает видеть новое (Васильева-Шведе).

По докладу М. А. Бородиной выступали М. С. Гурычева, Е. А. Реферовская, К. А. Алленсдорф (Москва), О. А. Домбровский (Львов), Н. В. Соколова и Н. В. Алямская (Ленинград). Все выступавшие отметили своевременность постановки вопроса о синтезе и анализе и синхронии и диахронии, поскольку действительно морфологическая точка зрения, господствовавшая до сих пор в изучении романских языков, привела к некоторой переоценке флективной морфологии, из-за которой новые аналитические тенденции оставались до сих пор мало изученными; изучение аналитических конструкций предполагает наличие синтаксической точки зрения, которая укрепилась только в XX в.

Особенно остро встал вопрос о методе исследования при обсуждении доклада Г. А. Савельевой, которая изучает беспредложные конструкции во французском языке трансформационным методом. Как отмечали выступавшие, например Г. А. Богданова (Одесса), далеко не все трансформы исследователя безупречны — так, трансформы *café avec du lait* или *rue de Racine* не соответствуют норме французского языка. Гораздо более четким представляется доклад К. И. Масленниковой (Ленинград), также посвященный исследованию беспредложных именных конструкций традиционным методом филологического анализа, с учетом как семантической, так и формаль-

ной стороны вопроса. В своем заключительном слове Г. А. Савельева отметила, что в работе в целом она отнюдь не ограничивается методом трансформации.

Оживленная дискуссия возникла вокруг доклада М. М. Бобыревой (Москва) о соотношении грамматических и стилистических функций порядка слов в современном французском языке. Этот доклад, по мнению К. А. Долинина (Ленинград), подтверждает мысль о том, что все выходящее за пределы грамматической нормы, является носителем стилистических оттенков. М. С. Гурычева по поводу того же доклада отметила, что стилистические категории интересны в тех случаях, когда они выражают своеобразие синтаксических структур. Докладчик, как отметила М. С. Гурычева, поставила актуальные проблемы синтаксической топологии.

Активное участие не только в организации, но и в проведении дискуссии приняли романисты МССР, представившей 12 докладчиков: из Кишинева — Н. Г. Корлэтяну, С. Г. Бережан, А. Т. Борщ, Б. И. Ваксман, Г. Ф. Давыдов, И. Ф. Мокряк, В. С. Сорбалэ, Р. Я. Удлер, Н. Д. Раевский, из Бельц — В. В. Макаров, Л. А. Новак и Д. И. Ешан. Большинство докладов было связано с изучением строя молдавского языка и его контактов со славянскими языками. В прениях обсуждались также вопросы связи молдавского языка с румынским, особенности графики молдавского языка, отдельные вопросы лексики, грамматики и стилистики, а также диалектные материалы.

Совещание показало, что за три года, истекшие после Первого Всесоюзного совещания по романскому языкознанию, романская филология достигла новых успехов в различных научных центрах нашей страны и, в особенности, как это отметила во вступительном слове А. В. Десницкая, в столице Молдавской республики — Кишиневе.

Учитывая большой рост романистики в нашей стране, который наблюдается в последние годы, совещание было задумано как смотр романских сил, который дал бы возможность работать в дальнейшем более целенаправленно и более организованно. Можно сказать, что этот смотр удался. Он не только способствовал контактам между романистами разных центров, но и подытожил тот теоретический и практический вклад, который внесли специалисты, работающие в области романского языкознания, в науку о языке.

Участники совещания приняли резолюцию об итогах работы совещания и признали целесообразным издать труды совещания[5]. В резолюции принято решение о созыве через три года III совещания по романскому языкознанию, ориентировочно в Минске или во Львове. Было высказано пожелание, чтобы будущее совещание в своей работе пошло по линии не сужения или ограничения тематики (как об этом говорили некоторые участники), а носило бы резко проблемный характер (А. В. Десницкая, А. А. Касаткин).

М. А. Бородина (Ленинград)

21—24 сентября 1964 г. в Бурятском пед.ин-те (Улан-Удэ) прошла IV научно-методическая конференция зонального объединения кафедр русского языка Восточной Сибири и Дальнего Востока, на которой присутствовали представители 12 вузов и научно-исследовательских институтов. Всего было обсуждено 42 доклада и 10 сообщений.

На пленарных заседаниях сделали доклады: проф. В. Д. Кудрявцев (Иркутск) «Воспитательные возможности русского языка в школе и вузе»; проф. Г. В. Тропин (Иркутск) «Ономастика и необходимость ее изучения»; доц. С. Ш. Чагдуров (Улан-Удэ) «Сопоставительная стилистика и художественный перевод»; акад. АПН РСФСР А. В. Текучев доложил конференции «О предложениях по усовершенствованию русской орфографии» и «Об условиях повышения эффективности занятий по русскому языку в школе».

Споры возникли вокруг интересного доклада С. Ш. Чагдурова. Признавая сопоставительную стилистику перспективным разделом общей стилистики, выступавшие полемизировали с докладчиком по вопросу о требованиях к художественному переводу.

В секции современного русского языка и стилистики художественной речи были представлены доклады доц. Л. И. Шоцкой (Иркутск) «Проблема взаимоотношения разговорной и книжной лексики в художественной прозе 30—40-х гг. XIX века»; доц. О. А. Нечаевой (Улан-Удэ) «Наблюдения над языком и стилем писателя С. В. Сартакова» и «Настоящее время как стилистическая категория в современном русском языке»; доц. Н. Г. Ковининой (Хабаровск) «О тяготении как особом виде синтаксической связи в русском языке». Проблемы омонимии и синонимии в со-

[5] Доклады и сообщения совещания объединены в три сборника: «Методы сравнительно-сопоставительного изучения романских языков» (готовится к печати в Институте языкознания АН СССР), «Вопросы грамматики французского языка» (сборник подготовлен к печати в Ленинградском пед. институте им. А. И. Герцена) и «Вопросы литературного языка, лексики и фразеологии романских языков» (предполагается издать в Ленинградском университете им. А. А. Жданова).

временном русском языке поднимали в своих докладах кандидаты филол. наук И. А. Валентинова и А. Г. Щепин (Чита). Синтаксису простого предложения и словосочетания посвятили свои сообщения Л. В. Лебедева (Благовещенск), Н. А. Троицкая (Чита) и П. М. Бердник (Петропавловск-на-Камчатке).

В секции методики половина докладов отражала конкретный опыт преподавания русского языка в национальной школе. В заседаниях секции участвовало более ста учителей БАССР. Доц. М. Н. Мангадаев и Ж. С. Сажинов (Улан-Удэ) поделились результатами сопоставительного изучения морфологии и синтаксиса русского и бурятского языков. Доц. М. М. Власенко (Иркутск) и доц. В. В. Осокин (Томск) в своих докладах говорили о проблемах культуры речи и выразительного чтения.

В секции русской диалектологии и истории русского языка были представлены доклады: «Диалектологический словарь русского старожилого населения Забайкалья» Л. Е. Элиасова (Улан-Удэ); «Наблюдения над диалектной фразеологией говоров Киренского района Иркутской области» канд. филол. наук Н. А. Бобрякова (Иркутск); доклады о характере лексических диалектизмов средней части бассейна р. Оби Ф. П. Ивановой (Хабаровск) и Качугского района Иркутской области Л. Г. Ботиной (Иркутск).

Говоры забайкальских семейских были предметом сообщений П. Ф. Калашникова (Улан-Удэ) и Е. И. Тынтуевой (Иркутск). Фонетической системе говора с. Савватеевка Иркутской области и говора Уймонской долины Горно-Алтайской области посвятили свои доклады Т. П. Демченко (Иркутск) и В. Г. Упхонов (Улан-Удэ).

Три доклада отражали ход исследований по исторической грамматике русского языка: А. Г. Исакина «Глагольные формы настоящего-будущего времени в Пандектах Н. Черноризца» (Петропавловск-на-Камчатке), М. Е. Рубинштейн (Комсомольск-на-Амуре) «О времени и путях формирования сложных предложений с придаточными присоединительными» и Н. П. Попова (Благовещенск) «К истории будущего аналитического в древнерусском языке».

В секции национальных языков состоялись четыре доклада. Заведующий отделом языка Бурятского комплексного научно-исследовательского института (БКНИИ) СО АН СССР Ц. Б. Цыдендамбаев в докладе «Итоги экспедиционного изучения говоров бурят Иркутской области», обобщив большой фактический материал, пришел к выводу, что следует признать существующими три наречия современного бурятского языка: восточнобурятское, западнобурятское и южнобурятское.

Доц. Иркутского ун-та В. И. Золхоев в докладе «Нейтрализация фонологических оппозиций бурятских гласных» утверждает, что краткие гласные неперв ых слогов в бурятском языке утрачивают дифференцирующие фонетические свойства, сохраняя лишь сущность фонемы вообще. Этим, по мнению В. И. Золхоева, объясняется развитие бурятских дифтонгоидов в монофтонги.

Доц. Д. Доржиев (Улан-Удэ) дал в своем докладе анализ синтаксических особенностей ранних деловых бумаг бурят, относящихся к первой половине XIX в.

Научный сотрудник БКНИИ СО АН СССР У. Ш. Дондуков сделал доклад «К вопросу о развитии сельскохозяйственной терминологии бурят в советский период», отметив, что одним из продуктивных способов развития новой терминологии следует признать заимствование сельскохозяйственных терминов из русского языка.

V зональная конференция кафедр русского языка Восточной Сибири и Дальнего Востока состоится в г. Уссурийске Приморского края в 1967 г.

М. М. Власенко (Иркутск)

6—9 октября 1964 г. в Институте языкознания АН СССР состоялась IV сессия, посвященная научным проблемам теории германских языков. В отличие от предыдущих трех сессий, рассматривавших в основном проблемы сравнительно-исторической грамматики германских языков и проблемы их фонологического и морфологического строя, эта сессия была целиком посвящена вопросам изучения германских языков в типологическом плане. Как было отмечено во вступительном слове зам. директора Института языкознания АН СССР В. Н. Ярцевой (Москва), открывшей сессию, изучение типологических особенностей близкородственных языков в синхронном плане является в известном смысле новой проблемой, поскольку ни исследование типологии языков вообще, ни исследование близкородственных языков в частности не стали еще объектом должного внимания лингвистов. Вместе с тем, такое изучение языка, ведущееся по разным аспектам, помогает выявлению специфических черт отдельных уровней и способствует установлению набора моделей, общих для близкородственных языков.

В день открытия сессии с докладами выступили В. М. Жирмунский (Ленинград), Э. А. Макаев (Москва), М. М. Гухман (Москва), Е. И. Шендельс (Москва). В докладе В. М. Жирмунского «Типологические аналогии в развитии

германских языков» было подчеркнуто, что основной задачей сравнительно-исторической грамматики группы генетически родственных языков или диалектов является раскрытие внутренних закономерностей их развития, невозможное вне исследования историко-типологических аналогий, возникающих в процессе развития этих языков, включая как их развитие в условиях существования их в виде единой генетической общности, так и, далее, в виде отдельных обособляющихся диалектов. Таким образом, задачи историко-генетического и историко-типологического исследований, по мнению докладчика, не отделимы друг от друга, ибо возникновение общих закономерных тенденций (с существенными различиями в разных языках и диалектах) вызывается в первую очередь генетической общностью языков. Это положение было проиллюстрировано на примере ряда явлений в области фонологических и фономорфологических особенностей структуры слова в германских языках.

Доклад Э. А. Макаева «Отбор констант для построения типологической грамматики германских языков» был связан с определением области типологической грамматики близкородственных языков, понимаемой как фрагмент универсальной грамматики, ограниченной генетическими рамками. Докладчиком была высказана мысль о необходимости построения в виде рабочей гипотезы германского языка — эталона, по отношению к которому отдельные подсистемы разных германских языков окажутся лишь частичной его реализацией. Возможным путем построения типологической грамматики германских языков является установление общегерманских моделей разных уровней языка. Сущность типологических констант выясняется, однако, лишь в процессе соотнесения выделенных на основе указанной процедуры моделей с иноструктурными моделями. Типологическая грамматика германских языков в этом смысле начинается собственно лишь тогда, когда исследователь выходит за пределы общегерманского инварианта, сопоставляя последний с инвариантами других языков.

Возможность иного подхода к построению типологической грамматики аргументировалась в докладе М. М. Гухман «Грамматическая категория как единица сопоставительно-типологического анализа родственных языков». Одним из основных вопросов типологического исследования, независимо от того, рассматривается ли материал родственных или неродственных языков, является вопрос о единицах измерения типологического сходства и типологического различия языков. При выборе в качестве единиц измерения грамматических категорий ни значимый, ни формальный аспекты изучаемого объекта не являются данными, а избираются как предмет исследования. Задачей типологического изучения грамматики является в данной связи установление системы грамматических категорий группы языков, описание формально-структурных средств их выражения, установление разных типов формализации грамматического значения и т. д.

В докладе Е. И. Шенделькс «О соотношении плана содержания и плана выражения» отмечалось, что установление типологического сходства языков должно производиться с учетом итогов сопоставления четырех этапов грамматического анализа: 1) определение инвентаря категориальных форм (архиформ) в каждой системе оппозиций данного языка; 2) определение функций или значений — парадигматических, выявляющихся в нейтральном контексте, и синтагматических, реализуемых в определенных речевых условиях — каждой архиформы; 3) разложение парадигматического и синтагматического значений на простейшие единицы — «семы» и, наконец, 4) сопоставление «сем» различных значений разных форм с целью установления их близости и расхождений.

В прениях по этим докладам выступили Е. С. Клычков (Москва), Д. Г. Радченко (Черновцы), А. А. Хадеева-Быкова (Ярославль). Е. С. Клычков указал на целесообразность построения типологии не столько на основании абстрактных эталонов, сколько на основании признаков, выделяемых при изучении таких промежуточных областей как, скажем, морфонология. Выход за пределы одного уровня более соответствует изучению языка как системы взаимопроникающих уровней. В выступлении Д. Г. Радченко содержался ряд частных соображений, касающихся неопределенности понятия «типологическая константа», вопросов определения грамматической категории и выделения категориальных, в частности синтагматических, значений. Отмечая, что в каждом из четырех докладов содержится попытка подойти к проблеме типологических исследований с различных позиций, А. А. Хадеева-Быкова высказала мнение, что такое положение вполне правомерно, так как каждый из них уточняет предмет типологического исследования.

На утреннем заседании 7 октября были заслушаны доклады В. Н. Ярцевой, Е. С. Кубряковой (Москва), И. Н. Анацкого (Москва). В докладе В. Н. Ярцевой «Структура слова в аспекте парадигматики и синтагматики» были затронуты вопросы, связанные с сопоставительно-типологическим анализом структуры слова в современных германских языках. Такой анализ, по мнению докладчика, должен базироваться на выяснении основных моделей слова и их дистри-

буции в отдельных германских языках. Дифференциация моделей осуществляется с точки зрения их морфемного состава, рассматриваемого как в качественном, так и количественном аспектах. Выделение вариантов подобных основных моделей и группировка моделей слов по определенным рядам также имеют большое значение.

Доклад «О путях типологического изучения германских языков в области словообразования» Е. С. Кубряковой был посвящен вопросу о принципах определения основных структурных признаков словообразовательных систем германских языков, что, по мнению докладчика, является необходимой предпосылкой изучения этих языков в типологическом плане. В докладе была предложена методика изучения системы словообразования как определенного признакового пространства, обладающего своими параметрами. Определив основные модели производных в системе словообразования и общую конфигурацию этой системы, докладчик продемонстрировал также некоторые возможности выражения ряда количественных характеристик системы в виде типологических индексов.

И. Н. Анацкий в докладе, озаглавленном «Типология сложного слова в современных германских языках», остановился на ряде вопросов, связанных со становлением сложного слова и дифференциацией основных структурных типов сложений. В докладе были рассмотрены тенденции развития в области словосложения, взаимодействие словосложения и деривации, продуктивность отдельных словообразовательных типов, а также функциональный аспект употребления в германских языках категории так называемых «полуаффиксов».

В прениях по заслушанным докладам выступила И. П. Иванова (Ленинград). Уточняя понятие «морфологическая примета», предлагаемое В. Н. Ярцевой, И. П. Иванова указала на возможность неоднозначной интерпретации этого термина. Было указано также на желательность более детального рассмотрения критериев сложного слова в английском языке, в частности, на возможность использования критерия заменимости компонентов сложного слова однопорядковыми семантическими единицами, критерия ударения и некоторых других.

Темой сообщения Г. Г. Сильницкого (Смоленск) явились формальные критерии выделения семантических классов глагола в английском языке. В качестве таких критериев были выдвинуты те грамматико-семантические типы предложений, которые могут быть развернуты из данного глагола. При этом преобразовании исходной конструкции глагола, по мнению Г. Г. Сильницкого, выявляются не только грамматическая, но и семантическая природа данной конструкции. На этом основании выделяются восемь групп глаголов, определяемых различными семантическими функциями прямого дополнения (имплицитно-переходные, имплицитно-объектные, эксплицитно-переходные и т. п.).

А. А. Уфимцева (Москва) в докладе «О типологическом изучении лексики», прочитанном на вечернем заседании 7 октября, отметила, что необходимо разграничить два аспекта исследования — изучение лексической системы как совокупности номинативных средств языка, с одной стороны, и изучение характера парадигматических и синтагматических связей лексических единиц, определяемого сложным взаимодействием лексического, семантического и грамматического уровней языка, с другой. При определении предмета и задач типологического исследования нужно учитывать, во-первых, синхронные черты и свойства лексико-семантической системы и, во-вторых, совершающиеся в ней исторические процессы. Само же типологическое исследование имеет своей целью установление своеобразия форм взаимодействия лексического и грамматического в языке в целом и в слове в особенности.

Определению смысловой структуры слова был посвящен доклад Е. В. Гулыга (Москва) «Автосемантия и синсемантия как признаки смысловой структуры слова». Автосемантия (способность слова выражать значение вне зависимости от других единиц, контекста или ситуации) и синсемантия (способность слова выражать значение лишь в сочетании с другими единицами на фоне контекста или ситуации) были рассмотрены на примере имен собственных и нарицательных, местоимений и некоторых групп глаголов. Анализ указанных единиц позволил выделить ситуационную синсемантию, контекстуальную синсемантию и валентную синсемантию (определяемую синтаксической валентностью самого слова). Два последних вида синсемантии определяются спецификой того или иного языка даже в пределах семьи родственных языков и, следовательно, имеют определенное значение для типологического изучения этих языков.

В выступлении Н. Ф. Пелевиной (Черновцы) по вопросу построения семантического поля было отмечено, что принципы построения семантических полей для слов разных значений (абстрактных, конкретных и т. п.), по мнению докладчика, различны.

Утреннее заседание 8 октября 1964 г. было отведено докладам Г. С. Щура (Москва), И. Б. Хлебниковой (Москва) и М. В. Янкошвили (Тбилиси). В докладе Г. С. Щура «Морфо-семантическое поле и некоторые вопросы сопоставительного изучения морфологии близкородственных языков» рассматривался ряд вопросов построения системы языка, понимае-

мой как сеть иерархических связей, а не как сеть отношений или противопоставлений. Взаимодействия и связи между элементами осуществляются через поля (представляющие с гносеологической точки зрения вид материи); взаимодействие и наложение частных полей, элементы которых обладают общими, или инвариантными, свойствами, приводят к возникновению инвариантного поля. Инвариантные поля характерны для всех уровней языка и лежат в основе рядов, серий, классов единиц, групп слов с общим значением, а также отражаются с помощью понятийных и грамматических категорий. Из принципа инвариантности вытекает то, что для языка существенными являются не различия, а тождества.

Основное внимание в докладе И. Б. Хлебниковой «Типологическое исследование видо-временных систем западноевропейских языков» было уделено выявлению основы сопоставления глагольных систем и установлению эталона для будущих сопоставлений. Основой сопоставления признается определение инварианта грамматического значения форм, состоящего из набора неразложимых дифференциальных признаков, от которых исходят оппозиции по категориальным значениям в данной микросистеме. В качестве эталона глагольной системы для сопоставления оппозиций в системах разных языков избирается видо-временная система английского языка.

Доклад М. В. Янкошвили «Изоморфизм временных кругов в системе глагола» был посвящен рассмотрению более общих принципов построения системы времен. На основе временной системы английского языка выделяются два функциональных круга времен: настоящего и прошедшего, изоморфных как в плане содержания, так и в плане выражения. Аналогичные функциональные круги настоящего и прошедшего времени существуют и в других языках.

На вечернем заседании с докладами выступили Г. П. Торсуев (Москва) и В. Я. Плоткин (Новосибирск). В докладе Г. П. Торсуева «Проблемы фонетической, фонологической и общей типологии» была высказана мысль о невозможности единой типологической характеристики отдельного языка, вследствие чего необходима типологическая характеристика языка по различным его аспектам. В частности, исследуя структуру слова и предложения и определяя их составные элементы и их соотношение, можно прийти и к типологической характеристике языка на фонетическом и фонологическом уровнях.

По мысли В. Я. Плоткина, сделавшего доклад на тему «Количественный аспект фонетического моделирования словарных единиц в современных германских языках», наряду со структурной типологией существует типология функциональная. Ее предметом являются общие свойства соотношений функционально связанных систем. Базой для таких типологических исследований могут служить, в частности, результаты измерения, характеризующие связи между звуковым и лексическим ярусами в современных германских языках.

Отмечая большой теоретический интерес докладов, прочитанных на сессии, Б. А. Серебренников (Москва), выступая в прениях, подчеркнул, что вопросом первостепенной важности является определение целей и задач типологических исследований, а также вопрос о конкретных путях и методах подобного исследования. Различия в понимании конкретных методов типологического исследования отразились и в докладах настоящей сессии, среди которых можно было бы выделить различные направления (установление общей системы грамматических категорий, конструирование общих моделей или эталона и т. п.). Б. А. Серебренников высказал сомнение по поводу самой возможности изучить типологию языка одними структурными методами.

Выступление А. А. Хадеевой-Быковой было посвящено характеристике одной из возможных единиц, применяемых при типологическом изучении языка — сравнению равноценных функциональных систем или функционально-семантических полей.

В сообщении М. В. Раевского (Тула) говорилось о признаках, годных для сопоставления консонантных систем современных германских языков и построения соответствующего эталона. Как полагает докладчик, чрезвычайно важным в типологическом сопоставлении является учет временной перспективы, например, сопоставление современных германских языков с общегерманским состоянием.

В выступлении С. А. Сандлера (Тирасполь) был затронут вопрос о целесообразности и правомерности выбора в качестве объекта типологического исследования группы родственных языков и высказано предложение создания истории структурных преобразований германских языков.

Важность изучения в типологическом плане отдельных категорий, обладающих общими признаками, была поддержана в выступлении Е. М. Кубарева (Куйбышев) и проиллюстрирована на анализе отрицательной конструкции в различных языках.

В ответном слове М. М. Гухман подчеркнула, что при современном состоянии типологических исследований отработка методики этих исследований должна проводиться в первую очередь на материале родственных языков, что яв-

ляется первым этапом в построении общей типологии. По мнению М. М. Гухман, в типологических исследованиях могут быть использованы и некоторые структурные методы исследования (ср. значение пражского структурализма для типологических исследований).

В докладе В. Г. Адмони (Ленинград) «Структурный костяк элементарного предложения в германских языках», прочитанном 9 октября, рассматривались черты сходства и различия в оформлении глагольно-предикативной группы «вспомогательный (или связочный) глагол + именная группа (или предикатив)» в германских языках. Наблюдаемые значительные расхождения в структуре указанной группы (тенденция к опусканию именных компонентов в диалоге и повторах в английском языке, с одной стороны, и стремление сохранить полную структурную схему предложения в немецком языке, с другой) взаимосвязаны и отражают общие структурные закономерности германских языков.

Доклад А. М. Мухина (Ленинград) «Синтаксические связи и позиционная структура предложений в германских языках» был посвящен рассмотрению основных особенностей предикативной связи в отличие от субординативной и координативной связей, а также характеристике некоторых особенностей германских языков в области позиционной структуры предложения.

В сообщении О. М. Барсовой (Москва) был намечен определенный порядок исследования синтаксиса предложения на материале германских языков.

Выступая в прениях, Б. М. Задорожный (Львов) отметил полезность конференции такого рода, хотя, по мнению выступавшего, вопросы типологии требуют большего внимания к изучению разноструктурных языков. Б. М. Задорожный высказал также ряд частных замечаний по отдельным докладам.

Значение настоящей сессии для дальнейшего развития научной работы в области германских языков было отмечено и в выступлении Н. А. Булах (Ярославль).

С рядом критических замечаний в адрес докладчиков выступили также А. А. Гердт (Ростов-на-Дону) и Г. М. Райхель (Калинин).

Подводя итоги конференции, В. Н. Ярцева подчеркнула, что изучение типологических особенностей германских языков является одним из первых опытов в области изучения типологии близкородственных языков. Частичное ограничение проблемы материалом этих языков не явилось препятствием для их типологического исследования, и во многих работах были продемонстрированы конкретные примеры как схождений, так и расхождений этих языков в типологическом плане. Представляется, что намеченные в ряде докладов направления будущей работы являются важными как для изучения германских языков, так и для общей типологии. Затем В. Н. Ярцева познакомила присутствующих с работами по общему и германскому языкознанию, которые выходят в свет в 1965 г. из стен Института языкознания. В заключение В. Н. Ярцева поблагодарила собравшихся за участие в конференции.

Деятельность сессии была завершена работой по координации научной работы в области германского языкознания. С сообщением о проблематике кандидатских и докторских диссертаций выступила М. Д. Степанова (Москва). По поручению секции лингвистики научно-технического совета Министерства высшего и специального среднего образования СССР Е. С. Клычков рассказал о рекомендательном списке проблем и тем по германскому языкознанию. Своими соображениями о разработке тем для будущих диссертаций поделились О. И. Москальская (Москва), В. Г. Адмони, М. М. Гухман, Э. Г. Ризель (Москва), И. Р. Гальперин (Москва), И. П. Иванова, Н. Ф. Иртеньева (Москва).

Е. С. Кубрякова, Е. Ф. Демьянюк (Москва)

С 13 по 18 октября 1964 г. в Черновицком гос. университете была проведена VI славистическая конференция, организованная по инициативе Министерства высшего и специального среднего образования и Украинского комитета славистов при Президиуме АН УССР. В работе конференции принимали участие 160 ученых-славистов из АН УССР, АН СССР и АН БССР, университетов и педагогических институтов Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Кишинева, Львова, Одессы, Днепропетровска, Запорожья, Харькова, Черновиц, Алма-Аты, Фрунзе и других городов.

На пленарном заседании выступили с докладами: секретарь Черновицкого обкома КПУ В. М. Курило («Борьба КПСС за единство международного коммунистического движения»), проф. Львовского гос. ун-та А. В. Чичерин («Проблема славистики в развитии славянских и неславянских литератур»), доц. Московского гос. ун-та В. Г. Королев («Первый интернационал и южные славяне») и проф. Киевского гос. ун-та В. А. Жебокрицкий («Достижения и перспективы в развитии исследований по истории славян на Украине»).

На конференции были представлены четыре секции: 1) историческая; 2) литературоведческая; 3) лингвистическая и 4) фольклорно-искусствоведческая. В работе секций нашли свое отражение вопросы перспективного развития отечественной славистики, поставленные перед советскими учеными Программой КПСС, решениями съездов и пленумов

ЦК КПСС и ЦК КПУ. В ходе конференции было заслушано 120 докладов и сообщений по наиболее актуальным вопросам современного славяноведения, включая историческую миссию славянских народов в коммунистическом движении, антифашистской и национально-освободительной борьбе.

На секции литературоведения рассматривались новейшие исследования, посвященные проблемам традиционных взаимосвязей русской, украинской и белорусских литератур с литературами западных и южных славян. На заседаниях секции фольклористики, этнографии и искусствоведения были подвергнуты обсуждению доклады, в которых фигурировали вопросы этногенезиса и культурно-литературных связей славянских народов в донациональный и национальный периоды их истории.

На пленарном заседании лингвистической секции, состоявшемся 13 октября, выступили: К. К. Целуйко (Киев), А. И. Журавский (Минск), А. Т. Борщ (Кишинев), Л. Л. Гумецкая (Львов). Их доклады и сообщения касались частных и общих вопросов лексики и фразеологии, фонетики и грамматики церковно-славянского и современных славянских языков. В области исторического лингвостиля уделялось внимание межнациональным языковым связям, а также отдельным проблемным вопросам семасиологии, ономастики и топонимики.

Подсекция лексики проводила свою работу в трех направлениях: 1) доклады по вопросам межъязыковых и междиалектных контактов славянских языков, а также по вопросам взаимодействия славянских языков с языками других систем (румынским, молдавским, венгерским, литовским и др.); Г. Ф. Шило (Дорогобыч), В. И. Столбунова (Черновцы), Е. И. Янович (Минск), Д. В. Коваль (Черновцы), Н. А. Москаленко (Одесса), П. Н. Лизанец (Ужгород), Е. Г. Кедайтене (Вильнюс); 2) доклады, посвященные исследованию языковых взаимосвязей на материале памятников древнейшего периода: П. П. Плющ (Киев), М. Ф. Станивский (Черновцы); 3) доклады и сообщения, касающиеся вопросов топонимии и антропонимии: Ю. А. Карпенко (Черновцы), С. П. Бевзенко (Одесса), Н. В. Берилло (Минск), З. Ф. Пенюк (Черновцы), П. П. Чучка (Ужгород). Доклады, прочитанные на заседании подсекции лексики, вызвали большой интерес и живое обсуждение. В прениях по докладам выступили: Л. Л. Гумецкая, Н. И. Толстой (Москва), П. П. Плющ, С. П. Бевзенко, А. Е. Супрун (Фрунзе), Г. Ф. Шило, П. Н. Лизанец, А. И. Журавский, Ю. А. Карпенко и др. Особого внимания заслужили доклады: М. Ф. Станивского («Отражение восточного и южнославянского влияния на формуле и языке славяно-молдавских грамот»), Ю. А. Карпенко («Развитие словообразования гуцульской топонимики Буковины»), П. П. Плющ («Задачи изучения языка Пересопницкого евангелия») и др.

На заседании подсекции грамматики было прослушано пять докладов и двенадцать сообщений, посвященных, главным образом, вопросам компаративного и структурного исследования славянских языков. Глубокую заинтересованность вызвали доклады и сообщения, связанные с вопросами словообразования. Так, например, И. И. Ковалик (Львов) посвятил свое выступление особенностям именного словообразования сербо-лужицких языков, А. Д. Зверев (Черновцы) подробно остановился на проблеме словообразования имен прилагательных в современных восточнославянских языках, вопросам словообразования славянских числительных уделено было внимание в докладе А. Е. Супруна. О славянских супплетивных формах говорилось в докладе С. П. Самойленко (Запорожье). На заседании подсекции грамматики были представлены также доклады и сообщения по производным предлогам и проблеме аналитизма в современных славянских языках: Ю. Г. Скиба (Черновцы), В. В. Коптилов (Киев), Н. В. Коссек (Одесса). Вопросам структурно-грамматического анализа предлогов и их стилистическим функциям в современных восточнославянских языках были посвящены выступления И. И. Слынько (Черновцы), Л. Ф. Коваленко (Днепропетровск). Большой научный интерес и активное обсуждение вызвал доклад В. М. Лесина (Черновцы) «Об отношении языка произведений В. Стефаника к литературному языку». Проблеме построения монологической речи в современных восточнославянских языках был посвящен доклад Л. М. Лосевой (Черновцы). В прениях по докладам выступили: Я. А. Спринчак (Нежин), В. В. Бесединa-Невзорова (Харьков), Ф. П. Медведев (Харьков), С. П. Самойленко и др.

Участники конференции Н. И. Толстой, А. И. Журавский, С. П. Бевзенко и др., высоко оценивая качество докладов и сообщений, отметили, что состоявшаяся Всеукраинская славистическая конференция в г. Черновцах по своей значимости фактически превратилась во всесоюзную.

На заключительном пленарном заседании было принято решение о проведении очередной VII республиканской славистической конференции при Днепропетровском государственном универси-

тете. VI Всеукраинская славистическая конференция явилась важным событием в научной жизни славистов Украины. Она сыграла большую роль в подготовке к VI Международному съезду славистов, который состоится в Праге в 1968 г.

Ю. Г. Скиба, В. И. Столбунова (Черновцы)

20—22 октября 1964 г. в г. Баку Научным советом по лексикологии и лексикографии при Отделении литературы и языка АН СССР совместно с Институтом литературы и языка им. Низами АН АзербССР было проведено IX Всесоюзное координационное совещание по вопросам фразеологии.

В совещании приняли участие около 80 лингвистов-лексикографов Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Вильнюса, Риги, Таллина, Тбилиси, Баку, Еревана, Алма-Аты, Кишинева, Самарканда, Уфы и других городов страны. В числе участников были как сотрудники головных и республиканских лингвистических институтов, так и преподаватели центральных и периферийных вузов и работники словарных издательств.

Совещание открыл директор Института литературы и языка АН АзербССР акад. М. Ш. Ширалиев (Баку), подчеркнувший важность проведения в республиках подобных совещаний, координирующих разработку теоретических и практических проблем лексикографии, и познакомивший участников совещания с перспективным планом лексикографических работ, ведущихся в АН АзербССР.

Вступительное слово к обсуждению основной темы совещания было сделано зам. председателя Научного совета д-ром филол. наук Н. А. Баскаковым (Москва), определившим наиболее дискуссионные вопросы теории фразеологии: границы понятия «фразеологизм» и критерии его определения; отношение фразеологизма к пословицам и поговоркам; определение национальной специфики фразеологизма и др.

Совещание прослушало 11 докладов и 8 развернутых выступлений.

Основным вопросом в докладе канд. филол. наук А. М. Бабкина (Ленинград) был вопрос об объеме фразеологии в нашей лексикографической практике: неприемлемо как слишком широкое понимание фразеологии, включающее во фразеологический словарь пословицы, поговорки, терминологические сочетания, так и неоправданное сужение ее границ. Истинным объектом фразеологического словаря является разряд лексической идиоматики. Все же остальные перечисленные категории выразительных средств требуют иных приемов лексикографической обработки. Свои основные теоретические положения, касающиеся определения сущности фразеологических единиц, их разрядов и способов образования, А. М. Бабкин изложил в брошюре «Лексикографическая разработка русской фразеологии» (М. Л.— 1964), которая была подготовлена им к настоящему совещанию. В ней же дан и проект академического фразеологического словаря русского языка.

В докладе канд. филол. наук Л. И. Ройзензона и З. А. Шугуровой (Самарканд) на материале ряда языков были рассмотрены вопросы, касающиеся «компаративной фразеологии», прежде всего природы и границ устойчивых сравнительных оборотов. К «компаративной фразеологии» любого языка докладчики относят устойчивые обороты, синтаксически оформленные как сравнительные. Исходя из структурно-семантических особенностей в составе такого рода оборотов выделяются два основных типа: а) сравнительные устойчивые обороты — идиомы и б) сравнительные устойчивые обороты — фразеологизмы. Фразеологизация обоих типов этих оборотов имеет различный характер — от слабо фразеологизированного сцепления лексем и словосочетаний до предельной целостности идиоматизированных выражений. Типология этих оборотов основывается на функционально-смысловых связях между объектами сравнения и тем, что можно назвать «сравнительной частью».

Структурные типы двухкомпонентных глагольных фразеологических единиц были перечислены в докладе канд. филол. наук Г. А. Байрамова (Баку) на материале азербайджанского языка. На основе семантических взаимоотношений компонентов глагольно-фразеологических единиц докладчик условно разбивает их на две группы: 1) фразеологические единицы, в которых оба компонента в семантическом отношении являются равными (фразеологические сращения и фразеологические единства) и 2) те глагольные фразеологические единицы, в формировании семантики первой части которых именной компонент играет решающую роль, а глагольной компонент утрачивает свое лексическое значение.

Канд. филол. наук М. И. Исаев (Москва) указал, что задачи составления фразеологических словарей младописьменных языков отличны от составления словарей языков старописьменных. В национальный фразеологический словарь младописьменных языков должно войти все лексическое богатство языка, включая пословицы и поговорки. М. И. Исаевым была предложена классификация фразеологических единиц по отношению к осетинскому языку, подразделяемых им на восемь групп.

Касаясь общего определения предмета фразеологии, канд. филол. наук Г. М. Удовиченко (Киев) отметил, что специфика фразеологии украинского

языка позволяет говорить о двух основных группах фразеологизмов: 1) собственно фразеологизмы и 2) фразеологизированные пословицы, поговорки и другие сочетания.

Канд. филол. наук Е. Г. Малиновский (Самарканд) предложил процессы формирования и стабилизации устойчивых оборотов изучать в их связи с экстралингвистическим явлением актуализации, которое состоит в нарушении в связи с потребностями общественной коммуникации обычных семантических связей лексем, сложившихся в языке на данном этапе.

Давая классификацию фразеологических единиц татарского языка, канд. филол. наук Г. Х. Ахунзянов (Казань) поддержал точку зрения тех исследователей, которые при определении объема и объекта фразеологии учитывают не только семантическую структуру фразеологизмов, но и их функцию в речи. В связи с этим Г. Х. Ахунзянов не допускает возможности полного исключения пословиц и поговорок из фразеологии, но считает, что они должны рассматриваться не в общей своей массе, а дифференцированно в зависимости от их фразеологической структуры. В свете этого положения докладчик предлагает свою классификацию этой категории фразеологизмов, которая, по его мнению, не упраздняет общей классификации фразеологизмов в лексико-грамматическом плане.

В выступлении канд. филол. наук А. Н. Тихонова (Самарканд) была дана грамматическая характеристика глагольных устойчивых оборотов. А. Н. Тихонов возражает против включения А. М. Бабкиным наречий и отдельных наречных сочетаний в состав толкового фразеологического словаря.

Канд. филол. наук А. Г. Биишев (Уфа) отметил, что по вопросу о разрядах фразеологических единиц в толковом фразеологическом словаре он считает более определенной точку зрения А. М. Бабкина и очень расплывчатой и запутанной — Г. Х. Ахунзянова, включающего в этот разряд пословицы и поговорки. Дифференциацию пословиц, данную Г. Х. Ахунзяновым, А. Г. Биишев подвергает критическому рассмотрению. Только при установлении черт сходства и различия фразеологических единиц и пословиц возможно определить то общее, что есть между ними, и то, что их разграничивает. Вопрос о включении пословиц и других выразительных средств при составлении фразеологических словарей младописьменных языков должен быть рассмотрен отдельно.

Канд. филол. наук М. Т. Тагиев (Баку) в своем докладе «Фразеологическое окружение как проблема лексикографии» предложил для более точного определения объекта фразеологии как раздела лингвистики изучение фразеологического состава языка по методу окружения, под которым им понимается «структурно неотъемлемое сопутствующее фразеологической единице слово в определенной грамматической форме или соответствующая синтаксическая конструкция».

На необходимость дифференцированного решения проблемы составления фразеологических словарей указал в своем докладе канд. филол. наук М. М. Копыленко (Алма-Ата). По его мнению, начало должен положить словарь сочетаний, обладающих как сильной устойчивостью, так и сильной идиоматичностью, типа *бить баклуши*, *краеугольный камень*, *попасть впросак*. Включению этих сочетаний во фразеологический словарь, по мнению М. М. Копыленко, должно предшествовать четкое определение «порога идиоматичности», который и явится основой для внесения или невнесения сочетания в словарь. Степень идиоматичности зависит от степени той свободы, с которой опорное слово сочетания вступает в связь с другими словами в предложениях, а также насколько свободно данное сочетание подвержено трансформационным преобразованиям: чем меньше число возможных трансформационных операций, тем более оно идиоматично. Идиоматичность сочетания лексем может быть градуирована лишь в пределах определенной структурной группы сочетаний, образуемых лексемами определенной семантической группы. Наиболее частотная лексема данной семантической группы может быть признана стержневой.

Канд. филол. наук Ю. Д. Апресян (Москва), касаясь доклада М. М. Копыленко, указал, что выбор синтаксических признаков, с помощью которых измеряется степень идиоматических сочетаний, случаен; эти признаки не дают возможности построить единую шкалу идиоматичности для всего рассматриваемого материала. Устанавливая правильную связь между степенью идиоматичности словосочетания с числом его синтаксических признаков, М. М. Копыленко делает, по мнению Ю. Д. Апресяна, неправильное предположение о возможности измерения идиоматичности абсолютным числом признаков. Выбор числа 7 в качестве порога идиоматичности не обоснован ни общими соображениями, ни экспериментальным материалом, ни даже описанием возможных экспериментов, которые могли бы его подтвердить.

Акад. С. К. Кенесбаев (Алма-Ата) высказал несогласие с Г. Х. Ахунзяновым и М. И. Исаевым по поводу понимания объекта фразеологии в широком плане и одобрил теоретические положения доклада А. М. Бабкина, основанные на конкретном фразеологическом материале русского языка. Опираясь на примеры казахского языка, С. К. Кенесбаев воз-

ражает против выдвинутого М. М. Копыленко положения о соотношении идиоматических типов со степенью их устойчивости и считает разграничение вариантов фразеологизмов в докладе Ю. Ю. Авалиани и Л. И. Ройзензона недостаточно четким. Синонимы — фразеологизмы, имеющие свои специфические черты, желательно отграничить от синонимов-слов.

О некоторых особенностях фразеологии финских языков сообщил канд. филол. наук Г. Н. Макаров (Петрозаводск). Одной из таких особенностей может быть, в частности, явление аллитерации, придающее особую экспрессивную окрашенность фразеологическому обороту. Г. Н. Макаров присоединяется к мнению М. И. Исаева о создании различного типа фразеологических словарей и считает, что для младописьменных языков подобный словарь должен охватывать все виды фразеологии.

Зависимость структуры фразеологического словаря от методов классификации фразеологического состава данного языка была вскрыта в докладе канд. филол. наук А. С. Аксамитова (Минск), который указал, что если представить фразеологизмы в виде строго обусловленной семантической системы, то классификация их должна быть сделана по определенным понятийным группам, в которых будут обобщены наиболее существенные признаки процессов и явлений. Создание подобного понятийного фразеологического словаря, по мнению А. С. Аксамитова, было бы важно и в теоретическом, и в практическом отношении. Опираясь на материалы «Белорусско-русского фразеологического словаря», А. С. Аксамитов предложил опыт распределения фразеологического материала по понятийным признакам. По мнению докладчика, внутри этих понятийных групп фразеологический материал может быть приведен в систему путем классификации его уже по грамматическим признакам. Наиболее установившимся семантическим критерием в определении опорного слова А. С. Аксамитов считает определение «фразеологизирующего» свободное словосочетание компонента. В докладе были намечены основные признаки выделения опорного слова, играющие роль и при отнесении того или иного фразеологизма к определенной предметно-синонимической группе.

Канд. филол. наук К. Т. Мамрешев (Нальчик) указал, что в адыгских языках установление опорного слова фразеологизма основывается в основном на трех признаках: семантическом, структурно-грамматическом и «лексико-позиционном», причем форма проявления значения опорного слова зависит от характера и происхождения фразеологизма.

Член-корр. АН ТаджССР М. Ф. Фазылов (Душанбе) поделился с участниками совещания опытом составления «Фразеологического словаря таджикского языка», первый том которого вышел в 1963 г., а второй выходит в ближайшее время, и остановился на тех трудностях теоретического порядка, которые вставали перед составителями этого словаря.

Канд. филол. наук С. А. Халилов (Баку) на основе составляемого им лично азербайджанского фразеологического словаря предложил свое деление фразеологических единиц по ряду признаков, а также познакомил с принятой им структурой словарных статей.

По мнению канд. филол. наук В. П. Григорьева (Москва) нерешенность проблем, относящихся к определению круга фразеологизмов, которые должны входить в словарь, к размещению ограниченного материала в алфавите словарных статей и их структуре, делает составление собственно фразеологического словаря весьма затруднительным. Самым перспективным В. П. Григорьев считает тип словаря, дающий все слова — компоненты фразеологизмов в алфавитном порядке с разветвленной системой отсылок. Касаясь работы руководимой им группы по составлению словаря языка русской советской поэзии, В. П. Григорьев указал, что проблема фразеологии в этом словаре решается по-иному и рассматривается как производная от проблемы разграничения общеязыкового и индивидуального в языке поэта.

Канд. филол. наук И. П. Паулаускас (Вильнюс) остановился на вопросе размещения фразеологизмов в толковом словаре литовского языка и отметил их специфические черты. Предпочтение отдается структурному расположению, которое повышает познавательную ценность литовских фразеологизмов.

В докладе кандидатов филол. наук Ю. Ю. Авалиани и Л. И. Ройзензона (Самарканд) была затронута проблема синонимии фразеологических оборотов. По мнению докладчиков, отсутствие четких критериев отграничения явлений собственно синонимии от процессов варьирования фразеологических единиц затрудняет определение сферы фразеологической синонимии. На материале ряда индоевропейских языков различных групп в докладе были рассмотрены некоторые общие вопросы разграничения синонимии и вариантности.

Этой же проблемы, но на материале грузинского языка, коснулся в своем докладе канд. филол. наук А. А. Такаишвили (Тбилиси), рассмотревший тот вид фразеологической синонимии, который допускает замену компонентов фразеологизма. Докладчиком указывается, что этот процесс охватывает в грузинском языке узкий круг слов, и он свойствен в основном фразеологическим единствам и словосочетаниям.

Б. С. Шварцкопф (Москва) предложил следующие четыре условия, при

которых, по его мнению, возможно определить само понятие «вариант фразеологической единицы»: 1) тождественность значения фразеологизмов; 2) тождественность внутренней формы фразеологизмов; 3) структурное ограничение фразеологической вариации, включающее тождественность грамматической структуры и лексического состава; 4) отнесенность вариантов к одному синхронному срезу. Фразеологические варианты могут быть поэтому частотными (или общеупотребительными) и окказиональными (или индивидуальными). Предметом фразеологического словаря должны быть только общеупотребительные варианты.

Выступления М. М. Пашаевой (Баку), канд. филол. наук Е. Г. Багатуровой (Ереван), Б. Г. Таирбекова (Баку), Х. М. Икрамовой (Самарканд), К. А. Марцишевской (Москва) касались вопросов подачи фразеологизмов в двуязычных словарях.

Роль переводов в обогащении азербайджанского литературного языка фразеологизмами была показана в докладе канд. филол. наук М. И. Адилова (Баку). Это обогащение идет как по линии создания фразеологизмов внутри азербайджанского языка, так и в результате перевода их из других языков.

Вопросу калькирования образных фразеологических единиц в молдавских двуязычных фразеологических словарях посвятил свое выступление канд. филол. наук В. П. Соловьев (Кишинев). На опыте составления этих словарей было установлено, что даже в самых сложных случаях перевода молдавских фразеологизмов на русский язык можно избежать описательного перевода, используя полное или частичное калькирование.

Ю. Ю. Авалиани в отдельном выступлении обратила внимание на некоторые фразеологические явления, не учитываемые собственно фразеологическим фондом языка. К ним относятся разного рода формулы речевого обмена, приветствий, вежливых обращений и т. д. На материале курдского языка (курманджи) Ю. Ю. Авалиани показала основную специфику и функциональные особенности формул речевого обмена и привела доводы в пользу отнесения их к фразеологическим единицам.

После кратких заключительных слов докладчиков и подведения итогов Н. А. Баскаковым на совещании была принята резолюция, основное содержание которой сводится к следующему:

1. Создание фразеологических словарей национальных языков было признано одной из существенных и необходимых задач советской лексикографии, так как словари этого типа являются действенными пособиями по культуре речи и раскрывают богатство национальных языков в их своеобразии и стилистической выразительности.

2. Желательно и необходимо создание как специальных толковых фразеологических словарей, так и двуязычных русско-национальных и национально-русских словарей, обеспечивающих возможность высококачественных переводов с одного языка на другой.

3. Недостаточный опыт по созданию фразеологических словарей не дает еще возможности остановиться на каком-либо одном типе фразеологического словаря, поэтому допустимы и желательны экспериментальные фразеологические словари различного замысла.

4. В качестве опыта фразеологического словаря может быть рекомендован проект академического фразеологического словаря русского языка, опубликованный в книге А. М. Бабкина «Лексикографическая разработка русской фразеологии».

5. Во фразеологических словарях, планируемых на ближайшее время, целесообразно сосредоточить внимание на толковании лексической идиоматики, оставляя за пределами словарей крылатые слова, пословицы, поговорки и устойчивые терминологические сочетания.

6. При решении вопроса о номенклатуре фразеологического словаря необходимо учитывать национальную специфику конкретных языков и языковых групп.

Н. Н. Уханова (Москва)

С 26 по 28 октября 1964 г. в Москве в Институте народов Азии АН СССР проходила конференция по семитским языкам, организованная отделом языков этого института. На конференции семитологами из Ленинграда, Москвы, Тбилиси, Баку, Ташкента, Вильнюса было прочитано более 60 докладов и сообщений по языкознанию, литературе, источниковедению и смежным вопросам. Для арабского языка, представленного наибольшим числом сообщений, пришлось выделить отдельную секцию. Одновременно с ней работали еще две секции: семитских языков и литературы.

Пленарное заседание открылось вступительным словом заведующего отделом языков ИНА СССР Г. П. Сердюченко, указавшего, что при всей важности арабистики необходимо вести на надлежащем уровне и все другие отрасли семитологии как старые, так и новые. В докладе акад. В. В. Струве (Ленинград) и М. А. Коростовцева (Москва) «Семитология как отрасль востоковедения», прочитанном вторым автором, внимание уделено генетическим связям несемитских языков семито-хамитской семьи, которые еще не

так давно назывались хамитскими и которые состоят из четырех отдельных групп: египетского с коптским, берберских, кушитских и группы хауса-котоко. Эти группы связаны между собой не более чем каждая из них с семитскими языками. Попытку отнести египетский и коптский язык к семитским докладчик отвергает, считая ее построенной на ложном утверждении о наличии в египетском, как и в семитских языках, префиксального спряжения, хотя оно действительно имеется в коптском языке.

И. Н. Винников (Ленинград), осветив состояние книжных и рукописных фондов в Ленинграде, остановился на ближайших задачах в области гебраистики, арамеистики (исключая сириологию, см. ниже о сообщении Н. В. Пигулевской), финикийской филологии, угароведения, эфиопистики и ассириологии.

В. И. Беляев (Ленинград) в докладе «Современные задачи арабского языкознания в Советском Союзе» указал на своевременность изучения литературного арабского языка в историческом плане с учетом данных диалектологии на основе следующей (предварительной) периодизации: I. Период становления — VI—VII вв.; II. Период расцвета и всеобщего применения —VII—XII вв.; III. Период упадка — XIII—XVIII вв.; IV. Период возрождения (XIX—первая половина XX в.); V. Новейший послевоенный период. Изучение литературного языка по периодам должно идти параллельно с изучением диалектологии, имеющим целью создание сравнительно-исторической грамматики арабских диалектов. Только при таком подходе станет возможным создание подлинно исторической грамматики арабского языка.

В докладе Г. Ш. Шарбатова (Москва) «О роли и характере литературной и диалектальной форм арабского языка» указывается на различные сферы применения литературного арабского языка (общего для всех арабских народов), с одной стороны, и арабских территориальных диалектов (различных в разных арабских странах), с другой, а следовательно, на своеобразное двуязычие арабов. Типологическое различие литературного языка и диалектов сказывается более всего в том, что в диалектах развивается аналитизм у имен, в меньшей мере у глаголов. Ускоренное распространение арабского литературного языка и расширение сферы его применения, прежде всего вследствие роста контактов между арабскими народами приводит к усилению взаимовлияния между литературным языком и диалектами.

А. А. Ковалев (Москва) выступил с сообщением «Основные вопросы лингвистической подготовки арабистов в вузах», в котором он рассказал об опыте общей и специальной лингвистической подготовки студентов в Институте восточных языков при МГУ. Докладчик сообщил, что в ближайшие годы в Институте, помимо арабского и амхарского языков, будут готовиться специалисты и по ивриту, а преподаваться будет и аккадский язык.

В докладе Н. В. Пигулевской (Ленинград) «Итоги и перспективы советской сириологии», прочитанном К. Б. Старковой, после краткого обзора истории сириологии в нашей стране перечисляются исследования в области палеографии, источниковедения и литературоведения, осуществленные в советское время, и намечаются задачи на ближайшее будущее.

Е. Г. Титов (Москва) рассказал о языковой ситуации в Эфиопии. Государственный амхарский язык, все более распространяясь в торговле, промышленном производстве и в средней школе вместо английского и других европейских языков, одновременно вытесняет и местные языки, в первую очередь кушитский язык галла и семитские языки тигре и тигринья; исключением является провинция Эритрея, где по-прежнему распространены языки тигре и тигринья.

К. Б. Старкова (Ленинград) сделала сообщение о публикации памятников еврейско-арабской литературы (средние века), особо подчеркнув необходимость планомерного описания и издания богатейшего фонда рукописей этого раздела.

В докладе «К вопросу о датировке кумранских рукописей» И. Д. Амусин (Ленинград), привлекая данные раскопок 1964 г. в крепости Масада, подтверждает общепринятую датировку этих памятников II в. до н. э. — 68 г. н. э. В вопросе о более точной датировке отдельных рукописей и их групп, указал докладчик, помогает в частности расшифровка комментариев к книге пророка Наума, в которых отражены события 88—63 гг. до н. э.

На секции арабского языка В. М. Белкин (Москва) рассказал о путях формирования лексического состава современного арабского литературного языка.

Г. Г. Зарине-заде (Баку) остановился на влиянии, которое оказало классическое произведение арабской лексикографии X в.— словарь ал-Джаухари («Сыхах ал-арабийя») — на персидскую лексикографию; для этого названный арабский словарь был сопоставлен со словарем М. Нахчивани «Сыхах ал-фурс» (XVIII в.).

Г. М. Габучан (Москва) в своем докладе «К вопросу о внутренней флексии в семитских языках (на материале арабского языка)» упрекнул лингвистов, занимавшихся вопросами структуры семитского слова, в частности Е. Куриловича, В. П. Старинина и И. А. Мельчу-

ка [6] в незнании взглядов арабской грамматической традиции по этому вопросу и изложил арабское учение о ҳарфе, как о минимальной единице; из таких единиц состоит арабское слово. Термин этот при фонетическом его толковании имеет в виду открытый слог, т. е. комбинацию начального согласного с любым из арабских гласных, в том числе с нулем гласного. Из этих вариантов ҳарфов и состоит аṣл (корень), изменения которого могут быть внутренними (бина') за счет вариантности внутренних ҳарфов и внешними за счет изменения гласного лишь последнего ҳарфа (иʿраб). В первом случае имеем внутреннюю флексию, во втором — внешнюю. Аффиксация — в том числе и прерывистая, но не разрывающая аṣл,— рассматривается при этом как часть словообразования.

В своем докладе «Новые реформы грамматической системы арабского языка» Салах Халыс (Москва) сообщил о пользующихся успехом в среде преподавателей и журналистов арабских стран методических работах, где, кроме того, предлагается известное упрощение самой арабской грамматической системы (отказ от малоупотребительных и несистемных форм склонения).

Л. И. Мамулия (Тбилиси) утверждает, что так называемый «грамматический трактат» Абу Али ал-Фариси (рукопись № 944 ЛГУ) на самом деле является двумя произведениями, хотя и связанными по теме. В подтверждение своего взгляда она приводит рубрики работы и рассказывает об их содержании, сравнивая их с «книгой» Сибавейхи.

Э. Н. Наджип (Москва) в своем докладе рассказал о работе арабских филологов XI—XV вв., в частности Абу Хаййана и Ибн-Муханны, над изучением тюркских языков и высоко оценил созданные ими словари, главным образом как источник для истории тюркских языков.

Доклад Ю. А. Рубинчика (Москва) был посвящен арабским заимствованиям в персидском языке, которые образуют здесь особую систему—морфологическую и синтаксическую, претерпев значительные системные фонетические изменения.

В. Д. Ушаков (Москва) остановился на терминах «мотивированность» и «немотивированность» [7] в связи с классификацией идиоматических словосочетаний арабского литературного языка.

Ю. Н. Завадовский (Москва) поставил вопрос о методике изучения типологии арабских говоров «магриба». Остановившись на четырех видах арабских койне, предполагаемых в истории арабского языка отдельными учеными, докладчик перешел к изложению типологического определения языков по Гринбергу и к определению языкового родства с помощью математики.

Мухаммед аль-Маасарани (Москва) доложил о некоторых проявлениях грамматического аналитизма в городских говорах Дамаска и Бейрута (в частности, при выражении степеней сравнения прилагательных).

Сравнивая способы выделения подлежащего, именного сказуемого, дополнения, обстоятельства и объектно-предикативного члена как компонентов беспредложных конструкций в иракском диалекте и в арабском литературном языке, А. Г. Белова (Москва) приходит к выводу, что отсутствие склонения в диалекте не отразилось существенным образом на указанных конструкциях.

Сообщение Т. А. Шумовского (Ленинград) посвящено расшифровке термина *дабавкара* в арабской морской энциклопедии конца XV в.

В. В. Лебедев (Ленинград) остановился на содержании четвертой части еврейско-арабской рукописи II 809 из собрания Фирковича: она оказалась началом неизвестной арабской народной сказки, записанной в XVII в. еврейскими буквами с тиверіадской огласовкой на египетском диалекте арабского языка. Докладчик дал палеографическое описание рукописи и характеристику ее языка.

Доклад М. П. Панахи (Баку) был посвящен определению критериев сложных слов в арабском языке. В докладе В. С. Храковского (Ленинград) предлагается категории действительного и страдательного залога в арабском языке рассматривать как словообразовательные.

В. С. Сегаль (Москва), прочитавший доклад «К фонологической интерпретации долгих гласных в арабском литературном языке», считает, что эти долгие гласные должны интерпретироваться фонологически как бифонемные. Б. Н. Ромачёв (Москва) в своем докладе «Некоторые характеристики минимальной просодической единицы в современном арабском литературном языке», вводя в описание понятие моры, считает долгие гласные двухморными.

У. З. Кариев (Ташкент) рассмотрел производные слова в арабском, образованные посредством суффикса *-ийун*.

Г. З. Менаджан (Москва) посвятил свое сообщение техническим арабско-русским словарям, остановившись так-

---

[6] Имеются в виду работы: J. Kuryłowicz, L'apophonie en sémitique, Kraków, 1961; В. П. Старинин, Структура семитского слова, М., 1963; И. А. Мельчук, О «внутренней флексии» в индоевропейских и семитских языках, ВЯ, 1963, 4.

[7] В своем понимании этих терминов В. Д. Ушаков исходит из определений И. А. Мельчуком «устойчивости» и идиоматичности (см. ВЯ, 1960, 4, стр. 76).

же на словообразовательных типах новых технических терминов, используемых в современном арабском языке. А. Н. Баскаков (Москва) доложил об арабизмах в современной турецкой терминологии. В докладе Л. Н. Старостова (Москва) проанализированы фонетические особенности арабизмов в турецком языке.

В секции семитских языков был прослушан доклад Б. М. Гранде «Сложные слова (композита) в семитских языках». Редкое в семитских языках (в любом семитском языке можно встретить только соединение имени с отрицательной частицей), это явление встречается довольно часто в новоеврейском языке (иврит), где возможно соединение основ двух полноценных имен, причем такие слова нередко получают один словообразовательный суффикс.

В докладе Ю. Н. Завадовского (Москва) «Зинджский субстрат в Северной Африке» освещались заимствования негрских элементов в берберские и арабские диалекты.

Э. Б. Ганкин (Москва) доложил об именном словообразовании в амхарском языке, отметив в качестве составных частей основы первой степени корень и «схему» (диффикс, трансфикс). М. А. Коростовцев (Москва) рассказал о происхождении презенса II в коптском языке, связав его с предложным сочетанием в новоегипетском.

А. Г. Лундин (Ленинград) доложил о значении глагола *'sy* в древнейеменских надписях. Г. М. Бауер (Москва) в докладе «Некоторые термины в древней Сабе» предложил толкование терминов *bkl* и *qsṭ*, часто встречающихся в сабейских надписях. Оба доклада основаны на большом фактическом материале.

Т. Л. Тютрюмова (Ленинград) рассказала о найденной ею в Ужгородской библиотеке рукописи 1818 г., содержащей амхарский алфавит и словарик, а также «Отче наш» на коптском и амхарском языках.

В докладе М. И. Занда (Москва) «О субстрате современного разговорного иврита» показано, что в своей орфоэпии новоеврейский язык отражает некоторые черты языка идиш и что лексика иврита содержит много элементов из идиш — как в виде прямых заимствований, так и в виде калек.

М. Н. Зислин (Ленинград) в своем докладе «Восточная школа грамматиков еврейского языка X—XIII вв.» остановился на фрагментах неизвестного грамматического сочинения, которое написано (или списано) в Гагре в 1208 г. и в котором развивается учение восточной (караимской) школы о еврейском глаголе.

М. Л. Гельцер (Вильнюс) в докладе «Угаритско-аккадские этимологии» дал свою этимологию и толкование слова *md/mudu* в угаритском и аккадском языках, привлекая для этого все контексты, где встречается слово *md*, выясняя все возможные сочетания этого слова и фиксируя в специальных таблицах все его возможные значения. В докладе И. Ш. Шифмана (Ленинград) «Социальная терминология в языке пальмирских надписей» анализируются заимствованные в пальмирский язык (арамейская группа) непосредственно или в виде калек греческие и латинские социальные термины. Эти термины отмечены в пальмирских, греческих и латинских надписях сходного содержания; это позволяет найти для пальмирских терминов эквиваленты на одном из двух указанных языков.

Г. Х. Каплан (Ленинград) предлагает объяснять тенденции к фиксированному ударению в среднеассирийском диалекте аккадского языка длительными контактами с аморейским и арамейским языками.

В сообщении А. И. Рубинштейна (Москва) «Пути развития лексикографии языка иврит» дан обстоятельный обзор толковых и переводных еврейских словарей более чем за полторы тысячи лет.

В докладе А. С. Лекиашвили исследован вопрос о взаимоотношении внутренних и суффиксальных морфем рода и числа имен в семитских языках.

К. Г. Церетели (Тбилиси) остановился на синтаксических функциях частицы d^e в современных арамейских диалектах, которая используется для связи как разнообразных придаточных предложений с главными, так и несогласованного определения с определяемым.

В. П. Старинин (Москва) в сообщении «Вклад семитских языков в международный язык эсперанто», сопоставляя эсперанто с семитскими языками, отметил в эсперанто наличие тех же категорий, что и в семитских языках, хотя для выражения этих категорий используется иная грамматическая техника (ср., например, породы: каузатив, деноминатив, интенсив, рефлексив).

Р. Г. Рылова (Ленинград) посвятила свое выступление сирийской грамматике XI в. Ильи Тирханского. Г. Б. Арсанис (Москва) рассказал о роли ассирийских писателей в деле распространения и развития современного ассирийского языка.

К. П. Матвеев (Москва) доложил об изменениях в категории грамматического рода, которые претерпевают имена, заимствованные из других языков в современный ассирийский язык.

На заключительном заседании конференции выступил г-н Каса (преподаватель амхарского языка в Институте международных отношений) с сообщением, в котором были охарактеризованы некоторые черты языка тигринья, принадлежащего к северной группе семитских

языков Эфиопии. Этот младописьменный язык (самоназвание тиграи) вместе с очень близким к нему языком тигре гораздо ближе к языку ге'з (древнеэфиопскому), чем амхарский; в нем сохранилось больше черт семитского языкового типа.

Проведение первой конференции по семитским языкам свидетельствует о значительном сдвиге на этом участке востоковедения по сравнению с 1955 г., когда серьезные недочеты в разработке проблем семитологии специально отмечались на совещании по восточной филологии при Президиуме АН СССР.

В настоящее время в печать сданы труды конференции (2 выпуска, ротапринт).

В. П. Старинин (Москва)

13 ноября 1964 г. в Институте языкознания АН СССР состоялась защита диссертации на соискание степени доктора филологических наук В. С. Расторгуевой. Имя диссертанта хорошо известно специалистам в области иранской филологии не только в нашей стране, но и за ее пределами. Ее перу принадлежат работы в области таджикской диалектологии, грамматического строя таджикского и персидского языков и их истории. В. С. Расторгуева воспитала многих советских молодых ученых-иранистов.

В. С. Расторгуева представила к защите результат многолетнего труда — серию работ под общим заглавием «Исследования по таджикской диалектологии». Эта серия включает в себя четыре выпуска «Очерков по таджикской диалектологии» (вып. 2[8], 3, 4, 5), изданных в 1952, 1956, 1961 и 1963 гг., и сводный обобщающий труд «Опыт сравнительного изучения таджикских говоров», вышедший из печати в виде отдельной книги ко времени защиты диссертации.

Во вступительном слове В. С. Расторгуева сообщила, что в результате более чем двадцатилетних усилий советских ученых-таджиковедов обследовано большинство основных районов таджикоязычного населения в пределах наших среднеазиатских республик. Накоплено большое количество материалов в области таджикской диалектологии. Настала пора для некоторого, хотя бы предварительного, их обобщения. В. С. Расторгуева сообщила, что она проводила полевую работу, *исследуя таджикские говоры* Ферганской долины и прилегающих к ней предгорий Туркестанского хребта во время четырех экспедиций в Среднюю Азию в 1948, 1950, 1953 и 1955 гг. Собранные материалы нашли отражение в четырех книгах «Очерков по таджикской диалектологии». Второй из этих выпусков посвящен восточноферганской и сеферганской группам говоров, третий — западноферганской группе, четвертый — южноферганским говорам и говорам ура-тюбинской группы. Пятый выпуск «Очерков» представляет собой сравнительный словарь таджикских говоров, оформленный в виде таджикско-русского словаря. Книга «Опыт сравнительного изучения таджикских говоров» является завершением «Очерков». Она преследует цель начать сравнительное изучение таджикских говоров, а именно: 1) проследить, как отразились в разных говорах языковые явления, унаследованные ими от исходной, общей для них системы, и на базе сравнения выявить тенденции и закономерности их развития; 2) установить изоглоссы отдельных явлений и пересмотреть существующую классификацию таджикских говоров. Попутно с этим в работе затрагивается вопрос об иноязычном, главным образом узбекском влиянии на таджикские говоры и об отдельных явлениях междиалектного взаимодействия. В этой части диссертации автор использовал также материал, собранный другими таджикскими диалектологами, материалы древнеперсидского, авестийского, среднеперсидского и классического новоперсидского языка. К работе приложено 19 диалектологических карт.

В результате исследования диссертант предлагает считать критерием для классификации таджикских говоров фонетический признак, а именно характер отражения в них группы исторических гласных заднего ряда *u*, *ū*, *ō*. На основании этого признака все таджикские говоры делятся диссертантом на четыре группы (это деление находит подтверждение также и в области морфологии, синтаксиса и лексики): северную, центральную (верхнезеравшанскую), южную, юго-восточную (дарвазскую).

В заключение В. С. Расторгуева подчеркнула, что предлагаемая ею классификация таджикских говоров носит предварительный характер.

Затем выступили официальные оппоненты по диссертации. Д-р филол. наук В. С. Соколова (Ленинград) расценила диссертацию В. С. Расторгуевой как логически единый и капитальный научный труд по сравнительной таджикской диалектологии, где на основе всестороннего и тщательного анализа *диалектных фактов дается новая классификация* таджикских диалектов. В. С. Соколова отметила, что еще первый выпуск «Очерков» В. С. Расторгуевой стал признанным образцом для других таджиковедов-диалектологов. «Очерки» имеют большое значение и для изучения грамматики литературного таджикского языка, так как в них разработаны многие существенные моменты общетаджикской грамматической системы, особенно трактовка именных частей речи и ряда глагольных

[8] Вып. 1 составил тему кандидатской диссертации В. С. Расторгуевой.

форм. В. С. Соколова признала надежным основной классификационный признак, принятый В. С. Расторгуевой, выразила свое согласие с точкой зрения диссертанта на иноязычное влияние как на катализатор, усиливающий или направляющий процессы и явления, уже наличествующие в языке.

Вместе с тем В. С. Соколова высказала критические замечания по поводу некоторых используемых в диссертации терминов и в связи с оценкой диссертантом степени узбекского влияния на таджикские говоры. Оппонент возражает как против умаления, так и против переоценки роли узбекского языка.

В. С. Соколова выразила сомнение в правомерности выделения в качестве самостоятельной центральной (зеравшанской) системы вокализма, считая ее вариантом северной. В связи с этим оппонент считает, что привлечение в качестве основных таких признаков классификации, как синтаксис, различие в употреблении местоименных энклитик, могло бы значительно уточнить классификационную схему.

В заключение В. С. Соколова указала, что диссертация В. С. Расторгуевой «Исследования по таджикской диалектологии», принадлежащая к числу крупнейших достижений таджиковедения и отражающая целый этап в развитии таджикской диалектологии, дает полное основание для присуждения ее автору ученой степени доктора филологических наук.

Второй официальный оппонент д-р филол. наук проф. М. Н. Боголюбов (Ленинград) положительно отозвался о содержании и структуре «Очерков по таджикской диалектологии», неоднократно рецензировавшихся в СССР и за рубежом; оценил как исключительно удачную выработанную В. С. Расторгуевой и примененную в «Очерках» систему транскрипции (эта система получила теперь распространение в таджиковедческих диалектологических работах). Очень удачен, по его мнению, и образец диалектного словаря, предложенный В. С. Расторгуевой и включающий в себя не только лексические, но и грамматические статьи. Оппонент отметил, что северные таджикские говоры впервые были описаны В. С. Расторгуевой.

М. Н. Боголюбов высоко оценил то обстоятельство, что при сравнении таджикских говоров решающее значение в диссертации придается историческому моменту. Однако, по его мнению, следовало избрать в качестве исходной системы для таджикских говоров так называемую равненоперсидскую, что обеспечило бы достоверность материала в исходном пункте сравнения.

В заключение М. Н Боголюбов высказался за присуждение В. С. Расторгуевой степени доктора филологических наук.

Третий официальный оппонент член-корр. АН СССР проф. Р. И. Аванесов констатировал, что диссертант показал себя многосторонне подготовленным исследователем в области полевой диалектологии, инструментальной фонетики, грамматики, лексикографии, способным как к тонкому анализу языковых явлений, так и к широким обобщениям.

Как положительную сторону диссертации Р. И. Аванесов отметил то, что в ней описываются не отдельные диалектные особенности, а фонетическая система и морфологический строй в целом, вне зависимости от совпадения или отличия их отдельных элементов от системы таджикского литературного языка.

Оппонент наметил и другой путь, по которому могло бы пойти исследование: в современном таджикском диалектном языке сосуществуют отдельные варианты, например, фонологической системы, свидетельствующие о пройденном фонологической системой историческом пути. Нанизав эти сосуществующие системы на временну́ю ось, от наиболее древней к более новым, автор мог бы получить живую сосуществующую диахронию со своей исходной системой. После этого можно было бы обратиться к древней исходной системе и провести в собственном смысле сравнительно-историческое изучение.

Р. И. Аванесов заметил, что было бы интересно знать соотношение отдельных говоров с таджикским литературным языком и отразить это соотношение в словаре. Оппонент указал также, что бо́льшая разработка лексики и синтаксиса способствовала бы решению вопроса о диалектном членении таджикского языка.

В заключение Р. И. Аванесов заявил, что серия «Исследования по таджикской диалектологии» удовлетворяет самым строгим требованиям, какие можно предъявить к докторской диссертации, и ее автор В. С. Расторгуева заслуживает присвоения ей этой степени.

В заключительном слове В. С. Расторгуева, поблагодарив официальных оппонентов за внимание, ответила на критические замечания.

Ученый совет Института языкознания единогласно проголосовал за присвоение В. С. Расторгуевой ученой степени доктора филологических наук.

Е. К. Молчанова (Москва)

CONTENTS

Articles: L. Mošińśki (Toruń). The phonology of prosodic elements in Slavic languages; **Discussions:** F. P. Filin (Moscow). Some remarks on the present state and future perspectives of Soviet linguistics; E. M. Pospelov (Moscow). On the Baltic hypothesis and the North-Russian toponymics; L. L. Gumeckaja (Lvov). Problems of Ukrainian-Byelorussian linguistic relations of the ancient period; T. M. Lightner (Cambridge, Mass.). On cyclic rules in Russian conjugation; A. A. Yuldašev (Moscow). On the problem of analytism in Turkic languages; **Materials and notes:** L. L. Kasatkin (Moscow). On the history of velar phonemes in Russian; A. G. Širokova (Moscow). The principal meaning of iterative verbs in Czech; M. M. Kopylenko (Alma-Ata). On the experimental study of possible word-combinations; **Applied and mathematical linguistics:** S. Abrahams (Budapest). On principally possible perspectives of machine translation; **From the linguistic heritage:** A. K. Borovkov. On the history of «Mukaddimat al-adab» of Zamakhsari; **Critics and bibliography; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: L. Mošińśki (Toruń). Phonologie des éléments prosodiques dans les langues slaves; **Discussions:** F. P. Filin (Moscou). Quelques remarques sur l'état contemporain et perspectives prochaines de linguistique soviétique; E. M. Pospelov (Moscou). L'hypothèse baltique et toponymie russe de nord; L. L. Gumeckaja (Lvov.). Problèmes de relations ukrainiennes-byelorusses de période ancienne; T. M. Lightner (Cambridge, Mass.). Règles cycliques dans la conjugaison russe; A. A. Yuldašev (Moscou). Problème d'analytisme dans les langues turques; **Matériaux et notices:** L. L. Kasatkin (Moscou). Sur l'histoire des phonèmes velaires en russe; A. G. Širokova (Moscou). Signification principale des verbes iteratifs en tchèque; M. M. Kopylenko (Alma-Ata). Sur l'étude experimentale des combinaisons possibles des mots; **Linguistique appliquée et mathématique:** S. Abraham (Budapest). Sur les perspectives possibles de traduction mécanique; **De l'héritage linguistique:** A. K. Borovkov. Sur l'histoire de «Mukaddimat al-adab» de Zamakhsari; **Critique et bibliographie; Vie scientifique.**

Subscription for this journal is accepted by firms doing business with v/o «*Meždunarodnaya Kniga*»

ИСПРАВЛЕНИЯ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»
(№ 1, 1965 г.)

Стр. 22 на 13 строке снизу следует читать: ареальные концепции

Стр. 23 на 4 строке сверху следует читать: пересекли линию Карпат

Технический редактор *Г. П. Фролова*

Т.-00637 Подписано к печати 2/III-1965 г. Тираж 5715 экз. Зак. 1672
Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Печ. л. 12,95 Бум. л. 4⁵/₈ Уч.-изд. листов 14,9

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, В. В. Виноградов (главный редактор),
В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), *И. С. Кузнецов, Э. А. Макаев,*
М. В. Панов, В. З. Панфилов, И. И. Ревзин, Ю. В. Рождественский,
Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой (отв. секретарь редакции), *О. Н. Трубачев*

Адрес редакции: Москва, К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55